



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

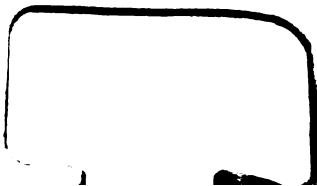
О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

P Slav 392.10



HARVARD
COLLEGE
LIBRARY



ПРЕДИСЛОВІЕ.

Сочиненіе „Янъ Кохановскій и его значеніе въ исторіи польской образованности XVI вѣка“ представляетъ студенческую работу, написанную на тему, предложенную историко-филологическимъ факультетомъ Императорскаго университета св. Владиміра.

Въ 1884 г. исполнилось триста лѣтъ со дня смерти выдающагося польскаго поэта Яна Кохановскаго. Къ этому времени вышло на польскомъ языкѣ множество отдѣльныхъ монографій и мелкихъ статей, посвященныхъ разбору его литературныхъ произведеній, характеристикѣ личности и эпохи, когда жилъ и трудился славный Чернолѣсскій поэтъ, привившій западно-европейскія литературныя формы польской поэзіи и поставившій ее на ту высоту, которая послужила прочнымъ залогомъ развитія и преуспѣянія польской литературы. Впрочемъ, вопросомъ о Кохановскомъ стали заниматься гораздо раньше. Первая его біографія на латинскомъ языкѣ, принадлежащая неизвѣстному автору, перепечатанная Шимономъ Старовольскимъ въ его извѣстномъ трудѣ „Scriptorum Polonicorum Hecatontas“ Vratisl. 1734, написана въ XVII столѣтіи и отличается многими неточностями и недостаткомъ полноты.

Первый опытъ научной біографіи Кохановскаго принадлежитъ Юсифу Шиборовскому („Wiadomość o życiu i pismach Jana Kochanowskiego“. Poznań. 1857 г.). Имъ-же составлена подробная біографія всѣхъ изданій произведеній Яна Кохановскаго, которыхъ вышло полныхъ до 1639 г. девять, не считая отдѣльныхъ произведеній, также издававшихся по нѣскольку разъ. Трудъ Шиборов-

скаго выполненъ съ рѣдкой тщательностью и добросовѣстностью, но все-таки многіе любопытные вопросы оставлены авторомъ безъ достаточнаго разъясненія, какъ напримѣръ, вопросъ о любовной лирикѣ, о времени написанія первыхъ польскихъ произведеній Кохановскаго и т. п. Шагомъ впередъ въ дѣлѣ уясненія одного изъ этихъ вопросовъ, а также другихъ темныхъ мѣстъ въ біографіи славнаго польскаго поэта была диссертация Рафаила Лёвенфельда „Johann Kochanowski und seine lateinische Dichtungen“ Posen 1878 г., въ которой авторъ впервые проливаетъ свѣтъ на любовную лирику Кохановскаго (латинскую) и дѣлаетъ попытку хронологическаго распредѣленія отдѣльныхъ элегій этого рода по ихъ внутреннимъ признакамъ.

Въ 1884 юбилейномъ году, какъ мы уже говорили, появился цѣлый рядъ статей и монографій, посвященныхъ Кохановскому, изъ которыхъ особеннаго вниманія заслуживаетъ небольшая книжка Бронислава Хлѣбовскаго „Jan Kochanowski w świetle własnych utworów“. Warszawa. 1884 г. Авторъ этого труда пытается на основаніи самыхъ произведеній Кохановскаго освѣтить многія темныя мѣста его біографіи. Съ рѣдкимъ остроуміемъ и большой смѣлостью строить Брониславъ Хлѣбовскій гипотезы о жизни Кохановскаго при дворахъ малопольскихъ пановъ и о его протестантскихъ убѣжденіяхъ. При нѣкоторой слабости аргументаціи автора въ немъ поражаетъ замѣчательное чутье правды, котораго, къ сожалѣнію, нѣтъ у болѣе серьезныхъ критиковъ Кохановскаго.

Кромѣ множества цѣнныхъ монографій и статей, посвященныхъ уясненію различныхъ моментовъ жизни и литературной дѣятельности занимающаго насъ поэта (которыя будутъ приведены нами на своемъ мѣстѣ), въ 1884 году вышло два тома прекраснаго юбилейнаго изданія произведеній Яна Кохановскаго („Jana Kochanowskiego. Dzieła wszystkie. Wydanie Pomnikowe I — II“. Warszawa. 1884 г. in 4^o), куда вошли всѣ его польскія произведенія, снабженныя введеніями и объяснительными примѣчаніями лицъ, спеціально занимавшихся ими. Въ 1886 году вышелъ третій томъ, куда вошли латинскія произведенія Кохановскаго, снабженныя также введеніями и примѣчаніями специалистовъ, а также прекраснымъ польскимъ подстрочнымъ переводомъ. (Объщанный четвертый томъ, куда должна войти біографія поэта и нѣкоторыя изъ вновь открытыхъ его стихотвореній, къ сожалѣнію, до настоящаго времени не выходилъ въ свѣтъ). Вотъ это юбилейное изданіе и послужило мнѣ главнымъ пособіемъ и источникомъ

для моего сочиненія, въ которомъ я дѣлаю на него сноски, прибѣгая къ сокращенію: W. P. (Wydanie Pomnikowe).

Послѣ 1884 года въ польской литературѣ появилось нѣсколько мелкихъ работъ о Кохановскомъ, принадлежащихъ перу Станислава Виндаевича, Юсифа Калленбаха и др. Наконецъ, въ 1888 году вышла обширная монографія о Кохановскомъ краковскаго академика графа Станислава Тарновскаго „*Studia do historyi literatury polskiej. Wiek XVI. Jan Kochanowski*“. Kraków. 1888 г. Почтенный авторъ въ этомъ трудѣ дѣлаетъ сводъ всему, что только до него было написано о Кохановскомъ, жизнь и литературную дѣятельность котораго онъ талантливо изображаетъ на фонѣ интересной эпохи польскаго гуманизма и реформаціи. Главнымъ недостаткомъ этой монографіи является крайняя тенденціозность, заставляющая Кохановскаго быть правовѣрнымъ католикомъ въ ущербъ тѣмъ даннымъ, которыя противорѣчатъ этому. Кромѣ того нельзя не отмѣтить непоследовательности гр. Станислава Тарновскаго, который сперва говоритъ о вліяніи предшественниковъ на Кохановскаго, а потомъ совершенно отрицаетъ это вліяніе. Къ другимъ промахамъ въ высшей степени цѣнной работы почтеннаго краковскаго академика я обращусь на своемъ мѣстѣ.

Новый свѣтъ на личность и литературную дѣятельность Яна Кохановскаго проливаютъ его рукописныя элегіи, не появившіяся въ печати, и открытыя А. Брикнеромъ въ С.-Петербургской Императорской Публичной Библіотекѣ. Статья о нихъ, снабженная выдержками отсюда, появилась въ журналѣ „*Ateneum*“ за 1891 годъ подъ заглавіемъ „*Nowe przyczynki do dzieł Jana Kochanowskiego*“.

На основаніи этой статьи къ біографіи Кохановскаго прибавляются новыя факты, какъ напримѣръ кратковременность его пребыванія въ Парижѣ, хронологическая дата романа съ Лидіей и т. п. Остается пожалѣть, что А. Брикнеръ для большей научной точности не привелъ найденныхъ имъ элегій въ латинскомъ подлинникѣ.

Въ такомъ состояніи находился въ польской литературѣ вопросъ о Кохановскомъ, когда я приступилъ къ своему сочиненію. Воспользовавшись всѣми имѣвшимися у меня подъ рукой данными, я постарался сдѣлать совершенно объективную характеристику личности Кохановскаго и его заслугъ для польской образованности. Въ виду скудости и неполноты извѣстій о внѣшнихъ событіяхъ жизни славнаго польскаго поэта, я счелъ болѣе удобнымъ излагать біографію

въ связи съ его произведеніями, стараясь извлекать изъ нихъ данныя, необходимыя для характеристики личности Кохановскаго и пополненія недостающихъ фактическихъ свѣдѣній о немъ. Кромѣ того такой способъ изложенія мнѣ кажется наиболѣе удобнымъ для читателя, который, не отдѣляя жизни писателя отъ его произведеній, выноситъ цѣльное впечатлѣніе о немъ. Многое въ моемъ трудѣ по необходимости отличается недостаткомъ самостоятельности, многое опущено и недостаточно разъяснено, изложеніе страдаетъ иногда растянутостью и шероховатостью, но „quod potui feci, faciant meliora potentes!“.

Еще одно остается мнѣ сказать *pro domo sua*, это именно о русской транскрипціи въ польскихъ фамиліяхъ звука *rz*. Здѣсь я вездѣ придерживался фонетическаго правописанія, считая русское сочетаніе *рж* совершенно неправильнымъ для передачи соответствующаго польскаго звука.

Въ заключеніе считаю своимъ пріятнымъ долгомъ выразить свою искреннюю, сердечную признательность проф. Т. Д. Флоринскому, съ рѣдкимъ вниманіемъ руководившему моими занятіями.

Моя глубокая благодарность Л. М. Янковскому, всегда любезно снабжавшему меня необходимыми книгами и оказывавшему мнѣ свое просвѣщенное содѣйствіе.

ЯНЪ КОХАНОВСКІЙ

И ЕГО ЗНАЧЕНІЕ ВЪ ИСТОРИИ ПОЛЬСКОЙ ОБРАЗОВАНОСТИ XVI ВѢКА.

Jako drzewa w okrąg świata

Cicho rosną w swoje lata;

Так тве dzieła znamienite

Pójdą w głosy pospolite.

Ksiądz Fabijan Birkowski XVI wieku

Г Л А В А I.

Молодость Яна Кохановскаго до его отъѣзда за границу.

I.

Характеристика мѣстности, откуда происходилъ Кохановскій. Свѣдѣнія о его предкахъ. Гипотеза объ ихъ мазовецкомъ происхожденіи. Родители Яна. Предполагаемое вліяніе на него матери. Гипотезы о его первоначальномъ воспитаніи. Общій характеръ школъ того времени въ Польшѣ. Поступленіе Кохановскаго въ Краковскую Академію въ 1544 году. Общее состояніе этого высшаго учебнаго заведенія въ ту эпоху. Свѣдѣнія о краковскихъ профессорахъ. Предположенія о курсахъ, которые могли интересовать Яна. Гипотеза о вліяніи на него Симона Марицкаго. Продолжительность пребыванія Кохановскаго въ Краковскомъ Университетѣ. Гипотезы Левенфельда, Калленбаха, Малацкаго и Виндакевича. Взглядъ на нихъ Станислава Тарновскаго и оцѣнка его мнѣнія.

Тотъ или иной характеръ мѣстности, тѣ или инныя географическія и климатическія условія играютъ не послѣднюю роль въ дѣлѣ культурнаго развитія не только единичныхъ личностей, но и цѣлыхъ народныхъ массъ. Всякому извѣстно, что благодатное южное солнце и тучная черноземная почва, приносящая обильные урожаи при сравнительно малой затратѣ труда со стороны земледѣльца, располагаютъ его къ лѣни, изнѣживаютъ его натуру и, вмѣстѣ съ тѣмъ, способствуютъ развитію въ немъ страстнаго темперамента и богатаго воображенія. Суровая природа сѣверныхъ странъ, покрытыхъ, боль-

шею частью, непроходимыми дремучими лѣсами, у которой человѣку приходится тяжелымъ трудомъ отвоевывать себѣ каждую пядь земли, развиваетъ въ немъ духъ предприимчивости, неутомимую энергію и находчивый умъ. Его фантазія бѣднѣе, но она ближе къ дѣйствительности, его художественное творчество не изобилуетъ яркими красками, но оно служитъ за то выраженіемъ самыхъ насущныхъ потребностей жизни. Такимъ по преимуществу поэтомъ дѣйствительности былъ разбираемый нами въ настоящей работѣ польскій поэтъ XVI вѣка Янъ Кохановскій. Не задаваясь цѣлью точно опредѣлить, что дала ему мѣстность для выработки въ немъ индивидуальности и характера, мы считаемъ не лишнимъ однако же дать самое общее описаніе мѣстности, гдѣ онъ родился и провелъ первые годы своей жизни, для того, чтобы прибавить хоть какія-нибудь черты къ его характеристикѣ. Родился онъ, какъ извѣстно, въ Радомскомъ повѣтѣ Сандомирскаго воеводства.

Въ XV и XVI столѣтіяхъ Радомскій повѣтъ ограничивался съ востока рѣкой Вислой, начиная отъ устья рѣки Каменной до города Рычивола, съ сѣвера пограничная черта проходила близко отъ городовъ Бѣлобжеговъ и Гловачева, принадлежавшихъ къ древней Черской землѣ, на западъ подходила къ Гельневу и къ Одживолу, городамъ древняго Опочинскаго повѣта, а съ Юга она примыкала къ Сандомирскому повѣту. Слѣдовательно, по нынѣшней картѣ для восстановления понятія о древнемъ Радомскомъ повѣтѣ нужно взять почти цѣликомъ два сосѣднихъ повѣта, Радомскій и Илжецкій, сверхъ того большую часть примыкающаго къ нимъ Козѣницакаго, три гмины Опочинскаго и два Конскаго повѣта. Какъ видимъ, мѣстность эта лежала въ сѣверной части Малой Польши, въ близкомъ сосѣдствѣ отъ Мазовіи и отъ Червонной Руси. Черезъ это пространство проходили двѣ дороги, очень важныя въ политическомъ и торговомъ отношеніи. Одна шла изъ Кракова, черезъ Казиміръ въ Вильно, а другая изъ Гданска и Варшавы, черезъ Конскую Волю и Люблинь, на Волынь и Украину. Дороги эти привлекали изъ сосѣднихъ мѣстностей свѣжее населеніе, которое занимало обширныя лѣсныя пространства, выкорчевывало ихъ и двигало колонизацію все дальше и дальше вглубь дѣвственныхъ лѣсовъ, значительные остатки которыхъ сохранились даже до нашихъ дней. Въ западной части Радомскаго повѣта, въ приходѣ Вѣнява, находится деревня Кохановъ, по всей вѣроятности, первоначальное гнѣздо семьи Кохановскихъ. Назва-

ніе ея происходитъ, вѣроятно, отъ собственнаго имени ея основателя. Въ спискѣ гербовъ Папроцкаго гербъ Кохановскихъ, Корвинъ, отождествленъ съ гербомъ Слѣповронъ, принадлежащимъ цѣлому ряду фамилій Мазовецкаго происхожденія. На этомъ основаніи Брониславъ Хлѣбовскій полагаетъ, что и Кохановскіе, герба Корвинъ, были родомъ изъ Мазовіи ¹⁾. Подтвержденіе своей мысли онъ видитъ также въ томъ обстоятельстве, что одна вѣтвь рода Кохановскихъ долгое время носила прозвище Мазуръ. По обыкновенію мелкой мазовецкой шляхты, искавшей лучшихъ жизненныхъ условий въ другихъ областяхъ Рѣчи Посполитой, Корвины охотно поселились среди дремучихъ лѣсовъ, представлявшихъ богатый матеріалъ для приложенія ихъ природныхъ наклонностей къ охотѣ, пчеловодству и земледѣлію на богатыхъ выкорчеванныхъ новинахъ. Вѣроятно, одинъ изъ такихъ мазовецкихъ выходцевъ, Коханъ, и основалъ среди лѣса, въ четырехъ миляхъ на западъ отъ Радома, уже упомянутый нами хуторъ Кохановъ. Въ началѣ XV вѣка, когда появляются первыя свѣдѣнія о Кохановскихъ, въ имѣніи ихъ было 70 морговъ ²⁾ дубоваго лѣса, который давалъ своимъ владѣльцамъ возможность заниматься скотоводствомъ и пчелами. На основаніи документовъ извѣстно, что въ 1443 году имѣніе это принадлежало Доминику Кохановскому, а въ 1482—Аврааму ³⁾. Оба они, по всей вѣроятности, выкорчевывали лѣсъ для увеличенія незначительнаго количества пахотной земли, бывшей при ихъ усадьбѣ. Сынъ Доминика, Янъ Кохановскій, благодаря своимъ личнымъ достоинствамъ, сумѣлъ приобрести себѣ добрую славу среди сосѣдей и при помощи выгодной женитьбы на Варварѣ, изъ семейства Слизовъ, получилъ въ приданое Поличну и Чернолѣсъ въ Сѣцѣховскомъ приходѣ, представлявшіе въ то время обширныя лѣсныя пространства съ очень ограниченнымъ количествомъ заселенной пахоты. Какъ видно изъ акта о раздѣлѣ 1519 года между сыновьями Яна, городского Радомскаго судьи, Петръ получилъ одну половину Чернолѣса, а другая досталась Филиппу ⁴⁾. Три другихъ брата, Янъ, Вить и Тома, подѣлились Поличной, которую затѣмъ продали Андрею

¹⁾ См. Bronisław Chlebowski. Jan Kochanowski w świetle własnych utworów. Warszawa 1884 г. str. 4.

²⁾ Земельная мѣра, родъ десятины.

³⁾ См. Biblioteka Warszawska 1884 г. t. II, str. 164 (Posiadłości rodziny Kochanowskich, przez Witolda Małcurzyńskiego).

⁴⁾ См. Ks. Józef Gacki. O rodzinie Jana Kochanowskiego. Warszawa 1869 г. str. 6.

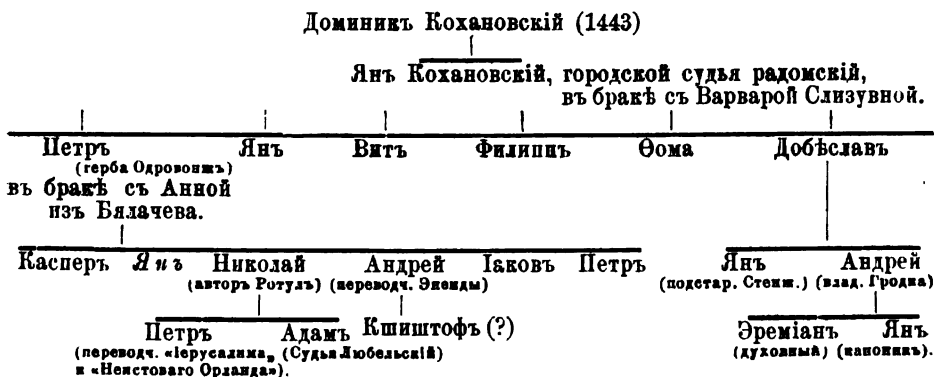
изъ Бялачева, тестю ихъ брата Петра. Такимъ образомъ послѣдній, посредствомъ полученнаго за женою приданого, сдѣлался владѣльцемъ всей Поличны, сверхъ своей половины Чернолѣса. Впослѣдствіи онъ докупилъ еще Руду, Сыцуну, Барычи, Конары и Шелѣнжну Волю съ различными хозяйственными угодіями. Въ высшей степени любопытенъ вышеупомянутый раздѣльный актъ, который показываетъ что въ имѣніи этомъ почти не существовало фольварочнаго хозяйства. Братья дѣлились между собой крестьянскими ланами¹⁾, старательно распредѣляя между собою не только части существующихъ прудовъ, но даже мѣста, пригодныя для ихъ устройства, пахотной же земли и не упоминаютъ вовсе, за исключеніемъ развѣ недавно выкорчеваннаго пространства въ Чернолѣсѣ, подъ названіемъ Божья Новины, садовъ при домѣ и стараго гумна. Обширныя лѣсныя и полевая пастбища позволяли имъ держать много мелкаго и крупнаго скота, что, вѣроятно, и составляло главный источникъ ихъ доходовъ. Хлѣбъ сѣялся, должно быть, только для домашнихъ потребностей. Мѣстность эта была очень мало населена, насколько можно судить по мѣстнымъ приходскимъ исповѣднымъ книгамъ не только въ XVI, но даже и въ XVIII столѣтіяхъ. Кромѣ Поличны Петръ Кохановскій получилъ за женою въ приданое Пильну и Волчью Волю. Нынѣшнее пространство этихъ деревень доходить до 6600 морговъ. Впослѣдствіи, послѣ раздѣла между шестью сыновьями Петра, это громадное имѣніе раздробилось, однако широкія знакомства и извѣстность, пріобрѣтенная этой разросшейся семьей, облегчала ей членамъ доступъ къ государственнымъ должностямъ и способствовала заключенію выгодныхъ браковъ.

Лѣсной промыселъ и скотоводство, составлявшіе главное занятіе семьи Кохановскихъ, содѣйствовали развитію въ нихъ энергіи, практичности, ума, находчивости и осторожности, закаляли ихъ физически и нравственно. Трудолюбіе, бережливость и способность къ пріобрѣтенію были ихъ наслѣдственными качествами. Съ теченіемъ времени физическія достоинства этой семьи перерабатывались въ нравственныя. Для собственной своей пользы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не желая терять пріобрѣтенной ими доброй славы, они не останавливались на пути къ самоусовершенствованію и передали свое духовное наслѣдство поколѣнію, жившему около половины XVI вѣка, ко-

¹⁾ Лань—мѣра пахоти, длиною въ 3024, и въ ширину 120 локтей.

торое внесло въ сокровищницу польской образованности свою богатую дань и, потративши всю свою силу и энергію, ничѣмъ не проявлялось въ послѣдующіе вѣка ¹⁾). Сынъ Яна, Петръ Кохановскій, съ женой своей Анной, жили обыкновенно въ Сыцынѣ. Тамъ въ 1530 г., родился у нихъ сынъ, по имени Янъ ²⁾). Никакихъ свѣдѣній, кромѣ имущественныхъ, о родителяхъ его мы не имѣемъ. Изъ официальныхъ документовъ, относящихся къ отцу поэта, мы почти не можемъ составить себѣ яснаго понятія о его личности. Только разъ мы встрѣчаемся съ Радомскимъ судебнымъ актомъ 1511 года, ³⁾ который рисуетъ его въ не совсѣмъ выгодномъ свѣтѣ. Здѣсь дѣло шло по поводу жалобы матери на него и на старшаго его брата, Яна, за то, что они не только выгнали ее изъ имѣній, гдѣ она могла жить, согласно завѣщанію покойнаго своего мужа, до самой смерти, но даже посягаютъ на ея наслѣдственную часть. Судъ рѣшилъ дѣло въ пользу матери. Въ дальнѣйшей жизни Петра мы больше не встрѣчаемся съ такими случаями, однако жажда пріобрѣтенія имущества никогда не покидала его. Когда онъ женился, ему было уже больше сорока лѣтъ.

1) Не вдаваясь въ критическій разборъ сбивчивыхъ свѣдѣній о родословной Кохановскихъ, который сдѣланъ былъ въ трудахъ Пшиборовскаго (*Wiadomość o życiu i pismach Jana Kochanowskiego. Poznań 1857 г.*) всендза I Гацкаго (*O rodzinie Jana Kochanowskiego, o jej majątnościach i fundacyach. Kilkanaście pism urzędowych. Warszawa 1869 г.*) и Витольда Малцужинскаго (*Posiadłości rodziny Kochanowskich w ziemi Radomskiej. Według rejestrów poborowych z lat 1569, 1576 i 1577. Biblioteka Warszawska 1884 г. т. II, str. 161*), а также и Станислава Виндакевича (*Nieznane szczegóły o rodzinie Kochanowskich. Kraków. 1884*). Приводимъ для наглядности слѣдующую родословную таблицу:



2) См. Józef Przyborowski. *Wiadomość o życiu i pismach Jana Kochanowskiego. Poznań 1857. str. 11.*

3) См. Gacki. *Op. cit.* p. 5.

Жена его, Анна изъ Бялачева, была на 22 года моложе своего мужа. По мѣрѣ упроченія матеріальнаго благосостоянія Петра возрастало къ нему и уваженіе со стороны сосѣдей. Въ 1535 году достигаетъ онъ званія генеральнаго судьи земли Сандомирской. Умеръ онъ въ 1547 году 62 лѣтъ отъ роду¹⁾. Оставшееся послѣ него вполнѣ обезпеченное семейство должно было хранить о немъ признательную память. Доказательство этому мы видимъ въ извѣстной эпитафіи, написанной ему Яномъ²⁾. О матери нашего поэта мы знаемъ только то, что говоритъ намъ неизвѣстный его біографъ, одну фразу въ «Дворянинѣ» Лукаша Гурницкаго³⁾ и свидѣтельство сына въ послѣднемъ его «Тренѣ» — «Сонѣ»⁴⁾. На основаніи этихъ данныхъ мы съ нѣкоторой правотой можемъ составить заключеніе о томъ, что она была женщиной рѣдкой душевной чистоты, сторонницей старыхъ обычаевъ и полной простоты. Обладала она въ значительной степени силой воли, что и доказала, принявши на себя послѣ смерти мужа воспитаніе всѣхъ своихъ, еще малолѣтнихъ, дѣтей и, въ особенности, сыновей, которыхъ умѣла держать въ должномъ повиновеніи и вела суровой рукою (*severissima disciplina*)⁵⁾ по намѣченному пути. На основаніи этого нельзя отрицать сильнаго и благотворнаго вліянія, какое имѣла мать на юную и чуткую душу поэта. Духъ ея жилъ въ его сознаніи до самаго конца дней его. Идеальная натура матери отразилась въ тѣхъ идеяхъ, которыя проводилъ Янъ Кохановскій во всѣхъ лучшихъ своихъ произведеніяхъ. Въ минуту самаго глубокаго душевнаго потрясенія, воображеніе его нашло себѣ утѣху въ образѣ любящей матери, примиряющей поэта съ Богомъ и людьми. Совѣты матери влили въ его душу отвращеніе къ расточительности, роскоши и иноземнымъ обычаямъ, начинавшимъ распространяться въ Польшѣ, благодаря вліянію королевы итальянки Боны. О первоначальномъ образованіи юнаго Яна мы неимѣемъ никакихъ точныхъ свѣдѣній. Ганская полагаетъ, что онъ учился въ Полицѣ⁶⁾, Шиборовскій — въ отдаленномъ отъ Сыцны Красновѣ⁷⁾, а ксендзъ Гацкій — въ

¹⁾ См. Przyborowski. Op. cit. p. 12.

²⁾ Ibid. p. 52.

³⁾ См. Dworzani Łukasza Górnickiego, wyd. Turowskiego str. 135.

⁴⁾ Jana Kochanowskiego. Dzieła wszystkie t. II. 186 str.

⁵⁾ См. Przyborowski. Op. cit. p. 49.

⁶⁾ См. Tańska. Jan Kochanowski. Warszawa 1857 r. str. 91.

⁷⁾ См. Przyborowski. Op. cit. p. 13.

ближайшей отъ родины поэта школѣ Сѣцѣховскихъ Бенедиктинцевъ¹⁾. Последнее предположеніе нужно считать наиболѣе вѣроятнымъ, если мы вспомнимъ, что одновременно съ поступленіемъ Яна Кохановскаго въ Краковскую Академію, въ числѣ ея профессоровъ *collegii minoris*, впервые появляется имя Яна Сильвія изъ Сѣцѣхова. Въ документахъ Сѣцѣховскаго аббатства сохранилась грамота, выданная монастыремъ «*provido Benedicto Czarnolas*» вмѣстѣ съ его роднымъ братомъ Яномъ Сильвіемъ на пожизненное званіе сѣцѣховскаго войта за оказанныя ими по отношенію къ монастырю услуги. Фамилія профессора Яна Сильвія представляетъ ничто иное, какъ латинизированную *Czarnolas*, происходящую отъ мѣста постоянного жительства. Принимая во вниманіе близость Чернолѣса, имѣнія Петра Кохановскаго, отъ Сѣцѣхова, трудно сомнѣваться въ томъ, что братья эти происходили именно оттуда. Можетъ быть, они были сыновьями эконома, или кого-нибудь изъ крестьянъ, какъ видно изъ эпитета «*providus*» въ документѣ, а не «*generosus*» или «*nobilis*», свойственнаго исключительно шляхтѣ. Нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что юный Кохановскій былъ ученикомъ этого самого Яна Сильвія, который получивъ кафедру въ Краковской Академіи, привлекъ туда также и своего питомца. Такого мнѣнія придерживается Малецкій²⁾. Первоначальное воспитаніе, которому долженъ былъ подвергнуться Янъ Кохановскій въ школѣ, состояло въ то время въ Польшѣ, какъ и во всей Европѣ, главнымъ образомъ и прежде всего, изъ латинской грамматики, послѣ которой слѣдовала риторика. По словамъ Марицкаго,³⁾ низшія школы подраздѣлялись на *Civiles* и *Municipales*. Последнія имѣли своей задачей подготовку юношества къ поступленію въ высшія учебныя заведенія, называвшіяся тогда гимназіями⁴⁾. Въ такой именно школѣ, если только не дома, долженъ былъ получить свое образованіе Янъ Кохановскій. Въ такихъ школахъ было по два учителя, а въ школахъ, при кафедральныхъ костелахъ, прибавлялся еще третій—богословъ, для готовящихся къ духовному званію. Первый изъ нихъ,—магистръ, училъ дѣтей говорить правильно по латыни, а также началамъ грамматики, риторики и діалектики, кромѣ

1) См Gacki. Op. cit p. 55.

2) См. Jana Kochanowskiego młodość. Przez Małeckiego. Przegląd Polski sierpień 1884 г.

3) См De Scholis seu Academiis, Pars II Cap. VIII.

4) Даже въ XVIII вѣкѣ Падуанскій университетъ назыв. еще гимназіей.

того другимъ наукамъ (*in omni genere artium initiis quibusdam degustandis, ut puer tinctus esse videatur*¹⁾). Другимъ преподавателемъ былъ, такъ называемый, канторъ, на обязанности котораго лежало дать дѣтямъ первыя понятія о музыкѣ, необходимой не только для церковнаго обихода, но и для лучшаго пониманія поэтики. Будучи подготовительными къ Академіи, муниципальныя школы служили предметомъ особенной заботливости городовъ, монашескихъ ордеповъ и епископовъ. По словамъ Марицкаго, въ нихъ мальчики учили на память «Дистихи» Катона, для усовершенствованія въ языкѣ, а также и усвоенія выраженныхъ тамъ прекрасныхъ нравственныхъ сентенцій. По мнѣнію автора выше цитированнаго нами произведенія, не достаетъ въ этой программѣ знакомства съ греческими сентенціями Фокилида и Пиеагора, которыя привели бы учениковъ къ пониманію Гомера. «Слѣдовало бы и «Феномены» Арата учить на память, а также Гомера и Виргилія. Изъ Горація слѣдовало бы читать только тѣ мѣста, въ которыхъ заключаются какія-нибудь нравственныя идеи, а Теренція только ради красоты языка. Не мѣшало бы также учителю старательнѣе напоминать своимъ ученикамъ, что комедію нужно разсматривать не какъ образецъ жизни, а какъ отраженіе ея. Слѣдовало бы хоть сколько-нибудь прочесть изъ Ливія, а изъ Цицерона, по крайней мѣрѣ, «De officiis», «De amicitia» и «De senectute», Квинтиліана необходимо знать, какъ образцоваго стилиста, а «Elegantiae» Лаврентія Валла никогда не выпускать изъ рукъ». Слѣдовательно, если только учился Кохановскій въ Муниципальной школѣ, онъ долженъ былъ начинать съ «Дистиховъ» Катона и доходить до Виргилія. Греческому языку онъ учился, вѣроятно, частнымъ образомъ, однако, можетъ быть, и совсѣмъ въ то время не учился ему. Несомнѣнно, онъ долженъ былъ проходить Элеганціи Валла, откуда могъ извлечь богатый запасъ латинскихъ стихотворныхъ размѣровъ и строфъ. По всей вѣроятности, тогда же штудировалъ онъ и Цицерона, слѣды изученія котораго разбросаны почти во всѣхъ его произведеніяхъ. Заслуживаетъ вниманія также и то обстоятельство, что Марицкій стремился внести въ школьную программу Арата, переводъ котораго позже былъ сдѣланъ Кохановскимъ, потерявшимъ столько времени на занятія этимъ педантичнымъ Александрійскимъ стихотворцемъ. Однако въ XVI вѣкѣ его ставили очень высоко, самъ

¹⁾ Марицкій Op. cit

Ронсаръ зачитывался имъ. Должно быть еще съ самыхъ молодыхъ лѣтъ Кохановскій наслушался восторженныхъ отзывовъ объ этомъ писателѣ и впослѣдствіи приступилъ къ своему переводу «Феноменовъ» въ полной увѣренности, что онъ окажетъ этимъ великую услугу польской образованности. Изъ всего этого самымъ достовѣрнымъ нужно считать его основательное знакомство съ латинскимъ языкомъ ко времени поступления въ Краковскій университетъ. Поступленіе Яна въ Краковскую Академію состоялось въ началѣ лѣтняго семестра 1544 года ¹⁾. Ягеллонская Академія близилась уже къ своему окончательному упадку, оставаясь вѣрной средневѣковымъ схоластическимъ традиціямъ. Состояніе ея лучше всего характеризуется сочиненіемъ, изданнымъ въ 1551 году, подъ заглавіемъ „*Simonis Maricii Pilsnensis, iureconsulti.—De scholis seu Academiis libri duo*“ (Cracoviae in officina Hieronymi Scharffenbergi anno salutis MDLI mense Aprili). На вопросъ, какіе люди стояли у очага просвѣщенія для дѣлага края, авторъ отвѣчаетъ: «Больше всего между нами такихъ, которые только по имени считаются учеными и преподавателями, на самомъ же дѣлѣ далеки отъ взятыхъ на себя обязанностей, отъ того, чему мы себя посвящаемъ. Большую часть жизни мы проводимъ въ роскоши и безчинствахъ. Наконецъ, мы дошли до такой степени небрежности, или лучше сказать, глупости, что мало заботимся о знаніи и самообразованіи, такъ какъ больше всего мы печемся о почестяхъ и деньгахъ. Мы не заботимся о томъ, чтобы право на преподаваніе передать малой, но способной горсточкѣ людей и допустивши всѣхъ безъ разбора домогаться этого права, кто только пожелаетъ, мы отдаемъ его на профанацію» ²⁾.

Яковъ Гурскій, много разъ занимавшій должность ректора Краковской Академіи, тридцать лѣтъ спустя послѣ Симона изъ Пильзена, такъ отзывался о современныхъ ему преподавателяхъ: «Есть между нами много недостатковъ, во многомъ справедливо упрекаютъ насъ. Существуютъ такіе, которые, забывши честь, науку и собственное достоинство, ведутъ такую жизнь, съ такой небрежностью относятся къ преподаванію наукъ, что мнѣ кажется, будто они задались цѣлью ослабить общее уваженіе къ Академіи. Прежде всего мы всѣ весьма склонны къ полученію доходовъ и прибыли съ чужихъ дѣлъ, а по отношенію къ наукамъ лѣнны. Многіе изъ насъ обладаютъ до такой

¹⁾ См. „Ateneum“ 1884 г. т. III, str. 552.

²⁾ Op. cit. листъ 2 и 3 (нумераціи нѣтъ).

степени вольными правами, что, въ случаѣ если болѣе суровые уставы не приведутъ насъ къ исполненію нашихъ обязанностей, то слѣдуетъ опасаться, чтобы вся эта Академія, со своими правами и вольностями, не пришла въ полный упадокъ, будучи доведена до крайности¹⁾.

Причины такого состоянія Академіи кроются съ одной стороны въ ея вѣрности схоластическимъ традиціямъ, неудовлетворявшимъ уже требованіямъ даннаго времени, съ другой—въ вытекающемъ отсюда равнодушіи къ ней польской шляхты и, въ особенности, магнатовъ того времени, которые оказывали ей самую скудную поддержку. Общая сумма для вознагражденія 40 ординарныхъ профессоровъ (комплектъ того времени) не достигала даже и тысячи злотыхъ, тогда какъ въ Италіи содержаніе одного профессора превышало эту сумму. Общество не оказывало высшей школъ и моральной поддержки. Вызванные изъ за границы иностранные профессора «*querebantur studiosorum inopiam, mirabantur et horrebant gymnasiolorum nostrorum vastitatem*»²⁾. Молодые люди относились равнодушно къ наукѣ, такъ какъ не замѣчали покровительства ей со стороны двора и не ожидали себѣ никакихъ личныхъ выгодъ въ родѣ болѣе легкаго и скорого достиженія государственныхъ должностей по окончаніи Академіи. Ничего иного не могло быть тамъ, «*ubi quidvis aliud quam bonae litterae et honestius est et questuosius*»³⁾. Симонъ Марицкій проводитъ параллель между предками, которые давали лучшія должности людямъ, посвятившимъ большую часть жизни наукѣ, и современниками, которые покровительствуютъ конюхамъ, поварамъ и разной челяди. Политическія событія того времени привлекали къ себѣ все общественное вниманіе. Реформація, дѣло Варвары Радзивиллъ, «экзекуція правъ», вотъ тѣ животрепещущіе вопросы, которые въ одинаковой степени занимали и магнатовъ, и простую шляхту. Миновали счастливыя времена Бонаровъ и Томицкихъ. Некому было обратить вниманіе на приходящую въ упадокъ Краковскую Академію. Не одно десятилѣтіе длилось такое положеніе вещей. Самый фактъ появленія книги «*De scholis*» показываетъ, что людямъ науки тяжело жилось. Авторъ въ заключеніи обращается къ Гербургу съ слѣдующими словами:

¹⁾ Apologia D. Jacobi (Gorsecii) pro Academia Cracoviensi publice in renunciandis novis magistris dicta. A. D. 1581 die 11 Martii etc. См. J. Łukaszewicz. Historia szkół w Koronie i Wielkiém Księstwie Lit. Poznań 1849 r. t. I, str. 64.

²⁾ Марицкій. Op. cit.

³⁾ Ibidem.

„Nam si ego deteriora edidi, quam volui et tu minora habes, quam sperasti: illud fortasse uterque consequemur, tu *hortando*, ego *scribendo*, ut aut *tot annis* neglectae Academiae iam tandem succurratur, aut quivis facile perspiciat, non praеceptorum vitio florem nostri Gymnasii defluere, sed *capitum reipublicae* culpa, qui nescio quomodo omnem propemodum gymnasiorum curam obiecerunt“.

Единомышленники Симона Марицкаго, Валентинъ Гербуртъ и Николай Гелясинъ (Gelasinus), помѣстили въ началѣ книги латинское стихотвореніе, въ которомъ выражается желаніе, чтобы король и сенатъ осуществили реформы, предлагаемыя ея авторомъ.

Не смотря на такое неблагопріятное состояніе Академіи, профессора ея продолжали усиленно работать. Каждый изъ нихъ долженъ былъ читать не менѣ двухъ обязательныхъ лекцій въ день. Краковская Академія дѣлилась на двѣ части: *collegium majus* и *collegium minus* ¹⁾.

Присмотрѣвшись къ росписанію лекцій въ этомъ семестрѣ, мы замѣчаемъ преобладаніе Аристотеля и латинскихъ классиковъ. Правда,

¹⁾ Какъ видно изъ „Liber antiquus (in semifolio) diligentiarum (N. inv. 249 Bibl. Jagel.), въ лѣтнемъ семестрѣ 1544 года слѣдующіе профессора читали лекціи въ обѣихъ коллегіяхъ: Ordo magistrorum actus ordinarios visitantium in 3 classes divisus in decanatu secundo Mgrі Michaeli de Glowno anno 1544.

Classis primae de Majori (sc. Collegio).

Mgr. { Martinus Garbarz
Thomas Cracoviensis
Felix Bandorski
Valentinus Rava (semel per alium)

Secundae classis.

Mgr. { Joannes Dobrosszelskj
Albertus Dambrowskj
Petrus de Posnania.

Tertiae classis

Mgr. { Joannes Trcziana
Simon Pilsno
Albertus Novocampianus

De minori collegio.

Dr. Bartholomaeus Sabinka
Adam Tarnow
Paulus Racziass
Stanislaus Budzinskj

Secundae classis.

Adam Chaczini
Joannes Szieciechow
Sigismundus Obrepski
Michael Wojnijez

Новопольскій читаетъ „lectionem graecam“, но это неясное выраженіе указываетъ скорѣе на какой-нибудь приготовительный курсъ, чѣмъ на спеціальный. Можетъ быть, лекціи эти состояли изъ объясненія «золотыхъ мыслей» Псевдо-Платона, или отрывковъ изъ Фокилида, что Симонъ Марицкій въ вышеупомянутомъ своемъ произведеніи относитъ къ началкамъ изученія греческаго языка. Латинскимъ классикамъ въ этомъ росписаніи отведено самое почетное мѣсто. Больше всего занимаютъ Цицерономъ. Себастьянъ Вазанъ изъ Кракова читаетъ «Pro Archia poeta». Сигизмундъ Обремпскій— «Эпистолы» Цицерона, Адамъ Хачинскій «De officiis», Станиславъ изъ Пинчова «Риторику», Николай изъ Кроснѣвичей— «Paradoxa». Докторъ Сабинка занимается Теренціемъ, Михаилъ Войничъ— «Энеидой» Виргилія, Марцинъ изъ Бжезя читаетъ «Эпистолы» Горация. Въ философіи царствуетъ Аристотель, а въ грамматикѣ Петръ Испанецъ. Лекціи въ Академіи начинались лѣтомъ въ четвертомъ часу утра, а зимою въ седьмомъ и продолжались вплоть до трехъ часовъ по полудни. Отъ десяти до одиннадцати давался короткій промежутокъ времени для обѣда.

Tertiae classis.

Petrus Proboscowicze
Jakobus Virzikovski
Petrus Varszovia
Stanislaus Pinczow

Extranei (въ родѣ нынѣшнихъ приватъ-доцентовъ).

Joannes Vieczkowskj
Nicolaus Kroszniewiczze
Hieronymus Lowicz
Stanislaus Lowicz
Nicolaus Cobilino
Joannes Leopoliensis
Mathias Rava
Martinus Brzessini
Thomas Cracoviensis
Petrus Samborz
Nicolaus Lodzia
Cristophorus Zaborowskj

О нѣкоторыхъ профессорахъ этого списка мы имѣемъ болѣе подробныя свѣдѣнія изъ другихъ источниковъ. Напримѣръ, о Петрѣ Познанскомъ мы знаемъ, что онъ былъ докторомъ философіи и медицины, кромѣ профессуры состоялъ врачомъ при дворѣ Сигизмунда I. Умеръ онъ въ 1579 г. (См. Encyklopedya Powszechna Olgebranda t. XXI str. 473). Янъ изъ Трціаны оставилъ философскій трактатъ „De natura ac dignitate hominis. Cracoviae. Apud Haeredes Marci Scharffen-

Студенты не носили опредѣленной формы, хотя духовенство, въ лицѣ главнаго попечителя Академіи, Архіепископа Краковскаго, неоднократно пыталось ввести обязательную одежду духовнаго покроя. Лекціи читались, большею частью, въ «*collegium majus*», нынѣшнемъ зданіи бібліотеки. По субботамъ не было лекцій, взамѣнъ которыхъ происходили одновременно въ двухъ или трехъ залахъ научные диспуты. Руководили ими главнымъ образомъ младшіе члены Академической корпораціи. Принимали въ нихъ участіе не только студенты, но и профессора должны были присутствовать, слѣдить за всѣмъ происходящимъ, а иногда проявлять и болѣе дѣятельное участіе въ диспутѣ.

У насъ нѣтъ никакихъ точныхъ свѣдѣній, какія лекціи слушалъ Кохановскій въ Краковской Академіи. Съ нѣкоторой увѣренностью можно сказать, что въ ихъ число не вошли «*Questiones de coelo et mundo*» или «*Lectura politicorum*», такъ какъ для ихъ пониманія четырнадцатилѣтній Янь былъ слишкомъ молодъ и кромѣ того не обладалъ необходимымъ для этого знаніемъ обоихъ древнихъ языковъ. По всей вѣроятности посѣщалъ онъ лекціи: Войцѣха Новопольскаго (*Lectura Graeca*), Петра Познанскаго (грамматика, должно быть, латинская), Михаила изъ Войнича (Энеида), Станислава Обремьпскаго

berger MDLIII". (См. Starowolski. *Scriptorum Polonicorum Hecatontas* (ed. Ven. 1626) p. 86. E. P. II. 250. E. P.=Encykl. Powsz.). Симона изъ Пильзена мы уже знаемъ по его труду, кромѣ того извѣстно, что онъ дѣльный филологъ, который своими переводами съ греческаго языка развивалъ въ своихъ слушателяхъ хорошій вкусъ и охоту къ изученію греческихъ литературныхъ произведеній. Имя его стоитъ на ряду съ Валентиномъ Гербуртомъ, епископомъ Шемьскимъ, депутатомъ на Тридентскомъ соборѣ, Вуйкомъ и Соликовскимъ. (См. Starow. Нес. p. 92. E. P. XVII. 80). Изъ профессоровъ „*collegii minoris*“ извѣстенъ своимъ арианствомъ Станиславъ Будзинскій. (E. P. IV. 570). О Петрѣ изъ Пробощовицъ мы знаемъ, что онъ былъ астрологомъ Сигизмунда Августа, который слѣпо вѣрилъ его предсказаніямъ. (E. P. XXI. 578). Изъ экстрaneoвъ Станиславъ изъ Ловича оставилъ намъ любопытное изданіе: „*Judicium Paridis de pomo aureo inter tres deas Palladem, Junonem, Venere[m] de triplici hominum vita contemplativa, activa ac voluptaria.*—*Cracoviae ex aula Herusalem pridie Kalendas Februarias 1522*“. (См. *Dziennik Warszawski 1825 r. t I, str. 255—259*). (См. также *Jacobi Philomusi Locher oratoris et poetae pracetari (?) Judicium Paridis ludi cuiusdam instar luculenter descriptum.... emendatum secutus vero est autor Tugentii Mythologiam. Impressum Vieniae Austria.* Безъ даты). Съ перваго взгляда можетъ показаться, что „*Odprawa posłów greckich*“ Кохановскаго заимствована отсюда. Однако стоитъ только взглянуть на оригиналъ Лохера, послужившій образцомъ для Станислава изъ Ловича, чтобы окончательно разубѣдиться въ этомъ.

(Ciceronis epistulae breviores) и Севастіана Вазана (Ciceronis oratio pro Archia poeta). Изъ этихъ лекцій онъ могъ приобрѣсти нѣкоторое знакомство съ греческимъ языкомъ, основательное изученіе котораго нужно отнести къ болѣе позднему времени. Виргилій мало отразился въ произведеніяхъ нашего поэта, такъ какъ его затерли болѣе сильныя для молодого человѣка впечатлѣнія отъ чтенія элегиковъ Лукреція и Горація. «Ciceronis epistulae breviores» давали ему возможность научиться точности въ выраженіяхъ и гладкости слога. Они могли послужить теоретическимъ курсомъ рѣчи, который однакоже, какъ мы увидимъ ниже, Кохановскому не удалось примѣнить въ жизни. Наибольшее вліяніе на молодого поэта долженъ былъ имѣть, уже извѣстный намъ, Симонъ Марицкій изъ Пильзна, который въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ пребыванія Кохановскаго въ Краковѣ находился въ Падуѣ, а затѣмъ въ Римѣ, куда онъ отправился на средства Пѣтра Кмиты, воеводы Краковскаго. По возвращеніи изъ заграницы, проникнутый энтузіазмомъ ко всему, что только пришлось ему видѣть и слышать въ Италіи, онъ сталъ горячо распространять охоту къ занятіямъ греческими древностями, въ знаніи которыхъ никто въ Польшѣ того времени не могъ съ нимъ сравняться. Идеи свои проводилъ Марицкій не только съ академической кафедрой, но также и путемъ печати, издавая произведенія Цицерона, Демосеена и другихъ классиковъ, съ предисловіями и комментаріями, въ которыхъ онъ старательно подчеркиваетъ художественныя достоинства античныхъ авторовъ. Лекціи такого талантливаго и любящаго свой предметъ профессора не могли пройти безслѣдно для чуткой ко всему прекрасному юной натуры Кохановскаго. По всей вѣроятности, ему обязанъ нашъ поэтъ своимъ стремленіемъ къ образованію подъ роскошнымъ небомъ Италіи, источника и сокровищницы всѣхъ наукъ и искусствъ того времени.

Одновременно съ Кохановскимъ въ число слушателей Краковской Академіи записалось 162 человѣка. Никто изъ этихъ товарищей не имѣлъ никакого значенія въ послѣдующей жизни поэта, если не считать Павла Стемповскаго, къ которому относится 68 фразка I книги¹⁾. Однако знакомство ихъ, можетъ быть, болѣе удобно отнести ко времени ихъ совмѣстной службы при королевскомъ дворѣ. Вообще нужно сказать, что Краковская Академія

¹⁾ См. W. P. t. II, 354 str.

не имѣла особеннаго вліянія на молодого поэта, такъ какъ пребываніе въ ея аудиторіяхъ не оставило никакихъ слѣдовъ въ его произведеніяхъ, что подало поводъ нѣкоторымъ изъ его биографовъ, какъ на примѣръ, Пшиборовскому, сомнѣваться въ томъ, былъ ли онъ въ числѣ студентовъ Ягеллонской Академіи, или нѣтъ. Вопросъ этотъ былъ разрѣшенъ въ положительную сторону Левенфельдомъ,¹⁾ который въ метрикахъ учениковъ Ягеллонской Академіи нашелъ слѣдующую записку: «In rectoratu secundo Venerabilis ac egregii viri Domini Joannis a Piotrkow artium et sacrae Theologiae Doctoris, Canonici ecclesiae collegiatae J. Floriani in cleparz. Anno Domini 1544 commutatione aestivali intitulati sunt: послѣ шестидесятой записки слѣдуетъ: Joannes Kochanowskj Petri de Syczynow dōc. Cracow. 3 (sc. grossos solvit)». Сколько времени пробылъ Янъ Кохановскій въ Краковской Академіи, съ полной точностью опредѣлить невозможно. Здѣсь остается широкое поле для различныхъ догадокъ и предположеній. Левенфельдъ полагаетъ, что нашъ поэтъ пробылъ въ Краковѣ вплоть до 1549 года, когда поднялось извѣстное возмущеніе между студентами по поводу убійства слугами ксендза Чарнковскаго нѣсколькихъ учениковъ изъ школы при костѣлѣ Всѣхъ Святыхъ. Не добившись правосудія у Сигизмунда Августа, вся учащаяся молодежь покинула школы, бурсы и коллегіи и частью разбрелась по домамъ, частью направилась въ заграничныя, преимущественно, нѣмецкія школы, въ которыхъ господствовало лютеранство. Въ числѣ учениковъ послѣдней категоріи Янъ Кохановскій поступилъ въ одинъ изъ нѣмецкихъ университетовъ²⁾.

Иосифъ Калленбахъ опровергаетъ эту гипотезу на томъ основаніи, что поднявшееся въ 1545 году моровое цовѣтріе не могло не заставить заботливыхъ родителей Яна взять сына изъ Кракова, служившаго очагомъ заразы³⁾. Помимо того, пятилѣтнее пребываніе въ Краковѣ должно было оставить хоть какой-нибудь слѣдъ въ произведеніяхъ нашего поэта, въ видѣ упоминаній или объ Академіи, или о товарищахъ, чего мы совершенно не встрѣчаемъ. Въ 1534 году уже было снято запрещеніе выѣзжать за границу. Слѣдовательно, ничто не могло помѣшать жаждущему просвѣщенія Яну выѣхать туда послѣ остав-

¹⁾ См. Jozef Löwenfeld. Jan Kochanowski und seine lateinische Dichtungen. Posen 1878.

²⁾ См. Löwenfeld, Joh. Koch. und seine lat. Dicht. Posen 1878. стр. 9.

³⁾ См. Józef Kallenbach. Jan Kochanowski w uniwersytecie Krakowskim (Na podstawie metryk uniwersyteckich) Ateneum 1884. t. III, 552 str.

ленія имъ въ 1545 году Краковской Академіи, такъ какъ родители едва ли рѣшились бы прервать его образованіе. Опираясь на слѣдующихъ словахъ нашего поэта:

Co wadzi, róki lata nie najdą leniwe
 Widzieć szeroki Dunaj, widzieć Alpy krzywe,
 Abo gdzie w pośród morza, sławne miasto leży,
 Abo gdzie pod dawny mur bystry Tyber bieży?
 Dojedź i Partenopy, a ujźrysz te lasy,
 Gdzie złotój różgi szukał Eneas przed czasy... ¹⁾.

Калленбахъ полагаетъ, что поэтъ проѣзжалъ въ 1545 году черезъ Вѣну, гдѣ онъ пробылъ нѣкоторое время, любуясь широкимъ Дунаемъ, а, можетъ быть; заглянувши въ университетъ, и черезъ Альпы отправился въ Венецію, гдѣ, по свидѣтельству Пападополи, слушалъ лекціи Мануція. Зная, что въ іюнѣ 1551 года онъ былъ на родинѣ ²⁾, а въ 1552 году записался въ число слушателей Падуанской Академіи, можно предположить, что онъ пробылъ въ Венеціи отъ 1545 до 1550 года. Можетъ быть, 1550 годъ и начало 1551 были употреблены Кохановскимъ на посѣщеніе Италіи, о чемъ свидѣтельствуется вышеупомянутое стихотвореніе. Въ 1551 году семейныя обстоятельства вызвали его на родину. Уладивши ихъ, молодой поэтъ снова могъ возвратиться въ Италію и поступить уже прямо въ Падуанскій университетъ. Такимъ образомъ, для посѣщенія нѣмецкихъ университетовъ, у Кохановскаго не было времени. То, что онъ тамъ и не бывалъ, подтверждается молчаніемъ объ этомъ во всѣхъ произведеніяхъ Кохановскаго, если не считать слѣдующихъ словъ:

„Jażem przez morza głębokie żeglował,
 Jażem Francuzy, ja Niemce, ja Włochy,
 Jażem nawiedził Sybilline lochy“,

которыя имѣютъ значеніе только указателей дороги, совершенной Яномъ изъ Польши въ Италію. Еще больше подтверждаютъ эту мысль собственныя слова поэта въ „Сатирѣ“ ³⁾:

„Nie uczył się w Lipsku ani w Pradze wiary
 I nie wiem jako każą w Genewie u fary“,

т. е., что, не будучи у нѣмцевъ, онъ не могъ заразиться ихъ рели-

¹⁾ См. Jana Kochanowskiego. Dzieła wszystkie. Warszawa 1884 t. II, 370 str.

²⁾ См. Ks. Józef. Gacki. O rodzinie Jana Kochanowskiego, o jej majątnościach i fundacyach. Warszawa 1869 r. 57 str.

³⁾ См. Wyd. Pomn. t. II, str. 185.

гіозными новинками. Нѣсколько иначе на этотъ предметъ смотритъ Станиславъ Виндакевичъ ¹⁾. По его мнѣнію, пребываніе Кохановскаго въ Краковской Академіи было нѣсколько дольше, чѣмъ обыкновенно полагаютъ, хотя точныхъ данныхъ въ этомъ случаѣ нельзя указать никакихъ. Малэцкій ²⁾ полагаетъ, что его занятія въ Краковѣ не могли прекратиться со смертью отца, которая, какъ извѣстно, послѣдовала въ 1547 году. Къ этому времени можетъ относиться скорѣе короткій перерывъ въ нихъ, а не окончательное оставленіе Академіи. Семнадцатилѣтній юноша, полный жажды къ просвѣщенію, не могъ бы остаться около матери, въ сельской глуши, тѣмъ болѣе, что въ хозяйственныхъ заботахъ ей больше могъ помочь старшій сынъ, Касперъ, уважаемый всѣми младшими членами семьи. Ничего иного не оставалось Яну, какъ только возвратиться въ Краковъ и продолжать прерванныя занятія. Относительно времени оставленія Кохановскимъ Краковской Академіи Малэцкій соглашается съ Лёвенфельдомъ, принимая за самую достовѣрную дату извѣстный уже 1549 годъ. Перерывъ отъ 1549 по 1551 годъ нашъ поэтъ провелъ, по его мнѣнію, въ кругу родной семьи, мечтая о предстоящемъ путешествіи въ завѣтную Италію, куда онъ отправился въ концѣ 1551 года. Нѣмецкія страны онъ могъ только посѣтить проѣздомъ, когда спѣшилъ въ 1557 году изъ Парижа въ Сыцзну. Ошибочное свѣдѣніе Старовольскаго могло произойти отъ того, что онъ смѣшалъ Яна съ братомъ его, Николаемъ, авторомъ „Ротулъ“, который, дѣйствительно, воспитывался въ 1555 году въ Лейпцигскомъ университетѣ. Смѣшать ихъ не трудно было, такъ какъ произведенія ихъ долгое время печатались въ общемъ сборникѣ. По мнѣнію Малэцкаго, матеріальное положеніе семьи Кохановскихъ было настолько хорошо, что молодой Янъ, безъ всякаго ущерба, могъ предпринять такое, дорого стоящее, путешествіе. На это Станиславъ Виндакевичъ возражаетъ ³⁾, приводя нѣсколько тяжёбныхъ документовъ противъ членовъ семьи Кохановскихъ, какъ, напримѣръ, жалоба нѣкоего Заборовскаго на Каспера Кохановскаго за то, что послѣдній не отдаетъ ему взятыхъ займы 48 флориновъ. Если бы семья Кохановскихъ обладала значительными средствами,

¹⁾ См. *Pobył Kochanowskiego za granicą. Szkic biograficzny napisał St. Windakiewicz. Kraków 1886.*

²⁾ См. *Jana Kochanowskiego młodość. Przegląd Polski. Sierpień. 1884. 12 str.*

³⁾ *Op. cit. p. 7.*

то подобныя жалобы никогда не могли бы возникнуть. При ограниченномъ достаткѣ едва ли была хоть какая-нибудь возможность отправить Яна на свой счетъ за границу. Для этого нужна была рука какого-нибудь сильнаго мецената, а семья ограничивалась только незначительной матеріальной помощью, высылаемой ему по частямъ. Последнее предположеніе подтверждается также и тѣмъ фактомъ, что Кохановскій въ Падуѣ записался на факультетъ „artistarum“, чего онъ, вѣроятно, не сдѣлалъ бы, если бы содержаніе его зависѣло отъ семьи. Въ такомъ случаѣ онъ скорѣе принялся бы за изученіе права, которое было единственной дорогой къ достиженію карьеры въ Польшѣ. Станиславъ Тарновскій считаетъ всѣ эти гипотезы несостоятельными. Противъ мнѣнія Лёвенфельда говорить, главнымъ образомъ, отсутствіе точнаго указанія нѣмецкаго университета, въ которомъ могъ воспитываться Янъ. Противъ гипотезы Калленбаха говорить, прежде всего, шаткость свидѣтельства Пападополи, на которое трудно положиться безъ всякаго сомнѣнія. Даже мнѣнія Малэцкаго и Виндакевича онъ старается опровергнуть тѣмъ, что пятилѣтнее пребываніе Кохановскаго въ Краковскомъ университетѣ должно было оставить хоть какой-нибудь слѣдъ въ произведеніяхъ его. Объ этомъ мы не встрѣчаемъ никакихъ упоминаній, слѣдовательно и пребываніе Кохановскаго въ Краковѣ не могло быть такимъ продолжительнымъ.

Съ этимъ еще можно было бы согласиться, если бы мы не знали аналогичнаго факта въ молчаніи Кохановскаго о своемъ пребываніи въ Падуанскомъ университетѣ. Даже въ своихъ стихотвореніяхъ этого періода онъ старательно сглаживаетъ автобіографическія черты, какъ мы это увидимъ ниже, при разборѣ его латинскихъ элегій. Вопросъ этотъ сдѣлался-бы для насъ яснѣе, если-бы до насъ дошло хоть одно стихотвореніе, дату котораго можно было бы въ точности установить между 1544 и 1549 годами. Есть основаніе предполагать, что первые плоды его музы родились именно въ этомъ періодѣ, о чемъ у насъ рѣчь будетъ ниже. На вопросъ, почему въ позднѣйшихъ своихъ произведеніяхъ онъ ничего не говоритъ о Краковѣ, тогда какъ объ Италіи и Парижѣ вспоминаетъ, мы бы отвѣтили тѣмъ соображеніемъ, что болѣе сильныя впечатлѣнія заграничной жизни должны были загладить блѣдныя воспоминанія о Краковѣ, который послужилъ только przygotowательной школой для его серіозныхъ научныхъ занятій въ Падуѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что и Краковъ далъ ему кое-что, но все таки гораздо меньше и въ болѣе слабой степени чѣмъ Италія. Намъ кажется, что

все написанное имъ въ Краковѣ, до отъѣзда за границу, не было имъ отдано въ печать, по стилистическимъ, или какимъ-нибудь инымъ соображеніямъ, а впоследствии возвращаться къ этимъ маловажнымъ воспоминаніямъ онъ не считалъ нужнымъ, да и текущая дѣйствительность, интересами которой Кохановскій всегда былъ горячо проникнуть, не допускала этого, поглощая всецѣло вниманіе нашего поэта. Конечно, мы далеки отъ положительнаго рѣшенія въ ту или иную сторону этого въ высшей степени интереснаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, темнаго вопроса.

Однако, при отсутствіи другихъ болѣе достовѣрныхъ данныхъ объ этомъ періодѣ жизни Яна Кохановскаго, мы не видимъ серіознаго препятствія примкнуть къ гипотезѣ Малэцкаго и, въ особенности, Виндакевича, который, повидимому, весьма близко подошелъ къ истинѣ. Нельзя также пройти молчаніемъ интересной и, вмѣстѣ съ тѣмъ, весьма правдоподобной гипотезы Бронислава Хлѣбовскаго, къ разбору которой мы перейдемъ ниже.

II.

Явленія краковской общественной жизни, которыя могли отразиться на Кохановскомъ. Реформація. Начало національной польской литературы. Рей и его первые польскія произведенія. Возможность его вліянія на Яна. Первые стихотворенія Кохановскаго. „Пѣснь о потоцѣ“. Меценаты. Гипотеза Бронислава Хлѣбовскаго и ея оцѣнка.

Отсутствіе стихотвореній Кохановскаго, хронологическую дату которыхъ можно было бы установить между 1544 и 1552 годами, еще нельзя считать неопровержимымъ доводомъ того, что въ Краковѣ такъ же, какъ и за весь періодъ своей жизни, до выѣзда за границу, нашъ поэтъ не имѣлъ никакихъ прочныхъ связей. Прежде всего, трудно предположить, чтобы четырнадцатилѣтній юноша, будучи предоставленъ самому себѣ, удержался совершенно въ сторонѣ отъ товарищеской среды, а, слѣдовательно, и общества, въ которомъ она вращалась. Далѣе, отсутствіе такихъ стихотвореній въ дошедшихъ до насъ сборникахъ произведеній Кохановскаго, какъ мы выше упоминали, еще не доказываетъ, что ихъ совершенно не было. Извѣстно, что первые произведенія нашего поэта распространялись въ рукописяхъ, и нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что нѣкоторые изъ наиболѣе раннихъ вовсе и не были включены поэтомъ въ изданія

его стихотвореній, можетъ быть, благодаря техническимъ, или художественнымъ, ихъ недостаткамъ, или по какимъ-нибудь инымъ соображеніямъ. Возможность подобнаго случая подтверждается недавно открытыми профессоромъ А. Брюкнеромъ, въ Петербургской Императорской публичной библиотекѣ, рукописями латинскихъ элегій Кохановскаго, записанныхъ раньше появленія перваго ихъ изданія¹⁾. Здѣсь мы встрѣчаемся со слѣдующими интересными для насъ фактами: во-первыхъ, съ существованіемъ элегій, не вошедшихъ въ печать по причинѣ, насколько можно судить, слишкомъ ясно выраженной въ нихъ приверженности къ нѣкоторымъ протестантскимъ взглядамъ, которые послѣ Тридентскаго собора авторъ уже не считалъ для себя удобнымъ публично исповѣдывать; во-вторыхъ, по этимъ рукописнымъ элегіямъ при сравненіи ихъ съ печатными, мы видимъ, какой переработкѣ подвергалъ ихъ поэтъ, прежде чѣмъ довѣрить типографскому станку, какъ тщательно сглаживалъ намеки на мѣсто, время и на лицъ, затронутыхъ ими. Можетъ быть, даже среди извѣстныхъ намъ произведеній Кохановскаго есть нѣсколько такихъ, которыя были написаны въ разсматриваемую нами эпоху его жизни, но впослѣдствіи передѣланы авторомъ до такой степени, что всякія мѣстные и автобіографическія черты въ нихъ совершенно изгладились.

Нѣкоторыя изъ написанныхъ тогда стихотвореній показались автору недостойными печати, нѣкоторыя затерялись, нѣкоторыя, наконецъ, были уничтожены во время позднѣйшей католической реакціи. Такимъ образомъ, на нашъ взглядъ нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что въ стихотвореніяхъ Кохановскаго, заключающихся въ нашихъ изданіяхъ, мы не встрѣчаемъ такихъ, которыя съ абсолютной достовѣрностью можно было бы отнести къ періоду пребыванія молодого Яна въ Краковѣ. Изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что общественная среда совершенно не вліяла на него, что онъ не былъ съ нею тѣсно связанъ, что развитіе его генія началось только со времени поступленія его въ Падуанскую Академію. Однако нельзя отрицать, что новыя впечатлѣнія, широкой волною нахлынувшія на нашего молодого поэта въ самомъ центрѣ европейской образованности, до нѣкоторой степени изгладили слабыя черты воспоминаній о Краковѣ. Въ данномъ случаѣ очень значительную роль играла ранняя моло-

¹⁾ См. Nowe przyczynki do dzieł Jana Kochanowskiego. Przez A. Brücknera. Ateneum 1891. t. II, 1 str.

дость поэта, когда онъ былъ въ Ягеллонскомъ университетѣ. Благодаря этому, онъ не могъ слишкомъ глубоко вникать въ окружающую его обстановку, такъ какъ развитіе его не было достаточнымъ для всесторонняго ея пониманія. Какъ бы то ни было, краковская жизнь имѣла свое вліяніе на нашего молодого поэта. Для выясненія вопроса, что она могла дать Кохановскому, мы постараемся освѣтить всѣ ея явленія, которыя могли такъ или иначе коснуться молодого студента внѣ стѣнъ его *almae matris*, узнать ту среду, въ которой онъ долженъ былъ вращаться, опредѣлить, какія связи онъ могъ заключить съ отдѣльными ея представителями и, наконецъ, рѣшить, чѣмъ Кохановскій могъ вызвать симпатію къ себѣ со стороны человѣка, на средства котораго онъ впоследствии отправился за границу.

Первое мѣсто въ общественной жизни тѣй эпохи занимали религиозные вопросы, удовлетворительнаго разрѣшенія которыхъ не давало современное состояніе католической церкви и духовенства, относившагося къ своимъ обязанностямъ съ крайнимъ перадѣніемъ и своими поступками подрывавшаго авторитетъ церкви. При такомъ положеніи вещей всѣ, въ комъ только жива была горячая вѣра, должны были чувствовать глубокую скорбь и негодованіе на тѣхъ, кто съ такимъ кощунствомъ попираетъ ихъ лучшія религиозныя чувства. Лишь только проникли въ Польшу реформаціонныя идеи, такіе люди горячо отозвались на нихъ, найдя въ протестантизмѣ наибольшую близость къ идеалу евангельской чистоты. Эти именно люди и сдѣлались ревностными исповѣдниками и апостолами реформаціи. Поступленіе Яна Кохановскаго въ Краковскій университетъ какъ разъ совпало съ распространеніемъ горячей пропаганды новыхъ религиозныхъ понятій. Въ числѣ придворныхъ не мало было сторонниковъ реформаціи, даже самъ духовникъ и проповѣдникъ королевы Боны, Францискъ Лисманинъ, съ 1544 года назначенный провинціаломъ польскихъ францисканцевъ, былъ убѣжденнымъ протестантомъ. При дворахъ вельможъ, въ домахъ зажиточныхъ краковскихъ гражданъ, среди католическаго клира, всюду можно было встрѣтить людей, искренно сочувствующихъ новому движенію. Фрычъ Моджевскій, находившійся въ дружескихъ отношеніяхъ съ Меланхтономъ, вернулся тогда въ Краковъ и выпустилъ въ свѣтъ свою первую политическую брошюру „*De rena homicidii*“, а три года спустя развилъ свою программу національной церкви въ сочиненіи: „*Ad regem, pontifices, presbyteros et populos Poloniae oratio de legatis, ad concilium christianum mit-*

tendis". Еще въ 1543 году вышла сатира Рея „Rozmowa wojta z panem a plebanem". По всей вѣроятности, въ теченіе этого же времени издалъ онъ свои, недошедшія до насъ протестантскія произведенія: „Nowy czyściec aby się ludzie ze starych błędów obaczyli", „O potopie Noego" и „Katechizm wierszem, młodym ludziom potrzebny". Кромѣ польскихъ религіозныхъ брошюръ, памфлетовъ и стихотвореній по Кракову должны были распространяться въ большомъ количествѣ иностранныя, преимущественно нѣмецкія книги полемическаго или сатирическаго направленія, проникнутыя реформаціоннымъ духомъ.

Еще въ 1536 году духовенство возбудило противъ типографа и издателя Віетора судебный процессъ, обвиняя его въ распространеніи оскорбительныхъ для церкви сочиненій. Даже въ костелахъ велась иногда съ церковной кафедры реформаціонная пропаганда. Духовенство не имѣло силы остановить это грозное для него и, вмѣстѣ съ тѣмъ, справедливое явленіе и даже само, созвавши Тридентскій соборъ, пошло навстрѣчу назрѣвшей потребности въ церковныхъ преобразованіяхъ. Сторонники новыхъ идей сначала не думали разрывать своей связи съ господствовавшей церковью, они пока ждали отъ нея необходимыхъ вызываемыхъ духомъ времени коренныхъ реформъ. Не желая посѣщать храмовъ, въ которыхъ шло богослуженіе по старому ритуалу, они собирались въ частныхъ домахъ, молились, разбирали священное Писаніе и пѣли псалмы и другіе религіозные гимны на родномъ языкѣ. Въ составленіи этихъ гимновъ приняли большое участіе первые польскіе поэты того времени: Николай Рей изъ Нагловиць, его біографъ Андрей Тшицѣскій, Бернардъ Ваповскій и другіе. О распространенности реформаціи свидѣтельствуетъ то обстоятельство, что даже нѣкоторыя женщины, стоявшія обыкновенно въ сторонѣ отъ общественныхъ вопросовъ, сочувствовали ей и оказывали посильную поддержку ¹⁾. Трудно предположить, чтобы молодой Япъ Кохановскій, который впослѣдствіи проявлялъ столько чуткости къ явленіямъ текущей жизни, остался совершенно въ сторонѣ отъ этого движенія. Реформація, какъ мы увидимъ ниже, нашла отзвукъ во многихъ его произведеніяхъ. Слѣдовательно, онъ, если и не раздѣлялъ вполне протестантскихъ рели-

¹⁾ Сохранились, между прочимъ, стихотворенія Софіи Олесницкой изъ Песковой Скалы и Регины Филиповской. Тшицѣскій упоминаетъ также Регину Буженскую, которая благодаритъ Бога за то, что вступила въ Его церковь.

гіозныхъ убѣжденій, то всетаки сочувствовалъ нѣкоторымъ изъ нихъ и близко зналъ нѣкоторыхъ сторонниковъ новыхъ идей, о чемъ свидѣтельствуютъ слѣдующія слова Рея:

Przypatrzcie się, co umie pocziwe ćwiczenie,
 Gdy szlachetne przypadnie k niemu przyrodzenie,
 Co rozeznasz z *przypadków* i *postępków* jego,
 Tego Kochanowskiego, szlachcica polskiego,
 Jak go przyrodzenie z ćwiczeniem sprawuje,
 Co jego *wiele pisma* jaśnie okazuje,
 Mógłci umieć Tybullus piórkiem przepierować,
 Lecz nie wiem umiałli tak *cnotą zafarbować*.

Такъ выразился Рей въ «Звѣринцѣ», изданномъ въ 1562 году, слѣдовательно, когда Кохановскому было уже 30 лѣтъ. Слова «*przygody* i *postępki*» могли относиться къ предыдущей жизни поэта гуманиста, когда онъ былъ лично знакомъ съ Реемъ, и сталкивался съ нимъ. Выраженіе «*wiele pisma*» указываетъ, что кромѣ перевода «Феномеповъ», «Фрашекъ» и немногихъ пѣсенъ, которыя можно отнести ко времени пребыванія Кохановскаго за границей и первыхъ лѣтъ его придворной жизни, онъ писалъ еще много другихъ неизвѣстныхъ намъ вещей, очень можетъ быть, религіознаго содержанія. Нельзя допустить, чтобы такая совершенная по формѣ и содержанію вещь, какъ его «Пѣснь о благодѣянiяхъ Божьихъ» была первымъ польскимъ произведеніемъ Кохановскаго. Подобное предположеніе равносильно отрицанію закона послѣдовательности въ развитіи литературныхъ дарованій. У самыхъ талантливыхъ поэтовъ ихъ лучшимъ произведеніемъ всегда предшествуютъ болѣе слабыя по формѣ и по содержанію. Нѣтъ основанія предполагать, чтобы нашъ поэтъ представлялъ въ этомъ отношеніи какое-то счастливое исключеніе.

Поэтическое дарованіе должно было проявиться у Кохановскаго, по всей вѣроятности, въ очень раннемъ возрастѣ. Оно было въ семьѣ ихъ какъ бы наслѣдственнымъ. Одинъ изъ младшихъ его братьевъ, Андрей, оставилъ переводъ Энеиды, другой, — Николай, также занимался стихотворствомъ. Послѣ него сохранилась незначительная часть произведеній, извѣстныхъ подъ именемъ «Ротуль». Одинъ изъ сыновей Николая, Петръ Кохановскій, перевелъ «Освобожденный Иерусалимъ» Тасса и «Неистоваго Орланда» Аріоста, въ чемъ обнаружилъ свой недюжинный талантъ.

Во время пребывания нашего поэта въ Краковской Академіи въ обществѣ, въ особенности же въ протестантскихъ его кружкахъ, съ которыми, какъ намъ кажется, Кохановскій могъ имѣть какія-нибудь сношенія, широко распространялись первыя поэтическія произведенія Рея, Тшицѣскаго и другихъ, теперь уже, къ сожалѣнію, неизвѣстныхъ намъ авторовъ, писавшихъ гимны религіознаго содержанія. Уже одно то обстоятельство, что это были первыя поэтическія произведенія на польскомъ языкѣ, должно было обратить на нихъ общее вниманіе. Въ особенности среди молодежи, падкой на всякаго рода новинки, эти стихотворенія, вѣроятно, переходили съ рукъ на руки, переписывались и даже, можетъ быть, выучивались наизусть. Въ 1545 году вышелъ въ свѣтъ «Żywot Józefów» Рея. Въ томъ же году были изданы высокоталантливыя, проникнутыя тихой грустью, латинскія элегіи Клеменса Яницкаго, незадолго до ихъ выхода преждевременно погибшаго въ самомъ расцвѣтѣ своего богатаго дарованія. Трудно допустить, чтобы эти произведенія, попадая въ руки молодого Яна, не производили на него сильнаго впечатлѣнія, не вызывали въ немъ охоты къ подражанію. Противъ этого говорятъ нѣкоторыя изъ его фрашекъ, въ которыхъ можно замѣтить слѣды реминисценцій изъ Рея, какъ, напримѣръ, одиннадцатая и тридцать третья фрашка первой книги ¹⁾. Едва-ли Кохановскій сталъ бы подражать Рею во время своего пребывания за границей, когда у него были подъ рукою гораздо болѣе совершенные образцы въ лицѣ греческихъ, латинскихъ и итальянскихъ классиковъ, или, что намъ кажется еще болѣе невѣроятнымъ, уже по возвращеніи изъ за границы, когда его поэтическій талантъ уже настолько окрѣпъ, что онъ смѣло могъ отдаться оригинальному творчеству. Слѣдовательно, фрашки эти нужно отнести еще къ тому времени, когда Кохановскій учился въ Краковскомъ университетѣ. По всей вѣроятности, тогда же возникло одно изъ наиболѣе раннихъ его произведеній, а именно «Піснь о потоцѣ» ²⁾. Кромѣ текста, вошедшаго въ изданіе 1585 года, просмотрѣнное самимъ авторомъ, «піснь» эта выходила болѣе раннимъ отдѣльнымъ изданіемъ безъ даты, судя по виньеткѣ изъ типографіи Шарффенберга. Отсутствіе въ этомъ изданіи имени автора подало

¹⁾ См. W. P. II. 339 и 344 str.

²⁾ См. Wydanie Pomnikowe. Warszawa 1884. t. I str. 302. (Pieśni Jana Kochanowskiego księgi wtóre, pieśń I).

поводъ нѣкоторымъ историкамъ литературы высказывать о ней самыя противорѣчивыя мнѣнія. Одни считали ее подражаніемъ Кохановскому, другіе думали, что это и есть неизвѣстное произведеніе Николая Рея «O potopie Noego», о которомъ упоминаетъ въ его біографіи Андрей Тшицѣскій. Однакоже достаточно ближе присмотрѣться къ художественнымъ красотамъ этой пѣсни и къ вольному подражанію въ нѣкоторыхъ мѣстахъ одамъ Горациа, что составляетъ одну изъ отличительныхъ особенностей творчества Кохановскаго, чтобы окончательно убѣдиться въ принадлежности ея нашему поэту, а не кому-нибудь другому изъ числа современниковъ Яна. Художественныя достоинства еще бы ничего не доказывали, такъ какъ и въ произведеніяхъ Николая Рея можно встрѣтить ихъ въ значительномъ количествѣ, но если соединить съ ними подражаніе Горацию, то предположеніе о принадлежности Рею «Пѣсни о потопѣ» рушится само собою, такъ какъ, насколько намъ извѣстно, отличительной чертой его творчества была полная самобытность и отсутствіе подражанія классическимъ авторамъ, которыхъ онъ не долюбивалъ, за исключеніемъ развѣ Виргилія, Платона, Аристотеля и очень немногихъ, а кромѣ Рея мы не знаемъ другихъ поэтовъ, которые могли бы создать такіе художественные образы. Наконецъ, Кохановскій, который такъ выражается, принимая у себя гостей:

Muzyka będzie. pieśni też dostanie.

A k temu płacić nie potrzeba za nię.

Bo się tu ten źmij rodzi tak okwito.

Lepiej daleko niż jęczmień, niż żyto ¹⁾.

едва ли рѣшился бы присвоить себѣ чужую вещь, лично просматривая изданіе 1585 года. Слѣдовательно, авторомъ этой пѣсни въ первоначальной анонимной редакціи, насколько можно судить по нѣкоторымъ недостаткамъ, исправленнымъ въ полномъ собраніи произведеній Яна изъ Чернолѣса, былъ не кто иной, какъ самъ Кохановскій. Шиборовскій держится того мнѣнія, что «пѣснь» эта первоначально распространялась въ рукописныхъ экземплярахъ, при чемъ текстъ ея подвергся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ порчѣ ²⁾. Въ такомъ видѣ досталась она издателю, который напечаталъ ее, быть можетъ, не зная имени

¹⁾ См. Fraszka I. 10. W. P. II. 338 str.

²⁾ См. „Ateneum“ 1876 r. t. I str. 666. (Józef Przyborowski Jana Kochanowskiego „Pieśni o potopie“).

автора. По той же причинѣ онъ не обозначилъ своей фирмы, чего, навѣрное, не проминулъ бы сдѣлать, если бы самъ поэтъ уполномочилъ его издать «Пѣснь о потопѣ». Мнѣніе о *распространенности* этого произведенія *въ рукописи* кажется намъ новымъ доводомъ за то, что оно возникло въ очень раннемъ періодѣ творчества Кохановскаго, когда онъ, по всей вѣроятности, и не думалъ печатать плодовъ своей музы. Время написанія этой пѣсни, какъ намъ кажется, слѣдуетъ заключить въ предѣлахъ между 1544 и 1557 годами, т. е. въ періодѣ школьной жизни нашего поэта, даже болѣе, нужно сузить этотъ промежутокъ, такъ какъ встрѣчающіяся въ ней упоминанія польскихъ рѣкъ, какъ, напримѣръ, въ первомъ изданіи—Висла, а въ полномъ Вильна, указываютъ на возникновеніе этой пѣсни еще на родинѣ, а не за границей, гдѣ новыя впечатлѣнія могли загладить воспоминанія о видѣнномъ и пережитомъ еще въ Краковѣ. Ближайшимъ поводомъ написанія этого стихотворенія могло послужить для Яна дѣйствительное событіе. Благодаря сильнымъ и продолжительнымъ дождямъ, разлилась Висла. Картина этого наводненія напомнила Кохановскому уже извѣстное ему стихотвореніе Рея «О потопѣ Ноя», а также и 2-ую оду I книги Горация (*Jam satis terris . . .*). Подъ этимъ впечатлѣніемъ онъ, вѣроятно, и попытался самъ изобразить поразившую его картину. Сравнивая эту пѣснь съ одой Горация, которой въ нѣкоторыхъ мѣстахъ подражалъ Кохановскій, мы замѣчаемъ здѣсь большую свободу въ пользованіи источникомъ. У нашего поэта такъ же, какъ у Горация, видъ разлившейся рѣки вызываетъ воспоминаніе о бывшемъ нѣкогда всемірномъ потопѣ, посланномъ въ наказаніе за грѣхи людей. Горацийъ отъ мысли о Девкаліоновомъ потопѣ переходитъ снова къ современному себѣ наводненію и проводитъ ту мысль, что бѣдствіе это послужило наказаніемъ за междоусобныя войны, о которыхъ будутъ вспоминать потомки римлянъ. Въ отчаяніи восклицаетъ римскій поэтъ:

Какое божество молить и кто поможетъ

Народу изо всѣхъ въ превратностяхъ судьбы?

Какая пѣсня жриць заставитъ Весту можетъ

Дѣвичьи внять мольбы?

Гдѣ очиститель, намъ Юпитеромъ избранный?

Ты, наконецъ, приди, моленіемъ смягченъ,

Увивши рамена одеждою туманной,

Вѣщатель Аполлонъ!

Въ заключеніе Гораціи обращается къ Меркурію съ мольбою сбросить крылья и, принявши образъ юности Августа, отомстить за смерть Юлія Цезаря ¹⁾. Кохановскій въ первой части своей пѣсни въ общей мысли сходится съ Гораціемъ. Дальнѣйшія подробности у него развиты совершенно иначе. Тогда какъ Горацій рисуетъ картину потопа уже въ полномъ его разгарѣ, нашъ поэтъ излагаетъ послѣдовательно ходъ его распространенія, согласно съ текстомъ Книги Бытія ²⁾. Удивляется онъ нечестію того времени, въ которомъ одинъ только Ной за свою праведность заслуживалъ пощады, упоминаетъ о его плаваніи въ Ковчегѣ, затѣмъ описываетъ постепенное спаденіе воды, радугу и Божіе обѣщаніе. Заканчиваетъ онъ свое стихотвореніе въ первомъ изданіи благодарностью Богу за Его благодѣянія, а во второмъ—благоговѣйнымъ смиреніемъ передъ величіемъ предмета, затронутого его лютней, вмѣстѣ съ приглашеніемъ переждать невзгуду у теплаго очага. Что касается частныхъ, то необходимо отмѣтить, какъ пользовался Кохановскій отдѣльными стихами и образами Гораціи для своего произведенія. Первая строфа пѣсни Кохановскаго имѣетъ только очень незначительное сходство съ первой у Гораціи, который причиной наводненія выставляетъ градъ и снѣгъ. Конецъ первой строфы и первый стихъ второй у Гораціи вызвали у Кохановскаго во второй строфѣ сходный образъ, но гораздо болѣе сильный и выразительный. Третья строфа Гораціи, которая звучитъ такъ:

И рыба втерлась тамъ въ вязовыя вершины,
Гдѣ горлицѣ лѣсной была знакома сѣнь,
И плавалъ посреди нахлынувшей пучины
Испуганный олень ³⁾.

У Кохановскаго передана слѣдующимъ образомъ:

Ryby po górach wysokich pływały,
Gdzie ledwe przed tym pióra donaszały
Mężnej orlice, gdy do miłych dzieci
Z obłowem leci ⁴⁾.

¹⁾ См. К. Горацій Флаккъ. Въ переводѣ и съ объясненіями Фета. Москва 1883. Оды. кн. I. 2 ода къ Цезарю Августу. 6 стр.

²⁾ См. Бытія. Глава VII. ст. 17—19.

³⁾ См. К. Горацій Флаккъ, въ перев. Фета Москва 1883 г. 7 стр. 9—12 стиха.

⁴⁾ См. Wyd. Pomn. I т. 303 стр. 21—24 стихи.

Нельзя не согласиться, что образъ Кохановскаго, хотя и навѣянъ въ данномъ случаѣ Гораціемъ, однако предпочтеніе нужно отдать польскому поэту, а не его образцу, такъ какъ Кохановскій рисуетъ болѣе величественную картину, которая скорѣе подходитъ къ данному событію, чѣмъ идиллическое описаніе затопленныхъ верхушекъ деревьевъ, горлицъ и испуганнаго оленя. Очевидно, библейскій образъ по своей величественной простотѣ гораздо ближе нашему поэту, чѣмъ классическое описаніе Горація. То же самое мы замѣчаемъ и въ дальнѣйшемъ развитіи мысли Кохановскаго въ этомъ стихотвореніи. Тутъ онъ держится преимущественно трогательнаго разсказа Бытописателя Моисея, который передается имъ иногда почти слово въ слово. Вотъ напримѣръ 15 и 16 стихи 8 главы книги Бытія:

«И обратился Богъ къ Ною и сказалъ: выходи изъ ковчега ты и твоя жена и твои сыновья и жены твоихъ сыновей съ тобою».

У Кохановскаго 53—54 стихъ:

I rzekł (Bóg) Noemu: już teraz na ziemię
Występuj śmieje, i z tobą twe plemię.

Послѣднимъ словамъ 17 стиха 8 главы и первому стиху 9-ой книги Бытія соотвѣтствуютъ слѣдующія у Кохановскаго:

Mnożcie się, niech świat spustoszały wszędzie
Znowu osiedzie.

Въ IX главѣ (13—16 стихи) Богъ говоритъ: «Мою радугу положилъ Я на облакахъ, она должна быть знакомъ союза между Мною и между землею. И если случится, что Я наведу облака на землю, то слѣдуетъ увидѣть Мою радугу на облакахъ. Тогда Я вспомню о Моемъ союзѣ между Мною и вами, и всѣми живущими тварями, и всякой плотью въ томъ, что больше не придетъ потопъ за грѣхи, который истребитъ всякую плотъ»¹⁾.

Мѣсто это переведено Кохановскимъ слѣдующимъ образомъ:

Włożę na niebo znakomitą pręgę.
Którą gdy ujrzę wspomnę na przysięgę.
Że mam hamować niezwyčajną wodę:
I nie zawiodę.

¹⁾ Тексты изъ Библии мы приводимъ въ дословномъ русскомъ переводѣ по нѣмецкому переводу Мартина Лютера, который во всякомъ случаѣ ближе къ текстамъ знакомымъ Кохановскому, чѣмъ ц-славянскій и русскій.

Какъ видно изъ этихъ примѣровъ, во всемъ своемъ стихотвореніи Кохановскій былъ гораздо ближе къ Библии, чѣмъ къ Горацию, изъ чего можно заключить, что произведеніе это было написано имъ не въ Италіи, гдѣ, какъ извѣстно, онъ находился подъ сильнымъ вліяніемъ классиковъ, реминисценціи изъ которыхъ видны во всѣхъ его произведеніяхъ позднѣйшаго времени. Другимъ доводомъ ранняго происхожденія этой пѣсни служитъ наивность ея замысла въ цѣломъ ея построеніи и въ отдѣльныхъ выраженіяхъ, которая съ особенной яркостью выражается въ текстѣ перваго ея изданія. Въ то время, какъ у Горация современному событію отведено въ одѣ первенствующее значеніе, а потопъ Девкалионовъ выступаетъ въ ней только какъ сильный и выразительный образъ для приданія пластичности цѣлому произведенію, у Кохановскаго видѣнное имъ явленіе служитъ только поводомъ для изображенія библейскаго потопа, а затѣмъ совершенно отступаетъ на задній планъ и лишь въ концѣ, по поводу обѣщанія Божьяго, поэтъ снова обращается къ современной ему дѣйствительности и заключаетъ стихотвореніе благодареніемъ Богу. Такая композиція сразу бросается въ глаза своей искусственностью и наивностью. Дѣйствительное событіе не сливается здѣсь въ одно стройное цѣлое съ воспоминаніемъ о потопѣ, картина здѣсь не заключена въ рамки, а выступаетъ изъ нихъ. Изъ даннаго произведенія выходитъ, что главной цѣлью автора было изображеніе всемірнаго потопа; а разливъ Вислы является только случайнымъ событіемъ совершенно искусственно связаннымъ съ основною мыслью стихотворенія. Настоящій опытный художникъ сумѣлъ бы слить эти два образа въ одно стройное цѣлое, чего не сдѣлалъ однако Кохановскій. Кромѣ того въ отдѣльныхъ мѣстахъ разбираемаго стихотворенія видна еще не совсѣмъ опытная рука, нѣкоторые образы не отличаются особенной изысканностью. Отъ нихъ такъ и вѣетъ чуть ли не дѣтской наивностью. Возьмемъ, напр., хоть бы слѣдующую строфу:

A trupy wszędzie straszliwe leżały.
Ludzie i bydło, wielki zwierz i mały
Pełne ich rzeki, pełne morza były,
Boga ruszyły.

Или, наиримѣръ, приемовка въ родѣ Wisła—Wyszła. wszędzie—załudni ¹⁾

¹⁾ См. Wyd. Pomn. I t. 304 str. 31 примѣч.

и т. п. — не показывает ли еще не вполне разившийся литературный талант, которому еще не достает технической обработки? Къ числу такихъ же неудачныхъ мѣстъ нужно отнести послѣднюю строфу перваго изданія, въ которой, кромѣ неправильности въ построении стиха, заключается лишнее и довольно слабое повтореніе мысли, выраженной въ 16, 17, 18 и 19 строфахъ. Однако, не смотря на эти промахи въ «Пѣсни о потопѣ» уже видны проблески выдающагося поэтического дарованія. Кромѣ приведеннаго выше художественнаго образа залитыхъ водою горныхъ вершинъ, которыхъ прежде едва достигали крылья орлицы, мы имѣемъ еще много по истинѣ художественныхъ мѣстъ, какъ на примѣръ, слѣдующее:

Potym i zbytne zawarły się zdroje.
A bystre rzeki wpadły w brzegi swoje:
Ziemia ku słońcu pełne ciężkiej rosy
Rozwiła włosy.

Трудно встрѣтить болѣе красивый образъ, чѣмъ это сравненіе земли съ женщиной, распустившей на солнцѣ свои пышные волосы, отяжелѣвшіе отъ росы. Этой одной черты достаточно, что бы угадать въ молодомъ поэтѣ будущаго великаго художника ¹⁾. Несомнѣнно, что «Пѣснь о потопѣ» тотчасъ пошла по рукамъ и обратила общественное вниманіе на юнаго студента Краковской Академіи. Въ тѣхъ самыхъ кружкахъ, гдѣ вращался въ то время Кохановскій, были, вѣроятно, и сыновья мало-польскихъ магнатовъ, которымъ уже черезъ нихъ сдѣлался извѣстнымъ молодой поэтъ, подававшій такіа блестящія надежды. Старый обычай покровительствовать развивающимся талантамъ еще не вполне прекратился среди богатыхъ и знатныхъ представителей польской шляхты. Одинъ изъ такихъ магнатовъ, должно быть, обратилъ свое благосклонное вниманіе на молодого Кохановскаго

¹⁾ Нѣкоторые критики говорятъ, что никакого наводненія за время пребыванія Кохановскаго въ Краковскомъ университетѣ не было. Противъ этого свидѣтельствуемъ недавно найденное стихотвореніе Кшицкаго. „De Istulae inundatione“ (Rozprawy Akademii Umiejętności t. XVIII „Przyczynek do poezyi polsko łacińskiej XVI wieku“. Napisał Marcin Sas. 315 str.). Приводимъ это стихотвореніе цѣликомъ:

De Istulae inundatione.

Sarmata, conquereris, quod damnum acceperis ingens
Istulae latae dum populantur aquae
Desin [e iam q] u [estus van] o [s] Quod fas fuit annos
Omnes cur uno non licuisset aquae.

и взялъ его подъ свое покровительство. Очень можетъ быть, что загадочные годы, проведенные имъ гдѣ-то, до поступления въ 1552 году въ Падуанскую Академію, прожилъ онъ при дворѣ своего мецената, на счетъ котораго ему впослѣдствіи пришлось отправиться за границу. По мнѣнію Бронислава Хлѣбовскаго ¹⁾, не обладая значительными матеріальными средствами для продолженія своего образованія за границей, Кохановскій долженъ былъ пройти по оставленіи Краковскаго университета тяжелую школу при дворѣ какого-нибудь магната, такъ какъ другого пути для приложенія своихъ знаній и способностей для него не было въ то время. Придворная служба была единственной карьерой небогатаго шляхтича, который видѣлъ въ ней переходную ступень къ достиженію болѣе высокихъ государственныхъ должностей ²⁾. Сопоставляя съ этимъ то обстоятельство, что съ XVI вѣка средоточіями умственной жизни въ Польшѣ были дворы мало-польскихъ пановъ, имѣнія которыхъ были разбросаны на пространствѣ между Вислой и Саномъ, у Карпатскаго предгорья, Брониславъ Хлѣбовскій полагаетъ ³⁾, что Кохановскій, пользуясь покровительствомъ кого-нибудь изъ мало-польскихъ магнатовъ, попалъ на придворную службу въ эту именно мѣстность, такъ какъ возвращеніе подъ родительскую кровлю послѣ смерти отца едва ли было для нашего поэта необходимымъ ⁴⁾. Его старшій братъ, Касперъ, вполнѣ замѣнилъ отца для осиротѣлой семьи. Другихъ основаній не было для жизни, только что оставившаго Краковскій университетъ Яна въ глуши Сандомирскаго повѣта. Образъ жизни сосѣдней шляхты, по свидѣтельству Рея, былъ лишень всякихъ умственныхъ интересовъ ⁵⁾. Другимъ

¹⁾ См. Br. Chlebowski. Jan Kochanowski w świetle własnych utworów. Warszawa 1884 г.

²⁾ Прямыхъ указаній на зависимость нашего поэта отъ кого-либо изъ польскихъ меценатовъ того времени мы не имѣемъ. Въ латинскихъ элегіяхъ падуанскаго періода мы встрѣчаемъ нѣсколько разъ упоминаніе о гетманѣ Янѣ Тарновскомъ и его сынѣ Кшиштофѣ. Насколько можно судить по содержанію этихъ произведеній авторъ ихъ состоитъ въ какихъ то близкихъ отношеніяхъ къ обоимъ Тарновскимъ, знакомство съ которыми должно было состояться еще до его отъѣзда за границу.

³⁾ См. „Tygodnik Ilustrowany 1884 г. t. II. str. 117.

⁴⁾ Ibid.

⁵⁾ Совсѣмъ не то было въ Малой Польшѣ, о жителяхъ которой вышеупомянутый писатель передаетъ слѣдующее:

I tak owi u dwora to nad tymi mają,
Iz jakiej chęć biesiady, takiej używają.

доводомъ въ пользу того, что Кохановскій находился подъ покровительствомъ Яна Тарновскаго, Брониславъ Хлѣбовскій считаетъ родственную связь между женой гетмана, урожденной Шидловедкой изъ герба Одровонжь, и матерью поэта того же герба ¹⁾. Помимо литературной извѣстности это родство должно было приблизить нашего поэта къ Яну Тарновскому, который, по окончаніи имъ Краковскаго университета, увезъ поэта, подающаго такія блестящія надежды въ свои многочисленныя и обширныя имѣнія между Вислой и Саномъ. Тамъ, у предгорья Карпатовъ, при дворѣ стараго гетмана, провелъ Кохановскій промежутокъ времени отъ 1549 по 1551 годъ, когда онъ выѣхалъ за границу. Къ этому году относится единственное его стихотвореніе, дата котораго можетъ быть опредѣлена съ безусловной достовѣрностью. Мы говоримъ о латинскомъ четверостишіи, написанномъ на экземплярѣ трагедій Сенеки, хранящемся въ Ягеллонской библіотекѣ за № 1232. Надпись эта стоитъ на книжкѣ, подаренной нашимъ поэтомъ своему краковскому пріятелю Гжепскому и гласитъ слѣдующее:

Dum mihi tam magnus late peragrabitur orbis
 Hoc tibi perpetui pignus amoris erit
 Exigui fateor, sed tu charissime Grebsi
 Quantulacumque animo dona metire meo.

J. K.

На концѣ книги стоитъ слѣдующая надпись: Anno domini 1551 circiter Bartholomei ferias domo egressus sum.

Послѣднія слова, вѣроятно, показываютъ день выѣзда Кохановскаго за границу. Вотъ и всѣ точныя данныя, какія у насъ есть объ этомъ загадочномъ періодѣ жизни чернопольскаго поэта.

I jaki chce takie ma zawsze towarzystwo,
 A po myśli mu się zda, jako raczy wszystko.

Bo co jedno pomyslisz, najdziesz tam wnet wszystko.
 Najdziesz uczonego najdziesz i rycerza,
 Więc muzyka, doktora, lutnistę, szermierza.
 Owo cobys jedno chciał mieć pocziwego,
 Najdziesz tam piękny warstat rzemiosła każdego.

Такъ свидѣтельствуемъ Рей въ пользу нашего положенія о томъ, что ни одинъ изъ образованныхъ молодыхъ поляковъ средняго достатка не начиналъ своей карьеры помимо придворной службы у короля или магнатовъ.

¹⁾ Необходимо вспомнить, что въ тѣ времена происхождение изъ фамиліи одного и того же герба считалось родствомъ.

Не смотря на такую скудость біографическихъ матеріаловъ, Брониславъ Хлѣбовскій ¹⁾ старается подтвердить свою гипотезу отдѣльными штрихами, которые разбросаны во многихъ стихотвореніяхъ Кохановскаго. Прежде всего Хлѣбовскій останавливается на картинахъ прикарпатской горной природы, которыя, какъ мы увидимъ ниже, настолько хорошо и живо изображены нашимъ поэтомъ, что у насъ не остается сомнѣнія въ его основательномъ знакомствѣ съ этимъ краемъ. Самъ поэтъ говоритъ въ 1 фразкѣ III книги ²⁾:

*Wysokie góry i odziane lasy,
Jako rad na was patrzę i swe czasy
Młodsze wspominał, które tu zostały...*

Вторымъ доводомъ въ пользу того, что молодые годы Кохановскаго прошли у предгорья Карпатовъ, на границахъ Червонной Руси, Брониславъ Хлѣбовскій выставляетъ множество малорусскихъ словъ въ нѣкоторыхъ раннихъ произведеніяхъ нашего поэта ³⁾. Если мы вспомнимъ, что имѣнія Тарновскихъ находились чуть ли не въ русскихъ предѣлахъ и, слѣдовательно, при дворѣ гетмана зачастую должна была слышаться малорусская рѣчь. если мы, наконецъ, сопоставимъ съ этимъ вышеупомянутыя латинскія элегіи нашего поэта къ Тарновскимъ и его родственную связь съ ними, то гипотеза Бронислава Хлѣбовскаго, подкрѣпляемая данными Станислава Виндакевича ⁴⁾ о бѣдности семьи Кохановскихъ и также о распространенности придворной службы мелкой шляхты у знатныхъ вельможъ, становится въ высшей степени правдоподобной.

Тѣ возраженія, которыя дѣлаетъ противъ нея, въ погонѣ за точными свѣдѣніями, профессоръ Станиславъ Тарновскій, кажутся намъ не вполне убѣдительными. Почтенный краковскій профессоръ не вполне точно излагаетъ эту гипотезу. По его словамъ, Брониславъ Хлѣбовскій все свое доказательство основываетъ на томъ, что придворная служба была распространена среди польской шляхты, слѣдовательно, и Кохановскій долженъ былъ подражать примѣру другихъ ⁵⁾. Изъ всего вышеска-

¹⁾ См. „Tyg. Ilustr.“ 1884 г. т. II. str. 117.

²⁾ См. W. P. т. II. str. 400.

³⁾ Ibid.

⁴⁾ См. St. Windakiewicz. Życie dworskie Jana Kochanowskiego. Kraków 1886 г. и его же „Pobył Kochanowskiego za granicą“. Kraków 1886 г.

⁵⁾ St. Tarnowski. Jan Kochanowski. 157 str.

заннаго ясно, что Хлѣбовскій совсѣмъ не въ этомъ полагаетъ центръ тяжести изложенной нами гипотезы, каждое доказательство которой въ отдѣльности не имѣетъ еще той убѣдительности и силы, какъ вся ихъ совокупность. Критическій приѣмъ Станислава Тарновскаго, состоящій въ опроверженіи одного доказательства безъ всякаго разбора другихъ, не можетъ считаться строго научнымъ такъ же, какъ и его признаніе пѣсни „Czego chcesz od nas, Panie“, первымъ произведеніемъ польской музы Кохановскаго. На нашъ взглядъ, гипотеза Бронислава Хлѣбовскаго, если и не имѣетъ вида математически точнаго доказательства, тѣмъ не менѣе, по своей правдоподобности и сходству съ новѣйшими данными, добытыми Брикнеромъ, стоитъ ближе всего къ истинѣ и на этомъ основаніи должна быть принята нами до новаго, болѣе точнаго изслѣдованія этого загадочнаго періода въ жизни Кохановскаго.

ГЛАВА II.

Янъ Кохановскій за границей.

I.

Свидѣтельство Пападополи о пребываніи Кохановскаго въ Венеціи. Выздѣ въ Падую. Падуанскій университетъ въ половинѣ XVI вѣка. Профессора. Робортелль. Товарищи Кохановскаго и его отношеніе къ нимъ.

Трудъ Пападополи, „Historia Gymnasii Patavini“, является главнымъ источникомъ, изъ котораго мы можемъ имѣть свѣдѣнія о состояніи падуанскаго университета въ теченіе XVI и XVII столѣтій и о поступленіи туда Кохановскаго. „Eius nomen, говоритъ Пападополи о нашемъ поэтѣ¹⁾, inscriptum est albis polonicis (ad ann. 1552) *palamque est, ipsum fuisse discipulum Robortelli, postquam operam dedit Venetiis institutioni Manutii*“. Если бы свидѣтельство это мы и признали безусловно достовѣрнымъ, всетаки нельзя не согласиться съ тѣмъ, что пребываніе Кохановскаго въ Венеціи не было продолжительнымъ, такъ какъ въ произведеніяхъ его объ этомъ не имѣется никакихъ данныхъ, кромѣ двухъ эпиграммъ. Оно имѣло для нашего поэта лишь второстепенное подготовительное значеніе передъ поступленіемъ въ падуанскій университетъ, который привлекалъ его, твердо установившееся, научной репутацией.

Въ половинѣ XVI вѣка, триста слишкомъ лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ Падуя приобрѣла себѣ почетную извѣстность, въ качествѣ сокровищницы европейской образованности и просвѣщенія. Слава этого города особенно увеличилась съ начала XV вѣка, послѣ

1) См. Histor. Gimn. Patav. II t. 237 p.

присоединенія его къ Венеціи (въ 1405 г.). Благодаря заботамъ этой богатой и просвѣщенной республики, а также замѣщенію нѣкоторыхъ кафедръ въ Падуанскомъ университетѣ греками, прибывшими сюда во второй половинѣ XV вѣка, слава этого ученаго учрежденія разнеслась по всей Европѣ, привлекая въ его стѣны учащуюся молодежь со всѣхъ концовъ міра. Блескъ этотъ къ половинѣ XVI вѣка достигъ наибольшей степени. Въ 1552 году была закончена реставрація университетскаго зданія, принявшаго тотъ видъ, который оно имѣетъ и въ наши дни.

Въ то время учебный годъ въ Падуанскомъ университетѣ начинался 3 ноября и заканчивался 12 іюня. Эти дни были, однако, только официальными предѣлами, на самомъ же дѣлѣ цѣлый май былъ свободенъ отъ лекцій. Кромѣ столь продолжительныхъ лѣтнихъ ваканцій чтились праздники Рождества Христова, Карнавала, Пасхи и патроновъ университета: Божьей Матери и св. Мартина. Чтобы судить, какъ мало времени было посвящено университетскимъ занятіямъ, нужно еще принять во вниманіе, что профессора нерѣдко пропускали свои лекціи.

Во главѣ университета стояли два ректора, одинъ управлялъ юридическимъ отдѣломъ, другой артистическимъ. Въ годъ поступленія Кохановскаго первымъ завѣдывалъ Ioannes Maria Labellus (Fogojuliensis); а послѣднимъ—римлянинъ Vincentius de Menichellis. Профессорскія кафедры распадались на три категоріи: *lectio prima*, *secunda* и *tertia*, а иногда *ordinaria* и *extraordinaria*, нѣчто въ родѣ современнаго распределенія профессоровъ на ординарныхъ, экстраординарныхъ и доцентовъ, которые назывались тогда „*tertiani*“. Въ то время, когда учился здѣсь Кохановскій, мы уже встрѣчаемся иногда съ именами трехъ профессоровъ по одной и той же кафедрѣ. Даже съ XV вѣка метафизику читаютъ два профессора, одинъ — доминиканецъ — по св. Томѣ, другой — францисканецъ — по Скоту Эригенѣ. Во время Кохановскаго доминиканскимъ метафизикомъ былъ Fr. Hieronymus Vielmius, венеціанецъ, пользовавшійся большою извѣстностью и впоследствии удостоенный кардинальской шапки. Получалъ онъ 70 флориновъ вознагражденія. Въ первомъ часу утра (по нынѣшнему въ шестомъ) и францисканецъ и доминиканецъ одновременно читали лекціи по Священному Писанію, а въ третьемъ часу (восьмомъ) богословіе. По логикѣ было три профессора; отъ 1543 до 1563 года ординарнымъ профессоромъ былъ по

этой каедрѣ Bernardinus Tomitanus, родомъ падуанецъ. Онъ пользовался также большою популярностью и получалъ сначала 80 флориновъ, а черезъ одиннадцать лѣтъ—триста. Вторую (экстраординарную) кафедру логики занималъ съ 1553 года Petrus Maria Aquanus, родомъ изъ Бриксенъ, а третью—Marcus de Oddis. По кафедрѣ философіи было два профессора. Первымъ былъ съ 1533 года Marcus Antonius Passera, по прозвищу Genova. Онъ пользовался широкою извѣстностью, какъ профессоръ. На лекціи его собиралось до трехсотъ человѣкъ слушателей. Сначала онъ получалъ 300 флориновъ содержанія, затѣмъ 500 и, наконецъ, 800. Венеціанская республика дала въ приданое за его дочью 600 флориновъ и пожаловала ему въ 1545 году за ученые заслуги титулъ *professoris supraordinarii*. Онъ оставался въ своей должности до 1563 года. Другимъ ординарнымъ профессоромъ по той же кафедрѣ былъ Abbcascius изъ Апуліи, получалъ онъ 130, а затѣмъ 300 флориновъ. Онъ занималъ кафедру съ 1543 по 1564 годъ. Онъ читалъ Аристотеля *Libros de generatione, de Corruptione, de Coelo*, изъ его „физики“ первую, вторую и восьмую книги, а также сочиненіе Альберта Великаго „*De anima*“. Экстраординарныхъ профессоровъ философіи при Кохановскомъ было двое: Gabriel Albertus, Pedemontanus; Ioannes Paverius, Calaber. Кромѣ того былъ еще доцентъ — tertianus Marcus de Oddis. Они читали тоже самое, что и ординарные, съ прибавленіемъ еще этики. Софистику читали два профессора. Первую кафедру занималъ въ 1548 году какой-то Станиславъ, по всей вѣроятности, полякъ. Однако Кохановскій его не слушалъ, такъ какъ съ 1552 года эту кафедру занималъ Camillus Venturonus, потомъ Baptistes Rota и другіе. Вторымъ профессоромъ софистики въ 1552 году былъ Jacobus Birettus, въ 1553 году Bernardinus Grippa, а въ 1554—Petrus Gonesius, polonus, который, пробывши нѣсколько мѣсяцевъ, „onus deposuit“. Это былъ, по всей вѣроятности, знаменитый впоследствии польскій еретикъ, Петръ изъ Гоніондза. Кромѣ того существовала еще кафедра нравственной философіи, очень интересовавшая учащуюся молодежь того времени. Однако съ 1552 по 1557 годъ изъ числа профессоровъ по этой кафедрѣ нѣтъ ни одного, который былъ бы хоть чѣмъ нибудь извѣстенъ. Любопытно, что на эту кафедру въ 1554 году былъ избранъ Stanislaus Versarius, polonus, который, однако, по какимъ-то причинамъ лекцій не читалъ.

Изъ этихъ профессоровъ по философскимъ предметамъ Кохановскій слушалъ лекціи знаменитаго Геновы во всякомъ случаѣ, что бы онъ ни читалъ. Вѣроятно, онъ слушалъ также и логику, чего требовало тогдашнее понятіе о научномъ образованіи. Сверхъ того онъ слушалъ, должно быть, и нравственную философію. Едва-ли можно предположить, чтобы онъ занимался астрономіей, математикой, оптикой, перспективой и географіей, такъ какъ его гораздо больше интересовали древніе языки, риторика и поэзія. По словамъ Пападополи, *Eloquentiae magister* читаетъ во второмъ часу утра, или поэтику Аристотеля и ея сущность, или, чаще всего, объясняетъ трагедіи, или говоритъ объ искусствѣ исторіографіи и комментируетъ Ливія, или учитъ о сатирѣ, избирая ея образцомъ Ювенала. Неизвѣстно, таковъ ли былъ предметъ риторики во время Кохановскаго, однако кафедра эта, наиболѣе подходящая къ современной кафедрѣ литературы и эстетики, въ то время имѣла знаменитыхъ профессоровъ, ревностнымъ слушателемъ которыхъ, безъ всякаго сомнѣнія, былъ и нашъ поэтъ. Въ 1552 году умеръ *Вопамісусъ*, занимавшій эту кафедру, и вмѣсто него выступилъ Франческо Робортелло, извѣстный своей громадной эрудиціей и множествомъ произведеній въ области древнихъ литературъ. Достаточно вспомнить, напримѣръ, его „*De vita et victu populi Romani*“, „*De provinciis Romanorum*“, „*Convenientia supputationis Livianae cum marmoribus, quae sunt Romae in Capitolio*“, „*De Rhetorica facultate*“, „*Explicationes de Satyra, Epigrammate. Comoedia, Elegia etc.*“ и „*Explicationes in librum Aristotelis de Poëtica*“, чтобы понять, насколько велика была его ученая извѣстность которая должна была привлекать въ его аудиторію множество слушателей. Вліяніе лекцій Робортелла отразилось на произведеніяхъ Кохановскаго. По эстетическимъ теоріямъ своего учителя созданы имъ латинскія элегіи, „*Foricoenia*“, „Пѣсни“, „Фрашки“, „Сатиръ“, „*Odrpawa posłów greckich*“ и др. Кромѣ вышеуказанныхъ произведеній Робортелла на нашего поэта могли вліять его комментаріи на трагедіи Эсхила, на Горация, Тибулла, Катулла и Проперція, въ особенности комментарій на Эпиталамій Тибулла, который до нашихъ дней извѣстенъ, какъ первая попытка научной критики текста. Какъ извѣстно, въ своихъ латинскихъ стихотвореніяхъ и даже въ польскихъ Кохановскій подражаетъ преимущественно этимъ поэтамъ. Очевидно, будучи въ Падуѣ, онъ прекрасно ознакомился съ ними по лекціямъ Робортелла, рядъ комментаріевъ и произведеній кото-

раго почти совпадаетъ съ подражаніями Кохановскаго тѣмъ же поэтамъ. Предметомъ лекцій этого профессора были, по всей вѣроятности, тѣ самые вопросы, которыхъ касался онъ въ своихъ сочиненіяхъ. Послѣднія являлись если не плодомъ лекцій, то во всякомъ случаѣ были въ достаточной степени извѣстны его слушателямъ. Успѣху его въ значительной мѣрѣ способствовало краснорѣчіе, съ которымъ онъ излагалъ свой предметъ. Аудиторія его не вмѣщала всѣхъ, желавшихъ слушать его лекціи. Позже уже послѣ 1560 года онъ сильно пошатнулъ свой авторитетъ непомерно горячей полемикой съ другимъ профессоромъ, Сигоніемъ, по поводу какого-то научнаго вопроса. Въ 1556 году Робортеллъ на годъ выѣхалъ изъ Падуи. По возвращеніи онъ засталъ въ числѣ профессоровъ Сигонія. Тогда между ними возникла вышеупомянутая полемика. Будучи человѣкомъ горячаго темперамента, рѣзкимъ и невоздержаннымъ на языкъ, жаднымъ къ славѣ и ревнивымъ по отношенію къ соперникамъ, Робортеллъ готовъ былъ бороться съ каждымъ, кого только считалъ способнымъ набросить хоть тѣнь сомнѣнія на его умственное превосходство. Сигоній и въ мысляхъ не имѣлъ ничего подобнаго, однако поневолѣ долженъ былъ вступить въ эту несчастную полемику. Тогда вся университетская молодежь раздѣлилась на два враждебныхъ лагеря, взаимная ненависть дошла, наконецъ, до такихъ предѣловъ, что власти принуждены были вмѣшаться въ эти ученныя неурядицы. Во время Кохановскаго этотъ антагонизмъ только начинался и Робортеллъ еще пользовался прекрасной репутаціей. Таковы были профессора Кохановскаго.

Остается теперь сказать о его сверстникахъ и товарищахъ. Вмѣстѣ съ нимъ въ падуанскомъ университетѣ учился Андрей Патрицій Нидецкій, ученый издатель „Фрагментовъ“ Цицерона, впоследствии королевскій секретарь и, наконецъ, епископъ Инфлянтскій ¹⁾. Объ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ Янъ Янушовскій свидѣтельствуетъ въ слѣдующихъ словахъ: „We włoszech jak brat z bratem doma żyjąc, wszystkie sekreta ingenii z sobą komunikowali... Nie mieli ani mieć

¹⁾ Обладалъ рѣдкими рукописями рѣчей Цицерона, Нидецкій думалъ издать ихъ съ критическимъ комментариемъ. Въ видѣ опыта онъ напечаталъ нѣсколько отрывковъ своего труда, которые снискали ему почетную и вполне заслуженную извѣстность. Его филологическія изысканія въ наше время имѣютъ больше научной цѣнности, тѣмъ подобныя же работы современныхъ ему итальянскихъ и французскихъ филологовъ.

chcieli cenzora rzeczy swych wierniejszego i przedniejszego“¹⁾. Следовательно, дружба их отличалась самым тѣснымъ и задушевнымъ характеромъ. Станиславъ Тарновскій полагаетъ²⁾, что имъ пришлось пробыть вмѣстѣ очень короткое время, такъ какъ, прѣхавши въ Падую только въ 1555 году, Ницецкій попалъ туда въ самые послѣдніе мѣсяцы пребыванія тамъ нашего поэта. Теперь оказывается, что они не разставались вплоть до 1557 года³⁾. Другимъ его товарищемъ былъ Станиславъ Фогельведеръ, впоследствии Краковскій каноникъ и королевскій секретарь, а третьимъ Янъ Янушовскій⁴⁾, сынъ Лазаря Андрысовича, краковского типографа и книгоиздателя, тотъ самый, который свидѣтельствуетъ о дружбѣ чернолѣскаго поэта съ Андреемъ

¹⁾ См. предисловіе къ отдѣльному изданію Jana Kochanowskiego *Historji o Czechu i Lechu* 1589 года.

²⁾ См. *Op. cit.* p. 53.

³⁾ См. *Ateneum* 1891 г. т. II, str. 1.

⁴⁾ Богатый отецъ отправилъ его за границу, ко двору германскаго императора Максимилиана, для пріобрѣтенія внѣшняго свѣтскаго лоска и для изученія европейскихъ политическихъ дѣлъ. Отсюда онъ попалъ въ Падую, гдѣ учился вмѣстѣ съ нашимъ поэтомъ. По возвращеніи изъ-за границы, Янушовскій поступилъ ко двору воеводы, Николая Фирлея. Тамъ познакомились съ нимъ Самуилъ Мацѣвскій, бывшій въ то время Луцкимъ епископомъ, и Андрей Мнишекъ, воевода Сандомирскій, которые рекомендовали его королю Сигизмунду Августу. Сначала Янушовскій поступилъ въ королевскую канцелярію, а затѣмъ уже получилъ отъ короля званіе кабинетнаго писаря (личнаго письмоводителя короля). Послѣ кончины Сигизмунда Августа Янушовскій оставилъ службу въ королевской канцеляріи и отправился снова въ Италію. Вернувшись оттуда, онъ до 1577 года несъ при королѣ Стефанѣ Баторіи ту же службу, что при послѣднемъ Ягеллонѣ. Неизвѣстно, отчего онъ въ 1577 году снова оставилъ дворъ. Король, однако, всѣчески старался опять привлечь его къ оставленной должности и даже „далъ ему незначительный подарокъ“ (вѣроятно, какое-нибудь помѣстье). Послѣ смерти Стефана Баторія карьера его кончилась, даже пожалованный ему королевскій подарокъ былъ у него отнятъ. Вслѣдствіе своихъ постоянныхъ путешествій и придворной службы, онъ довелъ свою типографію до такого состоянія упадка, что не получалъ отъ нея никакихъ доходовъ. Это заставило его снова искать милости пановъ, изъ числа которыхъ обратили на него свою благосклонность кардиналъ Радзивиллъ, епископъ Краковскій, и Иеронимъ изъ Роздражева, епископъ Куавскій. При помощи ихъ протекціи онъ получилъ въ 1587 году отъ короля Сигизмунда III шляхетское достоинство, чѣмъ и объясняется переимѣна имъ отцовской фамиліи на новую. Овдовѣвши, онъ былъ рукоположенъ въ санъ Архидіакона Сандецкаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, получилъ Солецкій приходъ въ 1588 году. По словамъ Бандтея онъ умеръ въ 1603, а по свидѣтельству Сирчинскаго въ 1613. Особенно прославился онъ изданіемъ свода польскихъ правъ и привилегій, а также работою надъ установленіемъ польской орфографіи—*„Nowy charakter polski“*. Кромѣ того Янушовскій писалъ не мало оригинальныхъ сочиненій, изъ которыхъ особенно интересно:

Патриціемъ Нидецкимъ. Кромѣ этихъ товарищей Станиславъ Виндакевичъ¹⁾ нашель въ падуанскихъ актахъ нѣсколько другихъ польскихъ фамилій, которыя много разъ встрѣчаются въ позднѣйшихъ произведеніяхъ Кохановскаго. Кромѣ нихъ, между 1553 и 1556 годами, учились въ Падуѣ: Павелъ Стемповскій, Францискъ Масловскій, Андрей Бажій (Bagzy) и другіе, которыхъ нашъ поэтъ, навѣрное, долженъ былъ знать, хотя и не видно ихъ именъ въ его стихотвореніяхъ. Къ числу итальянцевъ, съ которыми Кохановскій былъ въ то время знакомъ, по всей вѣроятности, нужно отнести Павла Мануція, если даже и не считать относящимся къ нашему поэту мѣста въ письмѣ этого ученаго къ Андрею Нидецкому, въ которомъ передается привѣтъ товарищу его, „человѣку необыкновенныхъ способностей“. Станиславъ Виндакевичъ²⁾ предполагаетъ, что Ligurinus, котораго не разъ упоминаетъ Кохановскій въ своихъ произведеніяхъ, былъ однимъ изъ самыхъ близкихъ его знакомыхъ въ Падуѣ. По догадкѣ Виндакевича, этотъ Лигуринъ не кто иной, какъ швейцарецъ Георгъ Келлеръ (Cellarius), упоминаемый въ падуанскихъ актахъ, по прозвищу Ligurinus. Въ то же время началъ учиться въ Падуѣ двѣнадцатилѣтній Торквато Тассо, съ которымъ если и встрѣчался Кохановскій, то во всякомъ случаѣ не обращалъ особеннаго вниманія на будущаго творца „Освобожденнаго Іерусалима“. Другимъ товарищемъ нашего поэта по падуанскому университету называетъ Пападополи Стефана Баторія, впоследствии ставшаго польскимъ королемъ. По словамъ Пападополи: „extra dubitationis aleam est Stephanum Bathorem Poloniae regem aliquamdiu fuisse Pataviis, bonamque partem adolescentiae, aliquam etiam juventutis, hic bonis artibus impendisse, praeceptoribus Robortello et Sigonio“³⁾. Точной даты пребыванія Баторія въ падуанскомъ университетѣ Пападополи не указываетъ, онъ только ссылается на „Alba Hungarorum“ и прибавляетъ, что будущій король учился тамъ въ возрастѣ отъ 18 до 25 лѣтъ.

„Censor obyczajów niektórych potocznych, do naprawy potrzebnych, w Krakowie 1607“. Въ сочиненіи этомъ авторъ, рассматривая въ отдѣльности каждую часть моральной науки, къ примѣрамъ изъ классическихъ произведеній прибавляетъ случаи изъ польской жизни, очевидцемъ которыхъ или ему самому приходилось быть, или о которыхъ доходили до него слухи.

¹⁾ См. St. Wind. Pobyt K. za granicą

²⁾ См. Op. cit. p. 27.

³⁾ См. Parad. II. 87 стр.

Баторію 18 лѣтъ было въ 1550 году, слѣдовательно, если это правда, онъ долженъ былъ встрѣчаться съ Кохановскимъ даже въ одной аудиторіи и даже на лекціяхъ Робортелла имъ, можетъ быть, приходилось сидѣть на одной скамейкѣ. Противъ этого факта свидѣтельствуется то обстоятельство, что Кохановскій нигдѣ не упоминаетъ о совмѣстномъ посѣщеніи лекцій въ Падуѣ съ будущимъ королемъ. Въ тѣ годы онъ, можетъ быть, и не обратилъ особеннаго вниманія на молодого венгерца, но когда послѣдній сдѣлался польскимъ королемъ, едва ли не вспомнилъ бы Кохановскій о ихъ падуанскомъ товариществѣ. Съ одной стороны, нельзя допустить, чтобы Пападополи измыслилъ весь этотъ фактъ, съ другой, невозможно предположить, чтобы Кохановскій въ теченіе послѣднихъ лѣтъ своей жизни совершенно забылъ объ этомъ. Венгерскіе источники ничего не говорятъ объ учебныхъ занятіяхъ Баторія въ Падуѣ. Извѣстно, что учился тамъ племянникъ его, по имени также Стефанъ, что, по всей вѣроятности, и вызвало ошибку Пападополи.

Въ кругу своихъ товарищей Янъ Кохановскій пользовался извѣстностью и уваженіемъ, какъ можно судить на основаніи открытій Станислава Виндакевича¹⁾. Чужеземцы въ Падуѣ соединялись въ землячества, называвшіяся „націями“. На ряду съ другими народностями и Польша образовывала свою „націю“, въ администраціи которой нашъ поэтъ занималъ не послѣднее мѣсто, будучи совѣтникомъ (*consiliarius*). Въ качествѣ такового онъ заключалъ отъ имени своей „націи“ съ нѣмецкою договоръ о совмѣстномъ голосованіи при выборѣ ректора артистическаго отдѣленія. Однако, нѣмцы измѣнническимъ образомъ вотировали не за того кандидата, о которомъ условились съ поляками, а за другого и, пользуясь большинствомъ голосовъ, поставили на своемъ. Въ слѣдующемъ же году они потерпѣли пораженіе, такъ какъ поляки уже не примкнули къ нимъ и они очутились въ меньшинствѣ. Нельзя не упомянуть также о томъ, что падуанскіе студенты иногда устраивали театральныя представленія, что, можетъ быть, имѣло нѣкоторое вліяніе на будущаго автора „*Odrpawy posłów*“.

Разрѣшая вопросъ, какое впечатлѣніе произвела Италія на юнаго Кохановскаго, мы встрѣчаемся здѣсь съ нѣсколькими страннымъ фак-

¹⁾ См. *Pobyty Kochanowskiego za granicą. Rocznik Filarecki 1886 r. 500 str.*

томъ. Казалось-бы, восхищенію его при видѣ всѣхъ чудесъ и красоть Италіи мѣры не будетъ. Однако, все, что Кохановскій говоритъ объ Италіи, отличается холодностью и прозаичностью по сравненію съ тѣмъ, какъ восторженно отзывается о томъ же Клеменсъ Яницкій. Объяснить это можно было бы развѣ только тѣмъ, что Кохановскій еще не былъ въ достаточной степени развитъ, хотя ему уже исполнилось 22 года. Такое предположеніе высказываетъ Тарновскій¹⁾. Это мнѣніе едва-ли можно признать справедливымъ. Нужно обладать не малымъ умственнымъ развитіемъ, для того, чтобы создать цѣлый рядъ такихъ художественныхъ произведеній, какъ латинскія элегіи Кохановскаго къ Лидіи и соотвѣтствующія имъ польскія стихотворенія, въ которыхъ уже видны болѣе или менѣе сложившіяся убѣжденія и глубокое знаніе человѣческаго сердца. По нашему мнѣнію, такая кажущаяся холодность и прозаичность Кохановскаго, при передачѣ имъ впечатлѣній Италіи, объясняется свойствомъ его таланта. Лирика Кохановскаго почти не касается природы и внѣшняго міра, ея задача—изображеніе сокровенныхъ движеній человѣческаго сердца, въ особенности, когда его волнуетъ пламенная любовь къ женщинѣ. Въ этомъ итальянскомъ періодѣ своей жизни Кохановскій является ревностнымъ подражателемъ литературнаго направленія, созданнаго Петраркой. Слишкомъ пылко билось сердце нашего поэта, чтобы онъ могъ разбираться въ какихъ-либо внѣшнихъ впечатлѣніяхъ. Какъ истинный поэтъ, онъ долженъ былъ отражать въ своихъ произведеніяхъ только то, что дѣйствительно волнуетъ его, что оваряетъ тепломъ и свѣтомъ завѣтные тайники его души.

¹⁾ Op. cit. 56 p.

II.

Общій характеръ латинскихъ произведеній Кохановскаго, написанныхъ за границей. Отсутствие въ нихъ опредѣленно выраженныхъ индивидуальныхъ чертъ. Мнѣніе нѣкоторыхъ критиковъ о школьномъ характерѣ этихъ стихотвореній. Трудность ихъ распредѣленія въ хронологическомъ порядкѣ. Попытка Лёвенфельда ихъ раздѣленія на двѣ группы: падуанскую и парижскую. Значеніе этой группировки послѣ открытія Бризнера. Эротическія элегіи Кохановскаго и различныя фазы любви поэта I. 9, I. 3, I. 2, III. 6, III 8 и 14, II. 3 и 10, II. 4 элегіи. Стихотворенія къ Патрицію и къ Торевату II. 2. VII ода. Настроенія и чувства, выраженные въ вышеупомянутыхъ элегіяхъ. Значеніе этихъ стихотвореній въ исторіи польской литературы. Вліяніе итальянскаго гуманизма какъ причина слабого выраженія индивидуальности въ раннихъ латинскихъ произведеніяхъ Кохановскаго.

Предположеніе о томъ, какими могъ быть нашъ поэтъ въ это время.

Не внѣшнія событія, не впечатлѣнія отъ созерцанія художественныхъ красотъ были содержаніемъ латинскихъ элегіи Кохановскаго, написанныхъ во время его пребыванія въ Падуѣ. Значительная часть ихъ посвящена тому, что больше всего волновало тогда впечатлительную натуру молодого поэта, а именно чувству любви.

Въ виду недостатка біографическихъ свѣдѣній, казалось бы, эти, въ тѣснѣйшемъ смыслѣ слова, субъективныя стихотворенія должны пролить хоть какой-нибудь свѣтъ на жизнь поэта въ данную эпоху. Однако, при ближайшемъ разсмотрѣніи, всѣ эти элегіи такъ похожи одна на другую, такъ поверхностны, такъ мало въ нихъ на первый взглядъ чертъ изъ дѣйствительной жизни, такъ слабо выражена индивидуальность поэта, что извлечъ изъ нихъ какіе-нибудь факты, относящіеся къ біографіи Кохановскаго, представляется дѣломъ въ высшей степени труднымъ. Это обстоятельство вызвало у нѣкоторыхъ изслѣдователей Кохановскаго,¹⁾ крайне скептическій взглядъ, будто всѣ эти элегіи являются выраженіемъ не дѣйствительныхъ чувствъ поэта, а только воображаемыхъ. Написаны онѣ, или для упражненія въ стилистикѣ, или, можетъ быть, изъ честолюбивыхъ авторскихъ стремленій, чѣмъ и объясняется ихъ школьный холодный характеръ. Выраженные въ нихъ образы и положенія представляютъ не что иное, какъ подражанія и реминисценціи изъ классиковъ, такъ свойственныя гуманистическому направленію, господствовавшему въ то время въ падуанскомъ университетѣ. Даже имена возлюбленныхъ, о которыхъ тамъ

¹⁾ См. Stanisław Tarnowski. Studia do historyi literatury polskiej. Wiek XVI. Jan Kochanowski. Kraków 1888 г. str. 58.

идеть рѣчь, представляютъ ни больше, ни меньше, какъ заимствованія у Горация, Проперція и Тибулла.

Не вдаваясь въ подробную оцѣнку этого мнѣнія, мы скажемъ только, что, на ряду съ такими школьными произведеніями въ падуанскомъ періодѣ жизни нашего поэта должны были существовать и навѣянная дѣйствительностью, такъ какъ трудно предположить, чтобы двадцатидвухлѣтній молодой человѣкъ, обладающій чуткой, впечатлительной натурой, подъ южнымъ небомъ Италіи, при свободѣ отношеній, которая господствовала въ обществѣ того времени, могъ совершенно уберечься отъ чувства любви. Слѣдовательно, и въ этихъ элегіяхъ несомнѣнно должны заключаться хоть какія нибудь автобіографическія черты. Первая попытка разобраться въ трудностяхъ хронологическаго распредѣленія латинскихъ элегій принадлежитъ Рафаилу Лёвенфельду¹⁾, выводы котораго, правда, не могутъ похвалиться безусловной вѣрностью. Однако, ему удалось въ нѣкоторыхъ элегіяхъ найти признаки, по которымъ можно установить болѣе или менѣе вѣрную дату ихъ происхожденія, таковы, на примѣръ, упоминанія о нѣкоторыхъ событіяхъ, или извѣстныхъ лицахъ. Къ сожалѣнію, элегіи послѣдней категоріи относятся, болѣею частью къ позднему времени и написаны Кохановскимъ уже по возвращеніи на родину. Элегіи же эротическаго содержанія только въ очень рѣдкихъ случаяхъ носятъ указанія на мѣсто и время своего происхожденія. При такихъ условіяхъ трудно искать въ нихъ слѣдовъ постепенной смѣны чувствъ поэта и ясной картины его внутренняго міра. Разбирая эти элегіи, Лёвенфельдъ самъ сознается, что вѣрныхъ датъ ихъ происхожденія онъ не въ состояніи вывести, что его положенія носятъ только приблизительный, гипотетическій характеръ, нисколько не претендуя на безусловную вѣрность. По его мнѣнію, всѣ элегіи Кохановскаго распадаются на двѣ группы, одну, относящуюся къ болѣе поздней эпохѣ его жизни въ Польшѣ, и другую, болѣе раннюю, написанную еще за границей. Даты элегій первой группы могутъ быть опредѣлены безъ особенной трудности. Вторую группу, болѣе загадочную въ хронологическомъ отношеніи, онъ разбиваетъ опять таки на два подраздѣленія: элегіи итальянскаго, или падуанскаго періода и элегіи парижскаго періода. Моти-

¹⁾ См. Raphael Löwenfeld. Johann Kochanowski und seine lateinische Dichtungen. Posen 1878, стр. 96.

вируетъ онъ свою группировку удачными указаніями на форму, тонъ и способъ выраженія чувствъ у поэта. Между ними встрѣчаются, но-первыхъ, такіа, въ содержаніи и формѣ которыхъ еще совершенно не отразилась индивидуальность Кохановскаго. Эти стихотворенія, болѣею частью, вызванныя реминисценціями изъ классиковъ, относятся, по мнѣнію Лёвенфельда, къ самому раннему періоду его творчества, когда онъ не испытывалъ еще тѣхъ чувствъ, о которыхъ говоритъ въ этихъ элегіяхъ. Тѣмъ временемъ подошелъ полный расцвѣтъ его юношескихъ силъ и стремленій, когда любовь, долго дремавшая въ завѣтныхъ тайникахъ его души и находившая себѣ выраженіе въ образахъ, создаваемыхъ одной только фантазіей, вспыхнула, наконецъ, яркимъ и жгучимъ пламенемъ въ дѣвственной натурѣ Кохановскаго. Охваченный могучими порывами впервые извѣданной страсти, поэтъ не довольствовался уже для ея выраженія туманными и фантастическими образами своихъ прежнихъ элегій, ему нужны были живыя краски, почерпнутыя прямо изъ дѣйствительности, ему нужно было изобразить свое чувство во всѣхъ его оттѣнкахъ, такъ именно, какъ онъ его переживалъ. Тогда-то явились тѣ элегіи, въ которыхъ уже безъ особеннаго труда отыскиваются черты его индивидуальности. Однако и здѣсь онъ не могъ совершенно отрѣшиться отъ подражанія классикамъ, у которыхъ онъ продолжаетъ еще заимствовать формы, строфы, мысли, а иногда даже цѣлыя тирады. Это подражаніе не лишаетъ разсматриваемыхъ нами элегій яркаго пятна оригинальности, которое присуще имъ, благодаря ясно выраженному въ нихъ самосознанію поэта и искренности тона въ описаніяхъ чувствъ. Здѣсь онъ выражаетъ свои собственные чувства и стремленія, а не навѣянные Тибулломъ и Проперціемъ. Онъ любитъ сильно и горячо, жалуется съ глубокимъ и искреннимъ горемъ на измѣнчивость своей возлюбленной, въ порывѣ бѣшеннаго негодованія посылаетъ на ея голову самыя страшныя проклятія и для всего этого онъ находитъ правдивое выраженіе, вполне соответствующее силѣ и искренности его чувствъ. Такой именно характеръ носятъ его элегіи, посвященныя Лидіи. Въ нихъ уже сквозитъ зрѣлая мысль и чувства, свойственныя болѣе позднему возрасту, чѣмъ первые годы его падуанской жизни. Главнымъ образомъ, на этомъ основаніи строитъ Рафаиль Лёвенфельдъ свою гипотезу о происхожденіи этихъ элегій въ эпоху парижской жизни на-

шого поэта¹⁾. Однако съ послѣднимъ мнѣніемъ трудно намъ согласиться, въ виду недавно сдѣланнаго профессоромъ А. Брикнеромъ открытія рукописи латинскихъ элегій Кохановскаго,²⁾ которыя занисаны раньше перваго ихъ изданія въ 1585 году, исправленнаго самимъ авторомъ. Слѣдовательно, онѣ представляютъ если не первую редакцію, то, во всякомъ случаѣ, самую раннюю изъ дошедшихъ до насъ. Въ этихъ именно рукописныхъ элегіяхъ, о которыхъ подробнѣе будетъ у насъ рѣчь ниже, мы находимъ ясныя указанія на то, что элегіи, относящіяся къ Лидіи, написаны не въ Парижѣ, а въ Падуѣ. Слѣдовательно, подраздѣленіе Лёвенфельда мы должны принять условно и руководиться предлагаемой имъ системой, какъ наиболѣе удобной для оцѣнки и разбора латинскихъ элегій Яна Кохановскаго, при чемъ повторяемъ, что точныхъ датъ ихъ возникновенія мы не можемъ возстановить, также какъ и выяснить, кому именно посвящались эти элегіи, потому что, насколько можно судить по разнообразію содержанія и по множеству упомянутыхъ тамъ именъ, онѣ относились не къ одной только Лидіи, но и къ другимъ возлюбленнымъ нашего поэта:

Обращаясь къ самимъ элегіямъ, мы замѣчаемъ, что въ первой изъ нихъ Кохановскій слѣдующимъ образомъ объясняетъ происхожденіе и развитіе своего поэтического таланта.

Non me, si modo sum, Musae fecere poetam¹⁾
 Nec memini Aeoniae rupis adiisse specus:
 Solus amor docuit blandos me fingere versus.

Слѣдовательно, предметомъ и побудительнымъ мотивомъ своихъ первыхъ произведеній Кохановскій считаетъ любовь.

Стараясь хоть приблизительно опредѣлить порядокъ возникновенія этихъ эротическихъ элегій, Станиславъ Гарновскій приводитъ правдоподобную догадку, что выраженія счастливаго, до наивности довѣрчиваго, чувства должны предшествовать горькимъ жалобамъ на женское коварство, возможность котораго и не предполагалась раньше²⁾. Порядокъ этотъ не могъ измѣниться даже въ томъ случаѣ, если

¹⁾ Ibid.

²⁾ См. Nowe przyczynki do dzieł Jana Kochanowskiego. Przez A. Brücknera. Ateneum 1891 r., t. II, str. I.

¹⁾ См. W. P. III 4.

²⁾ Op. с. 63 p.

вмѣсто стараго являлся новый предметъ любви. Вѣшнимъ признакомъ такихъ произведеній нужно считать пространное изложеніе, такъ какъ начинающему поэту, талантъ котораго еще не развился вполне, гораздо труднѣе написать коротенькую и, вмѣстѣ съ тѣмъ, мѣткую эпиграмму, чѣмъ длинное стихотвореніе, со множествомъ подробностей, не идущихъ иногда къ дѣлу и портящихъ рельефное изображеніе мысли. Также было и съ Кохановскимъ, хотя у него въ „Фориценіяхъ“ встрѣчается довольно удачное исключеніе, въ видѣ эпиграммы, относящейся къ венеціанскимъ дѣвушкамъ¹⁾. По времени своего написанія она должна быть причислена къ самымъ раннимъ произведеніямъ латинской музы нашего поэта, въ теченіе итальянскаго періода его жизни, такъ какъ въ ней встрѣчаются ясныя указанія на пребываніе Кохановскаго въ Венеціи, которое, по нашему мнѣнію, должно было предшествовать 1552 году. Это коротенькое стихотвореніе состоитъ изъ десяти строкъ, написанныхъ тѣмъ же размѣромъ, что и элегіи нашего поэта. Содержаніемъ его служитъ сравненіе венеціанскихъ дѣвушекъ по ихъ привлекательности съ нерейдами, Сиреной и Цирцеей. И по формѣ, и по содержанію, оно насквозь проникнуто реминисценціями изъ классиковъ и лишено совершенно самостоятельныхъ образовъ. Особенныхъ красотъ оно не представляетъ, хотя легкость стиха, близость содержанія и формы къ античнымъ образцамъ, съ точки зрѣнія того времени, не оставляли желать ничего лучшаго. Не нужно забывать, что въ эпоху полнаго расцвѣта поздняго итальянскаго гуманизма, ясно выраженное подражаніе, реминисценція и даже заимствованіе у классиковъ считались главными достоинствами литературныхъ произведеній. Нѣтъ сомнѣнія, что комплиментъ этотъ долженъ былъ понравиться венеціанскимъ дѣвушкамъ, если только онѣ читали его. Тарновскій строитъ предположеніе²⁾, что Кохановскій выставяетъ здѣсь самого себя, боящимся искушеній со стороны красивыхъ венеціанокъ, нѣкоторыя изъ которыхъ упомянуты здѣсь подъ именемъ Цирцеи и Сирены. Можетъ быть, авторъ читалъ эту вещицу на какомъ-нибудь веселомъ собраніи, а послѣднее предостереженіе Улиссу относится къ самому автору, который уже чувствовалъ себя обреченнымъ на гибель, у ногъ какой-нибудь изъ этихъ сиренъ. Къ числу такихъ же раннихъ произве-

¹⁾ См. W. P. III. 186.

²⁾ Op. с. 63 p.

деній должна быть отпесена девятой элегія первой книги¹⁾, какъ образецъ робкаго признанія въ любви молодого человѣка, смотрящаго съ наивной покорностью на владычицу своего сердца. Онъ обращается къ вѣтеркамъ съ просьбой, чтобы они отнесли къ ней его вздохи. Онъ клянется, что безъ Филлиды несчастный Ликоть дни и ночи проводитъ въ слезахъ. Тоска Ликота и его равнодушіе ко всему, даже къ любимому стаду, наконецъ, самый буколическій характеръ этой элегіи, котораго мы не видимъ въ позднѣйшихъ стихотвореніяхъ Кохановскаго, доказываетъ, что она написана молодымъ и довѣрчивымъ человѣкомъ, который еще не извѣдалъ разочарованія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, еще такъ неопытенъ въ выраженіи своихъ чувствъ, что прибѣгаетъ для этого къ чужимъ уже готовымъ образцамъ. Вздохи и томленія любви, равнодушіе ко всему, кромѣ ея предмета, и этотъ самый жепственнѣйшій характеръ чувства напоминаетъ нѣсколько сонетовъ Петрарки и пѣсни провансальскихъ трубадуровъ. Послѣ этого признанія Ликоть говоритъ, что ему ни свирѣль, ни муза, съ которою онъ близко знакомъ, какъ видно изъ выраженія „sua musa“, не приносятъ никакого утѣшенія. Если любовь сразитъ его, кто будетъ воспѣвать прелести Филлиды? Уже давно повѣсилъ онъ свою свирѣль, а на корѣ твердаго ясеня вырѣзалъ слѣдующее:

Fistula amata mihi es, dum me quoque Phillis amaret
Насъ tristi neque tu nec mihi vita placet.

Быть можетъ, парки прядутъ въ послѣдній разъ нить его жизни. Тогда поздно уже будетъ Филлидѣ оплакивать его, уносимаго волнами Леты.

Въ рукописи Осмульскаго, открытой Брикнеромъ, эта элегія числится въ первой книгѣ подъ седьмымъ номеромъ²⁾. Текстъ ея очень мало разнится отъ печатнаго, преимущественно, — въ стилистическомъ отношеніи, такъ, напримѣръ, въ рукописи нѣтъ рѣчи о надписи на корѣ ясеня: „я любилъ свирѣль, пока меня любила Филлида“ такъ же, какъ и десяти стиховъ, гдѣ изображаются новски возлюбленной въ лѣсахъ. Вмѣсто идиллическаго стиха: „его не тѣшитъ свирѣль, его не тѣшитъ муза“ мы читаемъ въ рукописи болѣе прозаическій: „слабѣющихъ членовъ онъ не укрѣпляетъ пріемомъ пищи“.

¹⁾ W. P. III, 28.

²⁾ См. Ateneum 1891 г. t. II, str. 8.

Въ этой элегіи мы встрѣчаемся съ любопытнымъ указаніемъ, что Кохановскій еще до ея написанія бесѣдовалъ съ Музой. Ея наивный и сентиментальный характеръ свидѣтельствуеъ въ пользу ранняго ея происхожденія, что подтверждается также условнымъ тономъ и образами, заимствованными у классическихъ писателей. Въ этомъ отношеніи она напоминаетъ нѣсколько десятую элегію первой книги Тибулла. Такимъ же сентиментальнымъ характеромъ отличается небольшое стихотвореніе къ Петраркѣ¹⁾. „Если по смерти въ душѣ сохраняется самосознаніе, то, прославленный Петрарка, и въ посмертномъ прахѣ живетъ неугасимая любовь“, такими словами начинается это стихотвореніе. Потомъ поэтъ выражаетъ мысль, что Петрарку сразила скорбь не столько о потерянной Лаурѣ, сколько о безвременной гибели ея красоты. Но утѣшеніе, наконецъ, является къ нему, когда, проходя вмѣстѣ съ Лаурой по берегамъ Леты, онъ встрѣчаетъ общее вниманіе со стороны многочисленныхъ обитателей Елисейскихъ полей.

Felices animae, quarum dissolvere foedus
Mors quoque et extremi non potuere rogi!

Такимъ восклицаніемъ заканчиваетъ Кохановскій свое стихотвореніе. Въ другомъ двустишіи къ нему же²⁾, нашъ поэтъ выражаетъ ту мысль, что Петрарка, оплакивая преждевременную смерть Лауры, обезсмертилъ своими пѣснями ея имя и свою славу. Проникнутыя воспоминаніями о Петраркѣ, оба эти стихотворенія написаны въ Падуѣ подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ посѣщенія его гробницы, или дома, гдѣ онъ жилъ. Оба они отличаются сентиментальностью и мечтательнымъ характеромъ. На ряду съ ними есть такія элегіи, въ которыхъ нашъ поэтъ выступаетъ уже не въ роли робкаго влюбленнаго юноши, а является настоящимъ покорителемъ сердець. Трудно сказать, дѣйствительно-ли Кохановскій успѣлъ уже такъ сильно испортиться, или онъ только бравировалъ своими мнимыми любовными побѣдами, что свойственно иногда молодымъ людямъ, окруженнымъ развращенной средою, отъ которой мѣшаетъ имъ ложное самолюбіе. Какъ бы то ни было, лучшимъ произведеніемъ нашего

¹⁾ См. Wyd. Pomn. t. III, 187 str. Foricoenia 6.

²⁾ См. W. P. III. 188.

поэта въ этомъ родѣ должна считаться третья элегія первой книги ¹⁾. Въ ней поражаетъ смѣлая искренность, съ которой поэтъ признается въ своемъ непониманіи, такъ называемой педантіи, духовной любви, когда „*id quod amas tangere nulla via est.*“ Далѣе поэтъ проситъ у этихъ мудрецовъ, чтобы они не отнимали у года цвѣтущей весны, не мѣшали молодымъ росткамъ на зеленой нивѣ обращать къ солнцу свои нѣжные листья. Не видя въ любви никакого грѣха, онъ охотно вступаетъ въ боевую рать Купидона. Если бы пришлось ему даже сдѣлаться дружинникомъ Марса, то онъ, хотя бы и неохотно, вырвался изъ объятій возлюбленной, всетаки пошелъ бы на поле битвы, лишь бы въ тотъ мигъ она смотрѣла на него. Тогда никто не обратился бы въ бѣгство, и Гекторъ не сражался бы съ такой отвагой, если бы Андромаха не смотрѣла на него со стѣнъ Трои. Нѣтъ выше счастья, какъ умереть на глазахъ своей милой, и себѣ поэтъ не желалъ бы лучшей смерти. Эта элегія проникнута чувствами счастливаго влюбленнаго, одержавшаго, можетъ быть, первую побѣду, потому что отъ каждаго слова вѣетъ такой свѣжей, живой и искренней радостью, какъ будто самъ поэтъ не смѣетъ вѣрить и удивляется своей побѣдѣ. Сама возлюбленная здѣсь отходить на задній планъ, почти совершенно исчезаетъ, заслоненная восторгомъ впервые извѣданнаго счастья. Поэтъ больше занятъ своими собственными стремленіями, волненіями и чувствами, чѣмъ личностью своей возлюбленной, въ немъ больше желаній и первыхъ очарованій молодости, чѣмъ самой любви. Станиславъ Тарновскій полагаетъ, что въ этой элегіи нѣтъ ничего заимствованнаго ²⁾. Едва ли съ этимъ можно согласиться. Стоитъ только сопоставить стихъ:

..... ille quadrigis

Dici in *Olympiaco pulvere* victor amat“

со слѣдующимъ мѣстомъ Горация въ одѣ къ Меценату:

Sunt quibus *curriculo pulverem Olympicum*

Collegisse iuvat

чтобы убѣдиться въ недостаточной вѣрности этого мнѣнія.

Въ томъ же тонѣ, хотя и не такъ удачно, написана вторая элегія первой книги ³⁾. Въ ней выступаетъ поэтъ въ нѣсколько комичномъ

¹⁾ См. W. P. III. 11.

²⁾ Op. cit. 66 p.

³⁾ См. W. P. III. 6

свѣтъ. Здѣсь онъ напускаетъ на себя видъ человѣка опытнаго въ любовныхъ похожденияхъ и менторскимъ тономъ наставляетъ какого то менѣе смѣлаго товарища не выпускать счастья, которое само дается ему въ руки. Въ этой элегии Кохановскій скорѣе старается импонировать передъ товарищемъ своей испорченностью, чѣмъ въ дѣйствительности является такимъ. Стихотвореніе вышло не совсѣмъ удачнымъ, однако въ немъ встрѣчаются и хорошія мѣста, какъ, напримеръ, описаніе рѣшимости Федры признаться пасынку въ своемъ преступномъ чувствѣ.

Въ рукописи Осмульскаго эта элегія значитъ также второй и посвящена падуанскому товарищу Кохановскаго Андрею Бажему (Andrzejowi Barzemu)¹⁾. Между обѣими редакціями существуетъ значительная стилистическая разница. Начало и въ рукописи и въ печати одинаково. Выраженіе «этотъ отвѣтъ даетъ тебѣ Аполлонъ изъ Кларійской пещеры» въ печати звучитъ болѣе удачно: «тебѣ говорятъ голуби Додоны». Въ рукописи, переходя къ повѣствованію, поэтъ спрашиваетъ: «кто рассказалъ тебѣ о любви Федры и о судьбѣ несчастнаго Ипполита?», а въ печатномъ восклицаетъ: «кто-жъ не слыхалъ о любви Федры, кто-жъ не оплакалъ судьбы несчастнаго Ипполита?» Печатный текстъ подробнѣе описываетъ состояніе души Федры, терзаемой муками тайной любви, даетъ ему лучшее освѣщеніе и объясняетъ въ четверостишіи, отчего Федра, не прибѣгая къ посреднику, сама рѣшается признаться. Ея смѣлый шагъ изложень здѣсь опять подробнѣе, чѣмъ въ рукописи, подчеркнута блѣдность ея лица, упомянуты слезы, приведенъ отвѣтъ Ипполита и впечатлѣніе, вынесенное изъ него Федрой, прибавлено сравненіе съ Мепадой, боязнь ея передъ обвиненіемъ и гнѣвомъ мужа и т. д. Словомъ печатный текстъ отличается лучшей обработкой.

Въ этой элегии есть нѣсколько стиховъ, заимствованныхъ изъ Тибулла, I книги, четвертой элегии, отъ 85—90 стиха и шестой—84 стихъ. Но содержаніе, мысль и вся композиція отличается совершенно инымъ характеромъ и, слѣдовательно, элегія можетъ быть названа почти совершенно самостоятельной.

Однако опытность и успѣхъ не всегда приносятъ счастье и гордому покорителю сердець приходится иногда смиренно склонять свою

¹⁾ См. *Ateneum* 1891 r. t II, str. 5.

голову подъ ударами капризной судьбы. Шестая элегія III книги ¹⁾ является первымъ произведеніемъ, въ которомъ отразилось несчастье поэта. Возлюбленная дурно къ нему относится и онъ не знаетъ, чѣмъ это объяснить. Онъ полагаетъ, что причиной является клевета въ певѣрности, пущенная о немъ какимъ-нибудь злымъ товарищемъ. Онъ удивляется, какъ могла его милая повѣрить всѣмъ этимъ выдумкамъ, какъ она могла допустить въ немъ такую порочность и неблагодарность, послѣ того какъ она предпочла его богачамъ. Въ послѣднихъ словахъ заключается доказательство того, что эта любовь по своему началу была счастливой. Можетъ быть, несчастье послѣдовало за тѣмъ триумфомъ, который описываетъ поэтъ въ разобранныхъ уже нами элегіяхъ.

Однако бѣдному юношѣ пришлось таки, наконецъ, убѣдиться, что клевета тутъ не при чемъ, что причина измѣнчивости его возлюбленной заключается въ недостатокѣ денегъ въ его кошелькѣ. Убѣдившись въ этой горькой правдѣ, онъ въ восьмой элегіи жалуется, что хотя и ничѣмъ онъ не боленъ, кромѣ любви, всетаки его убиваетъ коварная дѣвушка. Напрасно онъ умоляетъ и закликаетъ ее. Прежде пѣсни имѣли свою цѣну и Орфей своей лирой смягчалъ скалы, а сердце измѣнницы тверже этихъ скалъ, и двери ея открыты только тому, у кого кошелекъ полонъ золотомъ. Привратникъ гонитъ неимущаго любовника, даже собака и та старается укусить его. Ясно сознавая глубокую испорченность своей возлюбленной, онъ всетаки не теряетъ надежды подѣйствовать на нее инымъ способомъ. Онъ говоритъ ей, что красота не можетъ вѣчно оставаться неизмѣнной, съ годами и она проходитъ, нужно пользоваться ею, пока мы молоды и выбирать себѣ спутникомъ жизни только того, кто умѣетъ быть постояннымъ, кто ничего больше не будетъ желать, какъ только умереть въ объятіяхъ своей возлюбленной. Всѣ эти просьбы и жалобы показываютъ, что дѣла поэта находятся въ плохомъ, но не въ безнадежномъ состояніи. Стихи отъ 19—28 съ незначительными измѣненіями заимствованы изъ четвертой элегіи второй книги Тибулла. Окончаніе почти дословно взято оттуда-же.

Еще болѣе безнадежнымъ характеромъ проникнута четырнадцатая элегія ²⁾. Здѣсь онъ хвалитъ своего друга за то, что онъ скрываетъ свою

¹⁾ См. W. P. III. 109.

²⁾ См. W. P. III. 133.

любовь, свободенъ отъ зависти, избѣгаетъ злыхъ языковъ и самъ заботится о своемъ добромъ имени. О себѣ говоритъ поэтъ, что коварный Купидонъ такъ глубоко поразилъ его своей стрѣлою, что онъ не въ силахъ скрыть своихъ страданій. Если бы даже поэтъ и не говорилъ объ этомъ, если бы и не жаловался, его выдадутъ невольные вздохи, блѣдное лицо, на которомъ всякій можетъ прочесть: «этотъ бѣдняга влюбленъ». Еще такъ недавно онъ наслаждался полнымъ счастьемъ, а теперь, одинокій и грустный, стоитъ у дверей, за которыми счастливый соперникъ проводитъ блаженные часы съ его прежней возлюбленной. Причина заключается не въ женскомъ непостоянствѣ, а въ томъ, что у соперника больше золота въ кошелькѣ.

Aurum quisquis habes nihil est quod caetera poscas

Auro nil fingi mente potest melius.

Далѣе слѣдуютъ вздохи по томъ золотомъ вѣкѣ, когда денегъ еще не было, когда люди, не зная пагубной роскоши, наслаждались полнымъ счастьемъ на благодатномъ лонѣ матери природы. Тогда не нужно было платить за любовь дорогими подарками. Проклятіе тому, кто первый заплатилъ за нее и внесъ въ мѣръ величайшее зло. Но и счастливому сопернику не слѣдуетъ гордиться своею побѣдою, такъ какъ колесо Фортуны находится въ непрестанномъ движеніи. То, что сегодня принадлежитъ мнѣ, на другой день можетъ стать твоимъ. Возлюбленная не должна бы забывать, что время идетъ, а съ нимъ уходитъ и красота, унося съ собою прежнихъ поклонниковъ. Не слѣдуетъ довѣрять богатымъ, счастливымъ и знатымъ людямъ, только онъ, поэтъ, никогда не измѣнитъ. Ни время, ни удары судьбы не заставятъ его забыть свою милую и какъ теперь она дорога ему, пока онъ живъ, такой же милой останется и для его праха.

Вся эта элегія показываетъ, что Кохановскій былъ счастливымъ избранникомъ какой-то падуанской женщины не совсѣмъ строгаго нрава, которая предпочла ему болѣе богатаго соперника.

Послѣдній мотивъ много разъ повторяется въ стихотвореніяхъ Кохановскаго, изъ чего можно вывести новое доказательство справедливости мнѣнія Бронислава Хлѣбовскаго и Станислава Виндакевича объ ограниченныхъ средствахъ нашего поэта и о воспитаніи его на счетъ какого то мецената.

Поэтъ очень хорошо видѣлъ недостатки своей возлюбленной, не смотря на это, онъ жалѣлъ ее и тосковалъ по ней съ гораздо большей силой, чѣмъ она была того достойна. Эту психологическую

черту можно извлечь изъ разобранной нами элегии, которая стоитъ ниже третьей по своимъ достоинствамъ и имѣеть слѣдующіе заимствованные стихи: 15, 16, 19, 20, 25, 26, 30 у Тибулла: 1, 5, 69, 70; I, 1, 47; I. 8, 30, II. 3, 59, 60.

Третья элегія второй книги ¹⁾ представляетъ выраженіе постыдной слабости поэта въ попыткахъ преодолѣть свою страсть. Прощаясь съ дорогими товарищами, онъ уходитъ въ широкій свѣтъ, въ темные лѣса. Онъ надѣется тамъ при пѣніи пташекъ и благоуханіи полевыхъ цвѣтовъ разсѣять свою тяжелую тоску. Но попытки его тщетны, слишкомъ глубоко запала ему въ душу несчастная любовь, чтобы такъ легко можно было раздѣлаться съ нею. Онъ опять стремится въ городъ, который для него потерялъ уже всякую прелесть. Даже жизнь не имѣетъ для него никакой цѣны, если Купидонъ не станетъ къ нему благосклоннымъ.

Всѣ эти черты: выѣздъ въ деревню, желаніе развлечься созерцаніемъ природы, или охотой, наконецъ, это грустное возвращеніе въ городъ, носятъ характеръ дѣйствительности и воспоминанія въ самомъ дѣлѣ пережитаго поэтомъ случая. Подражанія въ этой элегіи мало, если не считать двухъ стиховъ 31 и 32 изъ третьей элегіи первой книги Тибулла. На этомъ основаніи Тарновскій склоненъ считать эту элегію самымъ сильнымъ выраженіемъ страсти въ данную эпоху жизни Кохановскаго ²⁾. Ниже мы увидимъ, справедливо ли это мнѣніе.

Другой элегіей въ томъ же родѣ онъ считаетъ десятую второй книги ³⁾. Въ ней поэтъ говоритъ, что безъ надежды не стоитъ жить. Онъ самъ себѣ удивляется, почему онъ въ минуту отчаянія не утопился. Напрасно поэтъ перенесъ все, что только въ силахъ вытерпѣть человѣкъ, ему остается только умереть. Далѣе онъ говоритъ измѣнницѣ, что послѣ смерти онъ будетъ являться къ ней страшнымъ привидѣніемъ. Никакія мольбы не спасутъ ея отъ этой вполне заслуженной кары. Даже тамъ, послѣ смерти, она будетъ терпѣть муки Сизифа Иксіона, вступивши въ число грѣшныхъ душъ, въ то время какъ обманутый ею невинный поэтъ будетъ въ Елисейскихъ поляхъ наслаждаться пѣснями Сафо и Орфея, будетъ вести бесѣды съ Лукре-

¹⁾ См. W. P. III. 59.

²⁾ Op. cit. 67 p.

³⁾ См. W. P. III. 77.

дѣмъ въ обществѣ тѣхъ, которые сами сократили свою невыносимую жизнь. Таково представленіе поэта о вѣчности и объ ожидающей его за гробомъ судьбѣ. Онъ не вѣритъ, чтобы душа человѣка мучилась вмѣстѣ съ тѣломъ, чтобы на небесахъ сидѣли равнодушные къ людскому горю боги, чтобы человѣческими дѣлами и судьбой людей управлялъ случай, а не разумъ. Трудно предположить, чтобы Кохановскій въ самомъ дѣлѣ думалъ о самоубійствѣ. Одно только достоверно, что онъ былъ проникнутъ глубокимъ негодованіемъ къ измѣнившей ему женщинѣ. Любопытно въ этой элегіи упоминаніе о Лукреціи и протестъ противъ его взгляда на безсмертіе души. Кохановскій признаетъ его, правда, въ нѣсколько своеобразномъ видѣ. Семь стиховъ въ этой элегіи: 41, 42, 49, 50, 53, 54, 60 заимствованы изъ третьей и нятой элегіи первой книги Тибулла.

Рядомъ съ третьей элегіей, можетъ быть, случайно, стоитъ четвертая ¹⁾, въ которой выражено успокоеніе послѣ выше приведеннаго страстнаго порыва отчаянія. Спящему поэту является во снѣ Венера во всемъ блескѣ своей красоты и, заботясь о его судьбѣ, говорить, что онъ самъ во всемъ виноватъ, такъ какъ поступалъ слишкомъ безразсудно и опрометчиво. Онъ успѣлъ уже наскучить своими жалобами и людямъ, и богамъ, на которыхъ онъ осмѣливался даже изрекать печестивыя кощунства, не зная того, что благопріятный вѣтеръ можетъ измѣниться въ противную сторону. Нѣтъ такого счастья въ любви, которое не оставляло бы мѣста для слезъ. Мудрый терпѣливо сноситъ все, что по силамъ человѣку. Та, на которую поэтъ такъ несправедливо жалуется, любить его больше, чѣмъ онъ этого заслужилъ, при этомъ она красива и обладаетъ добрымъ сердцемъ. Не будучи его женою, она ничѣмъ ему не обязана. Все, что имѣетъ отъ нея онъ, достается ему по ея доброй волѣ. За это нужно благодарить и не желать большаго. Сравнительно съ тѣми, которые лишили себя жизни отъ любви, судьба его гораздо болѣе благопріятна. Ничто его не можетъ удовлетворить, даже идеаль вѣрности—Пенелопа и та ему показалась бы измѣнницей. Возлюбленная его, которой онъ не вѣритъ, сама страдаетъ отъ любви къ нему. Сказавши это, Венера унеслась на лебединыхъ крыльяхъ, и поэтъ проснулся утѣшеннымъ.

¹⁾ См. W. P. III 62

Эта элегія въ рукописи Осмульскаго стоитъ девятой во второй книгѣ¹⁾. Стилистическія разницы между обоими текстами весьма значительны. Въ рукописи болѣе вычурное описаніе блестящаго паряда Венеры и болѣе прозаическій конецъ: «... она тебя отъ души любить, въ чемъ такъ часто признается; я знаю, что она охотно удѣляетъ тебѣ то, въ чемъ она не отказывала бы и тому, кого она любила бы больше своей жизни». Сонъ и нѣкоторые отдѣльные стихи взяты изъ Тибулла четвертой элегіи III книги. Разница состоитъ только въ томъ, что у Тибулла является во снѣ Аполлонъ, которому болѣе свойственно покровительствовать поэтамъ, чѣмъ Венерѣ, являющейся Кохановскому. Интересно ея утѣшеніе, которое представляетъ собою философскую резигнацію. Основаніемъ ея служить не легкомысленный взглядъ на возлюбленную, а сознательная снисходительность и благодарность ей за то, что и она сумѣла быть доброй по отношенію къ поэту. Обстоятельство это нужно разсматривать, какъ сознаніе поэтомъ невозможности достиженія идеальнаго счастья и необходимости довольствоваться взаимнъ его малымъ. Можетъ быть, съ этой элегіи начинается Кохановскій смотрѣть болѣе благоразумно и спокойно на измѣны своихъ возлюбленныхъ.

Такимъ образомъ совѣты Венеры испортили его, приблизили его чувства къ землѣ. Не смотря на это, прежнія жалобы продолжаютъ еще не разъ встрѣчаться въ его произведеніяхъ. Вотъ, напримеръ, его хорошенькое стихотвореньице къ Андрею Нидецкому, о дружбѣ съ которымъ нашего Яна мы уже упоминали выше. Поэтъ говоритъ, что Венера смиловалась надъ его горемъ и строго приказала Амуру не трогать его. Однако Купидонъ не слушался своей матери и, сидя на морскомъ берегу, грозилъ поэту отточенными стрѣлами. Тогда Венера схватила его и, связавши, отдала поэту въ неволю. Однако послѣдствія этого были еще хуже для поэта, такъ какъ Амуръ сумѣлъ смягчить его своими просьбами, вызвать къ себѣ сожалѣніе и, наконецъ, окончательнo поработить своего господина. Въ виду того, что это стихотвореніе было написано къ Андрею Нидецкому, повѣренному сердечныхъ тайнъ Кохановскаго, Тарновскій предполагаетъ, что подробности, въ родѣ упоминанія морского берега, и другія, дадутъ указаніе на зарожденіе въ душѣ поэта новой страсти

¹⁾ См. Ateneum 1891 r. t. II. str. 18.

гдѣ нибудь около Венеціи, или въ самомъ этомъ городѣ¹⁾. Въ этомъ періодѣ жизни поэта одна страсть непосредственно смѣняетъ другую. Очень характернымъ оправданіемъ такой морали служить одно стихотвореніе въ «Фориценіяхъ» къ Торквату²⁾. Видя его влюбленнымъ и грустнымъ, благодаря неудачамъ въ этомъ отношеніи, поэтъ даетъ ему слѣдующій простой совѣтъ:

Aut nunquam incipere, aut desistere nunquam
Est mel cum incipimus: fel ubi desinimus.

По всей вѣроятности, Кохановскій до своей женитьбы самъ придерживался этого правила, хотя не разъ, забывая о неприятныхъ послѣдствіяхъ, все-таки рѣшался испытать новое чувство. Нельзя сказать, чтобы элегическій тонъ, проникнутый нѣжностью, совершенно отсутствовалъ въ теченіе этого періода въ его произведеніяхъ. Однако въ нѣкоторыхъ изъ нихъ мы замѣчаемъ вмѣсто него, или ироническое и легкомысленное отношеніе къ женщинамъ, или веселый взглядъ на жизнь, охоту къ кутежамъ и развлеченіямъ съ хорошими товарищами.

Къ числу элегій, осмѣивающихъ женскіе недостатки, относится—восьмая второй книги³⁾, гдѣ поэтъ спрашиваетъ, для чего женщины прибѣгаютъ къ разнаго рода краскамъ и косметикамъ, которые не придаютъ имъ никакой красоты и никого къ нимъ не привлекаютъ. Эта элегія цѣликомъ взята изъ второй элегіи первой книги Проперція.

Образцомъ элегій, воспѣвающихъ разгульную жизнь, можетъ служить—вторая II книги⁴⁾, гимнъ въ честь Вакха, полный юмора и фантазіи, сквозь которые пробиваются еще остатки былой печали. Поэтъ надѣется, что Вакхъ его утѣшитъ: Вакхъ придаетъ отвагу робкимъ, разгоняетъ тоску, приноситъ забвеніе. Для него всѣ равны: и богачъ, и бѣднякъ.

Vina mihi et nexas fragranti flore corollas,
Ah pereat, si quem sobria vita juvat!

¹⁾ Op cit. 72 p.

²⁾ См. W. P. III, 72.

³⁾ См. W. P. III. 226.

⁴⁾ См. W. P. III, 56.

Такъ восклицаетъ поэтъ. Онъ проситъ увѣнчать его цвѣтами и налить ему полный кубокъ вина, пока поэтъ еще живъ. Этимъ короткимъ мгновениемъ необходимо пользоваться и взять у него все, что только возможно.

Dura puella vale, te nec mea flectere Musa
Nec potuit vel amor. vel mea rara fides.

.
Forsitan inveniam, quae pluris me aestimet, at tu
Sero, sed agnosces damna aliquando tua.

Здѣсь измѣняется тонъ, является скорбь о прежнемъ счастьѣ, воспоминаніе о хорошихъ минутахъ, которое, однако, быстро проходить, какъ мимолетный вздохъ, и заканчивается элегія требованіемъ вина, которымъ не брезгалъ и самъ Катонъ.

Въ рукописной редакціи этой элегіи ¹⁾ (у Осмульскаго—шестая второй книги) не было лишняго дидактическаго эпизода о краткости человѣческой жизни (отъ 17 по 24 стихъ). Въ печати суровой дѣвушки не могли побѣдить: «ни муза, ни любовь, ни рѣдкая вѣрность». Въ рукописи это мѣсто передается слѣдующимъ образомъ: «тебя совершенно не тронули ни мои пѣсни, ни подарки, ни просьбы». Стихи отъ 19 до 23 взяты изъ четвертой элегіи первой книги Тибулла, а 24—изъ III книги четвертой элегіи его-же.

Къ этому же падуанскому періоду относитъ Лёвенфельдъ ²⁾ VII оду «Ad Lucen» ³⁾, которая скорѣе представляетъ злую эпиграмму, чѣмъ оду. По своимъ литературнымъ достоинствамъ она могла бы быть отнесенной къ позднѣйшему времени творчества Кохановскаго. Даже и въ этомъ случаѣ, по мнѣнію Тарновскаго ⁴⁾, ничто не мѣшаетъ ей служить прекраснымъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, очень забавнымъ эпилогомъ падуанскаго романа нашего поэта. Ликея, имя которой въ элегіяхъ не упоминалось, постарѣла и подурнѣла. Пока она была молода, она не обращала на поэта никакого вниманія, когда онъ мерзъ на дворѣ, или мокнулъ подъ дождемъ. Богатый Демохаръ (Demochares) пользовался ея милостями. Настало время, когда Венера и Купидонъ покинули ее. Съ каждымъ днемъ

¹⁾ См. Ateneum 1891 г. т. II, srt. 17.

²⁾ Op. cit. p. 130.

³⁾ См. W. P. III, 271.

⁴⁾ Op. cit. p. 74.

на лицѣ ея появляется все больше и больше морщинъ, и Демохаръ, наконецъ, покидаетъ ее. Тогда Ликея стала звать своего прежняго нѣкогда отвергнутаго поклонника, который не былъ настолько глупъ, чтобы послѣ того, какъ другой съѣлъ мясо, довольствоваться «*reliquiis ossium*».

Всѣ эти латинскія произведенія Кохановскаго, какъ мы выше упомянули, даютъ слишкомъ мало точныхъ біографическихъ чертъ изъ жизни поэта. Можно сказать, что онъ былъ влюбленъ, а сколько разъ переживалось это чувство и повторялось ли оно, неизвѣстно. Есть основаніе предположить, что онъ попалъ въ общество разгульныхъ товарищей и не вполне добродѣтельныхъ женщинъ, что былъ, по крайней мѣрѣ, одинъ разъ счастливъ въ любви и даже предпочтенъ болѣе богатымъ соперникамъ, но не надолго. Результатомъ этой неудачи была глубокая скорбь, которой едва ли была достойна его продажная возлюбленная. Съ цѣлю разсѣяться, онъ увѣждалъ, или, можетъ быть, только собирался ѣхать въ деревню, но ожидаемаго утѣшенія ему не удалось получить.

При выдающихся умственныхъ способностяхъ Кохановскій обладалъ своеправнымъ характеромъ и съ любопытствомъ искалъ любовныхъ приключеній. Испытавши ихъ, онъ гордился своей зрѣлостью и, напуская на себя тонъ Донъ Жуана, училъ другихъ, болѣе робкихъ и неопытныхъ товарищей, какъ имъ поступать въ подобныхъ случаяхъ. При этомъ въ его словахъ замѣтно много наивности и сентиментальности. Хорошо зная, что за женщина его возлюбленная, онъ вѣритъ въ ея постоянство, удивляется ея измѣнѣ. Какъ въ высшей степени нѣжная натура, онъ слишкомъ горячо принимаетъ къ сердцу весьма естественную невѣрность своей возлюбленной. Его жалобы, проклятья и даже угрозы самоубійствомъ, въ особенности послѣднія, не должны быть понимаемы въ буквальномъ смыслѣ, это скорѣе дань господствовавшимъ тогда литературнымъ формамъ итальянскихъ и античныхъ поэтовъ. Подражая имъ, онъ во многихъ случаяхъ преувеличивалъ свои собственныя страданія. Кромѣ того, необходимо вспомнить, что многія подобныя мѣста цѣликомъ почти взяты имъ изъ классиковъ. Пережитая поэтомъ любовная неудача научила его болѣе трезво и холодно смотрѣть на подобныя вещи. Идеальная любовь, о которой грезилъ онъ, была низведена, благодаря неприглядной дѣйствительности, съ небеснаго пьедестала, воздвигнутаго

творческой фантазіей, и лишена поэтического ореола. Она приняла въ его глазахъ земной чувственный характеръ и только изрѣдка придавалъ ей поэтъ черты прежняго очарованія. Паеосъ и восхищеніе, которые не разъ проглядываютъ въ его элегіяхъ, посвященныхъ такимъ недостойнымъ женщинамъ, о которыхъ самъ поэтъ знаетъ, что онѣ за деньги будутъ ласковы ко всѣмъ, объясняются, съ одной стороны, искренней любовью поэта, съ другой—духомъ времени, который имѣлъ свои оригинальныя особенности. XVI вѣкъ, пропитанный горячимъ стремленіемъ къ идеаламъ античнаго міра, жадный къ роскоши и наслажденіямъ, имѣлъ на этотъ счетъ свою особенную, удивительную для насъ, точку зрѣнія. «Не вслѣдствіе недостатка нравственнаго чувства, говоритъ Тарновскій, не вслѣдствіе сильной страсти и слабости, даже не благодаря свойственной молодымъ людямъ наивности, но посредствомъ вліянія вѣка могъ знать Кохановскій самое худшее о своихъ возлюбленныхъ и, всетаки, сохранять къ нимъ какое-то уваженіе и грезить о томъ, чтобы умереть на ихъ груди»¹⁾.

Литературное значеніе этихъ элегій цѣнится учеными знатоками гуманизма не особенно высоко. По ихъ словамъ, Кохановскій жилъ и воспитывался уже во время начавшагося упадка этого культурнаго теченія. Латинскій языкъ нашего поэта хорошъ, но отличается школьнымъ, черезчуръ правильнымъ и мягкимъ характеромъ. Въ немъ чувствуется послѣдняя попытка спасти его отъ неминуемой гибели, которая грозитъ ему со стороны все болѣе и болѣе развивающихся новыхъ языковъ. Предшественники Кохановскаго, Кшицкій и Дантышекъ, не обладая его талантомъ и излществомъ слога, писали болѣе живымъ и выразительнымъ языкомъ. Въ защиту нашего поэта Тарновскій говоритъ, что если бы его элегіи и не имѣли даже особенныхъ литературныхъ достоинствъ, то, всетаки, въ польской поэзіи за ними нужно признать большое значеніе, такъ какъ онѣ являются здѣсь первой поэзіей любви въ настоящемъ значеніи этого слова²⁾.

Сравнивая ихъ съ произведеніями Кшицкаго и Дантышка, мы замѣчаемъ между ними такую же разницу, какъ между польскими стихотвореніями Рея и плодами польской Музы нашего поэта. Правда, въ этомъ отношеніи изъ представителей польско-латин-

¹⁾ Op. cit. p. 77

²⁾ Op. cit. p. 78.

ской поэзии выдается также Яницкий, который в некоторых своих стихотворениях блещет большим талантом и лучшей выработкой стиха, чем Кохановский. Все-таки за последним, как за поэтом любви, нужно признать превосходство. Яницкий, болѣзненный от природы, слишком занятый заботами о своемъ здоровьи, черезчуръ сильно отражаетъ это въ своихъ произведеніяхъ, которыя, благодаря этому, имѣютъ иногда слишкомъ тоскливый, ноющій характеръ. Дантышекъ и Кшицкий изображаютъ чувство въ крайне условныхъ формахъ, и «ихъ любовь, по мѣткому опредѣленію Тарновскаго, выражается съ грамматикой и словаремъ въ рукахъ³⁾. Она гордится, если ей удается написать какой-нибудь стихъ безошибочно».

Если даже допустимъ, что Кохановский писалъ свои элегии только ради славы, или для упражненія въ технику стиха, какъ это часто бывало въ его время, тѣмъ не менѣе, далеко не всѣ стихотворенія написаны имъ въ такомъ духѣ; онъ, все-таки, иногда выражалъ тѣ именно чувства и мысли, которыя ему въ самомъ дѣлѣ приходилось переживать и всегда въ такихъ случаяхъ свое сильное чувство онъ выражалъ смѣло, свободно и очень красиво. Благодаря этому, даже латинскій языкъ не лишаетъ ихъ того значенія, которое должно принадлежать имъ въ польской эротической поэзии. Въ этихъ стихотвореніяхъ очень много холоднаго рассудочнаго элемента, въ чемъ откровенно признается самъ Кохановский. Этотъ элементъ связывается иногда съ самымъ возвышеннымъ и благороднымъ чувствомъ, не исчезаетъ въ немъ, но только прикрывается имъ. Въ такихъ случаяхъ преобладаетъ обыкновенно сентиментальность и грустный отбѣнокъ, а выраженіе этихъ чувствъ условно, какъ и у всѣхъ поэтовъ того времени. Отсутствие индивидуальныхъ чертъ въ его поэзии вовсе не доказываетъ, что онъ не могъ ихъ выразить. Объясняется это тѣмъ, что не въ духѣ того времени было обнаруживать ихъ слишкомъ ясно. Провансальскіе трубадуры и итальянскіе канцонисты и сонетисты считали для себя заслугой затереть въ своихъ пѣсняхъ всякія черты изъ дѣйствительной жизни и проявленія своей индивидуальности. Они старались какъ можно глубже скрыть личность свою и своей возлюбленной и оставляли какъ можно больше мѣста для нѣжныхъ и утонченныхъ, возвышенныхъ и грустныхъ чувствъ, восхищенія, слезъ,

³⁾ Ibid.

вздоховъ и томности. Такое поэтическое выраженіе любви господствовало въ теченіе цѣлаго XVI столѣтія.

Первыми гуманистами были итальянцы и французы, а нѣмцы и поляки только ихъ подражателями. Итальянецъ XV вѣка, хотя и писалъ по латыни, всетаки не могъ освободиться отъ вліянія Петрарки, по образцамъ котораго онъ выражалъ свою любовь. Онъ говорилъ только о прелестяхъ, восторгахъ, страданіяхъ и смерти отъ любви всегда одно и то же и въ одной и той же формѣ. Въ своихъ произведеніяхъ онъ не выражалъ своей индивидуальности и своихъ собственныхъ чувствъ. Ни у Петрарки, ни у другихъ сонетистовъ, также какъ и у гуманистовъ, которые имъ подражали, не видно никакихъ указаній на личности ихъ возлюбленныхъ, даже ихъ внѣшніе признаки не выражены тамъ съ достаточною ясностью.

Кромѣ того, не послѣднюю роль въ этомъ отношеніи играло то обстоятельство, что трубадуры и сонетисты слагали свои пѣсни въ честь возлюбленной, состязаясь между собою. Благодаря этому, необходимо являлись преувеличенія, которыя должны были сглаживать черты изъ дѣйствительности. Другой причиной даннаго явленія было то, что гуманисты подражали классическимъ поэтамъ, у которыхъ также нѣтъ никакихъ указаній на личность ихъ возлюбленныхъ. По сонетамъ Петрарки нельзя себѣ составить никакого понятія, кто такая была Лаура, также и изъ элегій Тибулла ничего неизвѣстно о личности Делія. По своимъ характерамъ и темпераментамъ эти поэты рѣзко отличались другъ отъ друга, однако чувствительная и нѣжная любовь, надежда, счастье, или скорбь постоянно выражаются у нихъ однимъ и тѣмъ же стереотипнымъ способомъ. Словомъ, эротическая поэзія того времени, подобно французской ложно-классической трагедіи, создавалась по заранѣе выработаннымъ античнымъ формуламъ. У этихъ именно гуманистовъ учился Кохановскій своимъ первымъ стихотворнымъ выраженіямъ любви. Иныхъ образцовъ онъ и не зналъ, такъ какъ вся поэзія этого рода въ XV и XVI столѣтіяхъ приняла такой условный и искусственный характеръ. На такихъ примѣрахъ и воспитывался Кохановскій, и нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ не писалъ иначе. Слѣдовательно, причины отсутствія въ его элегіяхъ біографическихъ чертъ и индивидуальности нужно искать не въ немъ самомъ, а въ окружающихъ его жизненныхъ условіяхъ, въ

образцахъ, которыми онъ пользовался, въ современной ему европейской литературѣ.

Въ виду того, что поэзія падуанскаго періода жизни Кохановскаго носила, по преимуществу, эротическій характеръ, трудно сказать, какимъ онъ былъ въ другихъ отношеніяхъ, что онъ думалъ и чувствовалъ. Въ элегіяхъ этихъ нѣтъ рѣчи о внѣшнихъ обстоятельствахъ его жизни, такъ же, какъ о природѣ и объ искусствѣ. О родинѣ онъ вспоминаетъ только мимоходомъ. Убѣжденія свои исповѣдуетъ только въ нѣкоторыхъ элегіяхъ, о которыхъ у насъ будетъ рѣчь ниже. Однако читая между строкъ его элегіи и принимая во вниманіе, что онъ занятъ былъ тогда исключительно древнимъ міромъ, а также непринужденность, съ которой онъ отдается своимъ любовнымъ приключеніямъ, можно прийти къ заключенію, что вліяніе вѣка, итальянцевъ и древнихъ авторовъ отразилось не только на его поступкахъ, но даже и на понятіяхъ.

Кохановскій хорошо зналъ философовъ того времени, какъ видно изъ семнадцатой элегіи III книги ¹⁾. Онъ колебался въ выборѣ тѣхъ, или другихъ философскихъ ученій, въ чемъ походилъ на большинство своихъ современниковъ. Онъ былъ тогда молодымъ гуманистомъ, горячо преданнымъ той поэзіи, которую понималъ и которой сочувствовалъ. Въ мысляхъ его отражались понятія современныхъ и древнихъ мыслителей. Благодаря ихъ вліянію, его нравъ нѣсколько испортился, вѣра поколебалась, вслѣдствіе различныхъ вопросовъ и сомнѣній, которые ему со всѣхъ сторонъ приходилось слышать. Все это онъ схватывалъ своимъ быстрымъ умомъ, съ легкостью, присущей молодому человеку, одаренному впечатлительной натурой, свойственной истому поляку и славянину. Посвящая свои стихотворенія воспѣванію любви, онъ гордится своимъ дарованіемъ и, можетъ быть, возлагаетъ на него надежды въ смыслѣ приобрѣтенія извѣстности и славы. Во всемъ этомъ онъ походилъ на всякаго гуманиста того времени, обладающаго поэтическимъ даромъ. Такова была первая ступень въ его духовномъ развитіи.

¹⁾ См. W. P. III. 145.

III.

Элегіи послѣднихъ лѣтъ падуанской жизни Кохановскаго. XXXV эпиграмма въ „Форіценіяхъ“. Лидія и ея характеристика. Элегіи къ ней. Двѣнадцатая элегія первой книги. Шестая той же книги. Одиннадцатая I книги и соответствующая ей въ рукописи Осмульскаго шестая I книги. Пятая I кн., существующая только въ рукописи. Четвертая элегія первой книги и соответствующая ей третья I кн. въ рукописи. Десятая I кн. Трнадцатая I кн. и третья второй книги Осмульскаго. Вторая элегія III книги и восьмая I книги рукописи. Первая элегія второй книги. Пятая той же книги и седьмая второй книги Осмульскаго. Шестая элегія второй книги и восьмая II рукописи. Семнадцатая элегія третьей книги. Одиннадцатая второй книги и одиннадцатая той же книги Осмульскаго, какъ выраженіе очарованія Кохановскаго личностью императора Карла V. Эпилогъ романа съ Лидіей—седьмая элегія третьей книги. Элегіи къ Мѣлецкому и Тарновскимъ. Седьмая элегія первой книги и пятая той же книги рукописи. Пятая элегія первой книги и четвертая Осмульскаго. Первая первой книги печатнаго и рукописнаго текста. Девятая и десятая рукописныя элегіи первой книги, какъ выраженіе религиозныхъ убѣжденій Кохановскаго. Литературное значеніе всѣхъ этихъ элегій. Хронологическая ихъ дата, какъ подтвержденіе реальности романа съ Лидіей и ея значеніе для біографіи поэта.

На смѣну первымъ, еще не опредѣлившимся проявленіямъ юношеской страсти, которая отразилась въ стихотвореніяхъ нашего поэта, безъ яснаго выраженія автобіографическихъ и индивидуальныхъ чертъ, выступило новое чувство, вызвавшее цѣлый рядъ элегій, съ болѣе яркой личной окраской. Предметомъ этой любви была Лидія.

Новая страсть поэта должна была обладать значительной силой, если много лѣтъ спустя, уже въ Польшѣ, смотря на свой портретъ, снятый съ него еще въ Падуѣ, Кохановскій говоритъ:

Talis eram, cum me lento torqueret amore ¹⁾
 Decantata meis Lydia carminibus.
 Pictorem metui, cum vultum pingere vellet,
 Ne gemitus una pingeret ille meos.

Въ такихъ словахъ онъ вспоминаетъ о своемъ уже давно переболѣвшемъ чувствѣ, которое живо сохранилось въ его памяти.

Стихотворенія, непосредственно относяціяся къ Лидіи, показываютъ, что онъ глубоко и страстно любилъ эту женщину. Не возвращаясь къ сдѣланной уже нами оцѣнкѣ мнѣнія нѣкоторыхъ критиковъ о томъ, что никакой Лидіи не существовало, мы постараемся охарактеризовать ее по тѣмъ даннымъ, которыя у насъ имѣются.

¹⁾ См. Foricœnia XXXV. In imaginem suam. W. P. t. III, str. 202.

На основаніи посвященныхъ ей элегій можно полагать, что она была женщиной съ измѣнчивымъ сердцемъ и не отличалась безупречною нравственностью, была расчетлива, жадно стремилась къ матеріальнымъ выгодамъ и не пренебрегала деньгами. Принимая подарки, она предпочитала богатыхъ поклонниковъ бѣднымъ. Вотъ что до сихъ поръ было извѣстно о ней изъ латинскихъ стихотвореній Кохановскаго.

И въ этой любви пережилъ онъ тѣ-же стадіи, какъ и въ предыдущей, начиная отъ сладостныхъ надеждъ и упоенія полнымъ счастьемъ и кончая первыми признаками нерасположенія и, наконецъ, измѣной со стороны коварной подруги. Тогда послѣдовали тѣ-же самыя жалобы и проклятія, какія мы видѣли въ выше разобранныхъ нами элегіяхъ. Выраженіемъ начала любви къ Лидіи можно считать двѣнадцатую элегію первой книги¹⁾, которая отличается сентиментальнымъ, робкимъ, нѣсколько условнымъ характеромъ и въ этомъ отношеніи близко примыкаетъ къ предыдущимъ. Друзья предостерегаютъ поэта отъ увлеченія любовью. Онъ, впрочемъ, не слушается ихъ. Любовь дѣлаетъ его, суроваго сѣверянина—сармата, склоннаго къ тревогамъ военной жизни, сторонникомъ мирныхъ искусствъ и, прежде всего, 'сладостныхъ пѣсень. Благодаря этому чувству, сарматская страна когда-нибудь назоветъ его своимъ поэтомъ. Теперь онъ заботится только о томъ, чтобы пѣсни его отворили ему двери къ возлюбленной и смягчили ея непреклонное сердце.

*Si non invito spectas me, Lydia, vultu,
Nulla mihi est victis gloria tanta Scythis.
Nulla nec antiqui regnum florens Halyattis,
Quasque Asiae jactat frugifer orbis opes.*

Заканчивается стихотвореніе довольно холодной моралью о бренности этого міра, о Крезѣ, о печальной смерти Гектора. Нѣсколько стиховъ (25—30) соответствуютъ 67—72 стихамъ второй элегіи первой книги Тибулла.

Шестая элегія первой книги²⁾ является выраженіемъ дальнѣйшаго развитія этой любви. Трудно сказать, до такой ли степени полонъ поэтъ надежды, что не сомнѣвается въ своемъ успѣхѣ, или онъ достигъ уже исполненія своихъ грезъ. Если это только надежда, то, во всякомъ случаѣ, весьма близкая къ осуществленію, если

¹⁾ См. W. P. III 36.

²⁾ См. W. P. III 48.

дѣйствительность, то еще совершенно свѣжая. Признаніе отличается здѣсь очень красивой формой. По своей прелести, говоритъ поэтъ, Лидія не уступитъ богинямъ и возлюбленнымъ Олимпійскихъ боговъ.

Omnibus iis forma conferri Lydia digna est
Et potius vincat, quam superata cadat.

О ея наружности поэтъ сообщаетъ слѣдующее:

Ora nivem referunt, aurum coma, lumina stellas,
Ipsa ingens priscas aequat honore deas,
Et sive incessit, risitve, loquitave quidquam est
Praecinctam balteo Cypridis esse putes.

Отсюда мы узнаемъ одну интересную черту, которая не встрѣчается у итальянскихъ и классическихъ поэтовъ, избѣгавшихъ обозначать примѣты своихъ возлюбленныхъ, а именно: Кохановскій сообщаетъ намъ, что Лидія была блондинкой—*aurum coma refert*. При всѣхъ своихъ внѣшнихъ достоинствахъ она была образованной женщиной и свѣдущей во многомъ. Сама Паллада учила ее женскимъ рукодѣніямъ. Лидія любила внимать музамъ и, подобно Сиренѣ, пѣть подъ аккомпаниментъ лютни. Ея красота изгладилась въ памяти поэта всѣ прелести, которыя ему когда либо приходилось видѣть. Далѣе слѣдуетъ очень любопытное указаніе на славянскія (польскія) произведенія нашего поэта, написанныя для ея прославленія.

Omnes ex animo penitus jam deleo formas,
Diversis memini quas stupuisse locis
Huic, si quid blandum spirant mea carmina, debent,
Huic Latia atque recens slavica Musa canit.

Въ ея объятіяхъ онъ чувствуетъ себя самымъ счастливымъ изъ смертныхъ. Однако и это счастье омрачается иногда ея гнѣвомъ.

Sit satis irata modice illacrimare puella,
Sit satis ingenita de levitate queri
Ingratas pulsare fores, aditumque negari
Illa mihi mortis suspicio instar erit.
Omnia perpetiar: modo spes, o Lydia, nobis
Omnis placandae ne sit adempta tui.

Такъ заканчиваетъ Кохановскій эту элегію. Трудно сказать, о комъ именно подозрѣніи здѣсь идетъ рѣчь. Одно только несомнѣнно, что въ этомъ стихотвореніи прекрасно выражена первая стадія сча-

стливой любви. Начало его цѣликомъ взято изъ второй элегіи первой книги Проперція. Описание Лидіи также заимствовано у него Кохановскимъ изъ первой элегіи второй книги, пренебреженіе въ богатствамъ, упоминаніе о Пактолѣ у него же изъ четырнадцатой элегіи первой книги, а послѣдніе стихи изъ десятой элегіи первой книги Тибулла. Однако это подражаніе не носитъ рабскаго характера, а отличается значительной долей самостоятельности. Цѣликомъ заимствованы только два стиха:

*Avesta externis Hippodameia rotis (Propertii I. 2) и
Quidquid fecit, sive est quidcumque locuta (Pr. II. 1).*

Выраженіемъ полного счастья поэта служить одиннадцатая элегія первой книги ¹⁾.

Влюбленный юноша вляется въ томъ, что ему не нужно ни награды въ Елисейскихъ поляхъ, ни капитолійскаго вѣнча: вѣдь Улиссъ предпочелъ Пенелопу безсмертію, которое ему предлагала Цирцея. Также и поэтъ предпочитаетъ всему свою возлюбленную и одного только хочетъ—умереть на ея груди. Пусть его тогда не хоронятъ съ торжествомъ и не ставятъ ему роскошнаго памятника. Для него достаточно, если тѣло его ляжетъ въ сторонѣ отъ дороги, гдѣ не ходятъ и не ѣздятъ люди. Пусть надъ нимъ поставятъ скромную колонну съ надписью:

*Hic situs est Mopsus, quem flamma ustura suprema
Ascendit nigram mors ab amore facem.*

Если когда-нибудь его могилу посѣтитъ возлюбленная и ороситъ ее слезами, а въ годовщину смерти принесетъ цвѣты, большаго ему не нужно, хотя онъ уже не будетъ этого чувствовать.

Послѣдніе четыре стиха этой элегіи напоминаютъ 31—34 стихи шестой элегіи второй книги Тибулла, а цѣликомъ она похожа на шестнадцатую элегію четвертой книги Проперція.

Въ рукописи Осмульскаго эта элегія значится шестю первой книги. Здѣсь она прямо озаглавлена „Ad Lydiam“ ²⁾. Изъ содержанія ея видно, что какою то пріятель Кохановскаго (какъ мы ниже увидимъ, Андрей Патрицій Нидецкій), собираясь во Францію, уговаривалъ поэта ѣхать съ нимъ вмѣстѣ, на что онъ не соглашается, удерживаемый слезами Лидіи. Слѣдующіе стихи печатнаго текста:

¹⁾ См. W. P. III. 34.

²⁾ См. Ateneum 1891 г. т. II, str. 8.

„Ne me quaeso tuis occidas, vita, querelis
 Itala non tanti est regna videre mihi,
 Ut tua ab assiduo tabescant lumina fletu“.

имѣютъ во второй строкѣ вариантъ:

„Gallica non tanti est regna videre mihi“

разсѣивающій всякія сомнѣнія относительно написанія этой элегіи въ Падуѣ. Сверхъ того въ рукописи нѣтъ вышеприведенной эпитафіи, за то здѣсь прибавлены слѣдующіе два стиха: „пустъ на тебя, моя Лидія, я буду смотрѣть, умирая, слабѣющими глазами, пустъ уста плачущей въ послѣдній разъ призываютъ меня“. (Это мѣсто очень напоминаетъ слѣдующія строки въ восьмой элегіи первой книги Кохановскаго: „когда мы съ твердѣющихъ устъ получаемъ послѣдніе поцѣлунъ и отъ самыхъ водъ Стикса насъ зовутъ по имени“).

Къ тому же событію, т. е. къ отъѣзду пріятеля во Францію, относится, сохранившаяся только въ рукописи Осмульскаго, пятая элегія второй книги¹⁾. Отсюда мы узнаемъ, что другъ поэта, названный здѣсь подъ псевдонимомъ Торевата, имѣетъ возлюбленную, по имени Ливориду. Онъ оставляетъ Италію и черезъ Альпы спѣшитъ во Францію, которая ведетъ теперь войну съ Испаніей. Отряды высланы уже въ Италію къ Пьемонту. (Это было въ началѣ зимы 1556 года). Томимая горечью разлуки, Ливорида напоминаетъ Торевату его клятвы, старается остановить его, рисуя всевозможныя опасности дороги, занятой войсками, говоритъ о суровости альпійскаго климата и, наконецъ, угрожаетъ Торевату мщеніемъ Венеры: сама она не умѣетъ гнѣваться на него: чѣмъ меньше проявляетъ Тореватъ заботливости о ней, тѣмъ больше любитъ его Ливорида. Одна только надежда на его любовь удерживаетъ ее отъ смерти. Она не требуетъ, чтобы Тореватъ обручился съ нею, она не хочетъ отнимать его у родины. Для нея достаточно, если онъ хоть разъ еще посѣтитъ ее. Тогда пустъ Парки оборвутъ нить ея жизни.

Эта элегія интересна, какъ единственная, написанная Кохановскимъ отъ лица женщины, и представляющая объективную передачу чужого чувства; другихъ литературныхъ достоинствъ она не имѣетъ, что, можетъ быть, и послужило причиной ея исключенія Кохановскимъ изъ числа своихъ печатныхъ элегій.

¹⁾ Ibid. p. 16.

Та же тема затронута въ четвертой элегии первой книги ¹⁾.

Нѣкій пріятель поэта, Андрей, собирается въ путь и покидаетъ свою возлюбленную. Кохановскій говоритъ, что никогда не сдѣлалъ бы этого. Когда Лидія съ нимъ, для него цѣлый міръ ничего не значить. Изъ его словъ видно, что оба они, т. е. и Андрей, и поэтъ, пользовались взаимностью своихъ возлюбленныхъ и оба знали всѣ подробности о жизни другъ друга. Здѣсь пять стиховъ взято изъ первой элегии первой книги и третьей элегии третьей книги Тибулла. Въ рукописи Осмульскаго эта элегія значится третьей первой книги ²⁾. Въ печатномъ текстѣ старательно сглажены упоминанія объ Италіи, въ родѣ слѣдующаго: „окинувши грустнымъ взоромъ Альпы, черезъ которыя ты переѣхалъ, скажешь ты: дорогая Италія, увн! какъ ты далека!“ и т. п. Заключительный эпизодъ рукописи, въ которомъ поэтъ противопоставляя себя и Лидію Андрею и Докаликъ (въ печати Менофилъ), соглашается вести скромную пастушескую жизнь, лишь бы Венера благопріятствовала ему, совершенно отсутствуетъ въ печатномъ текстѣ, который, вообще, отличается гораздо большей краткостью. Послѣдній мотивъ о пастушеской идилліи повторяется много разъ въ позднѣйшихъ стихотвореніяхъ Кохановскаго. По содержанію къ этой элегии приближается десятая первой книги ³⁾.

По словамъ поэта, все его счастье зависитъ отъ любви къ нему Лидіи. Въ этой элегии впервые замѣчаются слѣды ревности, или подозрѣнія, которые выражены здѣсь въ довольно сильной и рѣзкой формѣ. Лидіей назначено поэту свиданіе, по всей вѣроятности, уже не первое. Она не приходитъ.

Quae tibi causa morae, quis te casusve deusve
Detinet, inque meos non sinit ire sinus?

спрашиваетъ огорченный и нетерпѣливый поэтъ, который говоритъ, что ему не нужно ея дорогихъ нарядовъ, лишь бы только скорѣе пришла она. Нетерпѣніе его растетъ съ каждымъ мгновеніемъ. По словамъ поэта, она приходила на прежнія свиданія въ костюмѣ юноши, что даетъ основаніе предполагать въ ней нѣкоторую боязнь за свою репутацію. Можетъ быть, общественное положеніе, родителя, или мужъ, препятствовали ей свободно отдаться своему чувству. Эта

¹⁾ См. W. P. III. 14.

²⁾ См. Ateneum 1891 r. t. II, str. 6.

³⁾ См. W. P. III. 30.

обстановка тайны, переодѣваніе должны были очень сильно дѣйствовать на влюбленнаго. Очень красиво дважды повторенное въ этой элегии обращеніе къ звѣздамъ съ мольбой, чтобы онѣ не спѣшили совершать свой бѣгъ:

Ne mihi, ne tantum septem properate triones,
Lentius o gyro, Maenali, curre tuo.

Поэтъ умоляетъ Лидію не мѣшкать, такъ какъ ночь уже проходитъ. Далѣе слѣдуетъ прекрасный образъ Эндиміона, къ которому Діана спѣшила съ небесъ и, пришедши къ нему, она вклала его голову на свою божественную грудь.

. tu Lydia cessas,
Meque sinis viduo dura jacere toro.

Однако Лидія не пришла. Звѣзды погасли, запѣлъ пѣтухъ, а поэтъ тѣмъ временемъ томится мрачными подозрѣніями объ истинной причинѣ ея отсутствія:

Infelix, facilem qui vobis praebuit aurem,
Verbaque vestra aliquod pondus habere putat,
Scintillas in aquis, et rorem quaerit in igne,
Femineo quisquis quaerit in ore fidem.

Таковыми словами, полными желчнаго негодованія противъ женщины, заканчивается эта элегія. Изъ второй и третьей элегій первой книги Тибулла заимствована просьба къ Лидіи, чтобы она не медлила и пришла хоть босикомъ.

Тринадцатая элегія первой книги¹⁾ посвящается также Лидіи, однако по содержанію она не соотвѣтствуетъ предыдущимъ. Начинается она упоминаніемъ объ отъѣздѣ Лидіи въ деревню. Сопутствуетъ ей и нашъ поэтъ. Съ перваго взгляда можетъ показаться, что это происходитъ вслѣдствіе ихъ сильной любви другъ къ другу, которая жаждетъ уединиться отъ людей и всецѣло предаться своему чувству. Однако стоять только лучше вчитаться въ элегію, чтобы убѣдиться въ томъ, что здѣсь описывается только болѣе продолжительное и свободное свиданіе. Кухановскій говоритъ о деревнѣ, какъ о своемъ постоянномъ мѣстопребываніи, куда онъ приглашаетъ свою возлюбленную раздѣлить съ нимъ его земледѣльческіе труды и поддержать его

¹⁾ См. W. P. III. 39.

на этомъ поприщѣ. На ея глазахъ онъ вынесетъ всѣ трудности, она лишаетъ его силъ, она же и даетъ ихъ ему. Онъ совѣтуетъ Лидіи не бояться скуки деревенской жизни, въ которой есть не мало своихъ удовольствій, какъ, на примѣръ, созерцаніе стада, пасущагося на зеленомъ лугу, звонкій лай охотничьихъ собакъ, напавшихъ на слѣдъ звѣря, когда

Astra ferit clamor densaque silva tremit.

Эти слова обнаруживаютъ въ Кохановскомъ страстнаго любителя охоты.

Всѣмъ этимъ радостямъ сельской жизни поэтъ рѣшился охотно предаться въ томъ только случаѣ, если Лидія будетъ съ нимъ. При взаимной любви онъ не хотѣлъ бы никакихъ другихъ богатствъ, которыя не даютъ истиннаго счастья. Онъ богатъ надеждой на любовь Лидіи.

Nas redigi in cineres mortuus opto face.

Нѣтъ основанія относить эту элегію по ея содержанію къ тому періоду жизни Кохановскаго, когда онъ приглашалъ свою невѣсту въ Чернолѣсъ, такъ какъ, во первыхъ, имя Лидіи, во вторыхъ, возможность вліянія Тибулла и въ третьихъ, существованіе этой элегіи въ самомъ раннемъ изъ дошедшихъ до насъ рукописныхъ сборниковъ его латинскихъ элегій говоритъ противъ этого. Мало ли какія мысли могли прійти въ голову влюбленному юношѣ? Сюжетъ, подобный этому, встрѣчается и у другихъ поэтовъ, какъ, на примѣръ, у Тибулла въ 47—52 стихахъ третьей элегіи второй книги. У Осмульскаго этой элегіи соотвѣтствуетъ третья второй книги¹⁾, которая сильно отличается отъ печатнаго текста.

Поэтъ прощается съ ненавистнымъ городомъ и направляется въ широкія поля, куда удалилась Лидія. Въ ея присутствіи онъ хочетъ, при помощи Амура, отдаться земледѣльческимъ трудамъ, пахать землю тяжелымъ плугомъ, разбрасывать по взрытымъ бороздамъ хлѣбныя сѣмена, проводить изъ сосѣдней рѣки ручеекъ для орошенія поля, когда его станетъ палить лѣтнее солнце, въ свое время срѣзывать серпомъ „желтые волосы земли“. За все это охотно беретъ влюбленный поэтъ, лишь бы Лидія была съ нимъ. Для нея онъ станетъ отыскивать въ густыхъ лѣсахъ новые дары: землянику, пурпурную ма-

¹⁾ См. Ateneum 1891 г. т. II, str. 14

лину, голубивыя гнѣзда и молодыхъ зайцевъ, ноги которыхъ еще недостаточно окрѣпли. Ей будетъ принадлежать все, что даютъ виноградники и отяжелѣвшія вѣтви садовыхъ деревьевъ. Тутъ поэтъ начинаетъ сомнѣваться, будутъ ли пріятны Лидіи такіе дары, не станетъ ли она смѣяться надъ ними. Въ старину такъ любили, что даже цвѣты дикой розы считались значительнымъ подаркомъ, а теперь цѣнится одно только золото. Его долженъ имѣть при себѣ всякій, кто хочетъ любить. Теперь женщина утопаетъ въ сказочной роскоши, украшенная Сидонскимъ пурпуромъ и жемчугомъ далекаго востока. Отъ нея вѣетъ волшебными ароматами Аравіи. Никто не осмѣлится подойти къ ней съ пустыми руками, такъ какъ здѣсь нѣтъ мѣста для бѣдности. Самъ отецъ боговъ осыпалъ Даная золотомъ и съ тѣхъ поръ дѣвушки стали заботиться о выгодѣ и рѣдею изъ нихъ можно побѣдить инымъ способомъ. Теперь не имѣютъ никакого значенія ни благородство, ни древняя слава предковъ, ни добродѣтель, ни умственные дарованія. Кто можетъ платить, тотъ сравнивается съ великимъ Ахиллесомъ и побѣдитъ даже стихи Гомера. Убогаго стануть подвергать всевозможнымъ насмѣшкамъ, ему придется терпѣть морозъ и ночную непогоду, въ то время, когда другой будетъ пользоваться милостью его возлюбленной. Не желая подвергаться такому униженію, поэтъ готовъ отдать свое послѣднее платье и даже не пощадить дома своихъ дѣдовъ. Тогда уже, въ самомъ дѣлѣ, ему придется за вирку взяться, т. е. сдѣлаться простымъ земляшцемъ, или работникомъ.

Въ послѣднихъ строкахъ латинскаго текста въ выраженіи: „*mihi res ad gastros redit*“ заключается игра словъ. Оно можетъ значить: „дѣло у меня до вирки доходить“ въ буквальный смыслъ и въ переносномъ: „я останусь ни съ чѣмъ“.

Въ печати, какъ мы выше видѣли, описаніе полевыхъ работъ замѣнено изображеніемъ охотничьихъ удовольствій. Ручписная элегія отличается менѣе возвышеннымъ, но за то болѣе жизненнымъ характеромъ. Личность Лидіи впервые получаетъ здѣсь не совсѣмъ выгодную для нея окраску. Она оказывается такою же жадной къ деньгамъ и продажной, какъ и прежнія симпатіи нашего поэта. Въстѣ съ тѣмъ здѣсь еще рельефнѣе выступаетъ бѣдность Кохановскаго, которому было не подъ силу вести такую жизнь, какъ вели его сверстники.

Какъ-бы продолженіемъ этой элегіи служить вторая третьей книги¹⁾, которую до сихъ поръ считали написанной въ Польшѣ, когда поэтъ, уже женатый на Доротѣ, приглашалъ къ себѣ Мышковскаго и предлагалъ ему развлечься охотой. Восьмая элегія первой книги въ рукописи Осмульскаго²⁾ вполне соотвѣтствуетъ вышеупомянутому стихотворенію съ тою только разницей, что вмѣсто стоящихъ въ печати словъ: „Pasiphile in totum“ и т. д. здѣсь мы читаемъ „Lydia et in totum и т. д. Слѣдовательно, здѣсь рѣчь идетъ о падуанской возлюбленной Кохановскаго, которая ожидала его у себя въ деревнѣ, куда, какъ мы видѣли изъ тринадцатой элегіи первой книги, она уѣхала. Съ послѣдней элегіей рукописный текстъ сходится даже въ отдѣльныхъ выраженіяхъ, какъ напримѣръ *molliti sulci*, *Icarius canis*, *aestivus canis* и т. п. Конецъ элегіи, посвященный описанію золотого вѣва и заразы отъ золота, напоминаетъ извѣстное мѣсто въ первой книгѣ *Метаморфозъ* Овидія: „Aurea prima sata est aetas“ и т. д. Мысль о безопасности бѣдняка среди разбойниковъ взята изъ стиха Ювенала: „Cantavit vacuus coram latrone viator“. Въ заключеніи поэтъ развиваетъ мотивъ, начатый въ тринадцатой элегіи первой книги.

Недолго пришлось влюбленному поэту наслаждаться своимъ счастьемъ. Лидія, такъ же какъ и его первая симпатія, не осталась вѣрной ему до конца. Предчувствіе измѣны съ ея стороны не обмануло его.

Первая элегія второй книги³⁾ уже носить слѣды разочарованія поэта въ Лидію. Грустная истина уже давно извѣстна ему и повергла его въ глубокое отчаяніе. При всей своей добротѣ онъ не можетъ забыть ея несправедливости и коварной измѣны, которыя должны послужить для нея стыдомъ и позоромъ. Она давно уже хотѣла избавиться отъ поэта, давно обнаружила свою скрытность и дурныя качества, давно кокетничала съ другими, но все это улаждалось для него ея любовью и не возбуждало горькаго чувства. Теперь, напротивъ, онъ проситъ боговъ, чтобы они повергли на его голову всяческія бары; при звукахъ грома, ему казалось, что его постигаетъ гнѣвъ Юпитера, онъ думалъ, что за недостойную Лидію ему при-

¹⁾ См. W. P. III. 90.

²⁾ См. Ateneum 1891 г. т. II, str. 8.

³⁾ См. W. P. III. 53.

дѣтся плыть по страшнымъ Стигійскимъ волнамъ. Онъ боялся этихъ небесныхъ варъ, едва ли потому, что совѣсть его мучила за первое соращеніе Лидіи съ пути добродѣтели. Однако же трудно рѣшить этотъ вопросъ положительно въ ту, или другую сторону. Извѣстно только одно, что Лидія ни въ чемъ себя не упрекаетъ и только подыскиваетъ новыхъ избранниковъ своего сердца; ни доброта поэта, ни его постоянство, не въ состояніи вернуть ее на хорошую дорогу.

At te nec pietas mea nec constantia flexit,
In rectam ut velles versa redire viam.

Отсюда есть нѣкоторое основаніе предположить, что у Кохановскаго было, навѣянное страстной любовью, романтическое стремленіе спасти заблудшую овцу, которое, по всей вѣроятности, не было чуждо гуманистамъ и классикамъ, если только имъ удавалось подниматься до настоящей любви, обнимающей собою не только тѣло, но и душу горячо любимаго существа.

Но Лидія не раздѣляетъ его благородныхъ стремленій; они для нея непонятны. Она, не задумываясь, смѣло и весело идетъ дальше по своей дорогѣ въ пороку. Поэтъ говоритъ ей, что такая жизнь можетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока она молода, пока поклонники не покидаютъ ея. Одинъ только онъ оставался бы вѣрнымъ ей до самой своей смерти. Это первое проявленіе отчаянія отъ измѣны Лидіи отличается рѣдкой энергіей и красотой и, вромѣ того, повидимому, вполне оригинально.

Между тѣмъ его горе все увеличивается:

Non ita solliciti sulcant Neptunia nautae
Aequora, cum caeca sidera nocte latent,
Nec fugiente die tanto maerore viator
Errans in silva carpitur Hercynia,
Quantis nostra solent tabescere pectora curis,
Cum fugis ex oculis, Lydia dura, meis.

Таковыми грустными словами начинаетъ поэтъ пятую элегію второй книги¹⁾. Безъ Лидіи даже Аполлонъ своей лирой не въ состояніи развеселить поэта. Все вызываетъ въ немъ однѣ только слезы. На голову своего счастливаго соперника онъ посылаетъ всякія бѣды и проклятія. Теперь счастливецъ въ отсутствіи, онъ блуждаетъ гдѣ-то

») См. W. P. III. 65.

по морямъ. Поэтъ проситъ Нептуна, чтобы онъ направилъ его корабль на рифы или подводныя мели. Послѣ такого злого желанія наступаетъ раскаяніе. Припоминая наставленія Венеры, онъ терпѣливо сносить всѣ невзгоды, вызываемыя любовью: ожиданіе у закрытыхъ дверей подъ дождемъ, одинокія ночи и притворное веселье при за-таенномъ въ глубинѣ души горѣ; поэтъ обращается къ измѣнницѣ:

*Lydia, te propter nihil est, quod ferre recusem,
Seu faveas, seu tu sis inimica mihi,
En agedum, saevo mea pectora divide ferro,
Si merui et si te vulnera nostra juvant.
Si neque ego merui nec tu quoque sanguine gaudes,
Quid me sollicitum lenta perire sinis?*

Упомянутое объ униженномъ ожиданіи милостей отъ отвергнувшей его возлюбленной встрѣчалось намъ уже выше. Только здѣсь доходить онъ въ этомъ отношеніи до крайности. Онъ жертвуетъ своимъ самолюбіемъ, чтобы только избѣгнуть полнаго разрыва съ Лидіей. Въ рукописи Осмульскаго эта элегія значится седьмою второй книги ¹⁾. За исключеніемъ одного холоднаго двустипіа, пропущеннаго въ печати, разницъ между обоими текстами нѣтъ. Два стиха 23—24 взяты Кохановскимъ изъ первой элегіи первой книги Тибулла.

Въ слѣдующей элегіи (6, II) ²⁾ нашъ поэтъ проявляетъ гораздо больше чувства собственнаго достоинства. Эта элегія дышетъ гнѣвомъ и искреннимъ негодованіемъ. Здѣсь нѣтъ уже прежняго униженнаго, молящаго тона. Высоко поднявши голову, онъ смѣло проклинаетъ тотъ часъ, когда впервые встрѣтилъ свою недостойную возлюбленную и не заглянулъ въ ея душу. Теперь только онъ узналъ ее и, вмѣстѣ съ тѣмъ, овладѣлъ собою. Если-бы она даже умоляла его и плакала, онъ не вернется, уйдетъ отъ нея далеко за море. Онъ побѣдетъ, куда глаза глядятъ, куда понесутъ его вѣтры, лишь бы только не видѣть этихъ ненавистныхъ холмовъ. Морскимъ пучинамъ и скаламъ онъ будетъ жаловаться на свое горе. Ихъ можно будетъ легче смягчить, чѣмъ жестокое сердце Лидіи. А если-бы захотѣлъ онъ только вернуться къ ней, то пусть вѣтры потопятъ его тогда въ морской глубинѣ. Въ этой элегіи нѣтъ слѣдовъ заимствованія.

¹⁾ См. *Ateneum* 1891 г. т. II, стр. 18.

²⁾ См. *W. P.* III. 67.

Въ рукописи ей соотвѣтствуетъ восьмая второй книги ¹⁾. Разница между обоими текстами весьма незначительна. Громадный интересъ представляетъ слѣдующій вариантъ: вмѣсто стоящаго въ печати: „*invisos.... colles*“ здѣсь мы видимъ: „*euganeos.... colles*“, т. е. падуанскихъ холмовъ, по способу выраженія римскихъ поэтовъ. Слѣдовательно, эта элегія написана въ Падуѣ, а не въ Парижѣ, какъ стараются доказать Лёвенфельдъ, а за нимъ и Станиславъ Тарновскій ²⁾. Кромѣ вышеуказаннаго варианта мы имѣемъ въ ея заключеніи слѣдующую разницу: живое и правдивое выраженіе печатнаго текста: „утопите меня, вѣтры, если-бы я имѣлъ намѣреніе вернуться“ здѣсь отличается романтическимъ преувеличеніемъ: „не ждите, моряки, никакихъ вѣтровъ и не утруждайте рукъ вашихъ веслами—мой вздохъ подвинуть корабль, если-бы онъ даже и не хотѣлъ, до послѣднихъ береговъ моря и до антиподовъ“.

Семнадцатая элегія третьей книги ³⁾, хотя тамъ и не упоминается имени Лидіи, всетаки должна быть отнесена къ ней, такъ какъ это произведеніе проникнуто такимъ сильнымъ гнѣвомъ и негодованіемъ, которые предполагаютъ не менѣе сильную любовь къ той, на кого теперь негодуетъ поэтъ, а такое чувство, какъ намъ извѣстно, онъ питалъ въ Падуѣ только къ Лидіи. Въ этой элегіи онъ вспоминаетъ о прежней наукѣ у бородатаго магистра, который проповѣдывалъ, что не въ деньгахъ счастье. Повѣривши его словамъ, поэтъ никогда не стремился къ ихъ приобрѣтенію. Жадная возлюбленная научила его иному. Свою любовь цѣнила она за деньги. Тяжело уступать въ любви болѣе богатому, но другого исхода нѣтъ, такъ какъ подарковъ ничто не превозможетъ: въ желѣзной клѣткѣ была заперта Даная, но и тамъ нашелъ ее золотой дождь. Далѣе идутъ продолжительныя и общераспространенныя жалобы на золото, причину этихъ несчастій. Оканчиваются онѣ мольбой къ Амуру, чтобы онъ не позволялъ профанировать себя деньгами и жестоко каралъ всякую женщину, любящую ради однѣхъ только выгодъ. Такой женщинѣ поэтъ желаетъ всякихъ несчастій: чтобы она, состарившись, продолжала молодиться, возбуждая этимъ насмѣшки надъ собою; когда дверь ея будетъ застрахована отъ стука влюбленной молодежи

¹⁾ См. *Ateneum* 1891 г. т. II, стр. 18.

²⁾ *Op cit.* 102 p.

³⁾ См. *W. P.* III. 145.

и перестанетъ украшаться цвѣтами, пусть она примется за хорошо ей извѣстное ремесло старухъ—сворачивать невинность. Затѣмъ пусть дождется она нищенской жизни и тѣхъ болѣзней, которыя вызваны ею постыдной молодостью, а послѣ смерти ей будетъ мстить Церберъ и, въ наказаніе за свою ненасытность, пусть ей придется наполнять бездонную бочку Данаидъ. Но всѣ эти проклятія посылаетъ Бохановскій не по адресу своей возлюбленной:

Ast a te, o mea lux, sint ea fata procul,
Sint procul: idque adeo, si in me nil tu quoque peccas,
Sive etiam peccas, sit tibi mitis amor.

Этотъ прекрасный и нѣжный конецъ показываетъ, что поэтъ забылъ уже тѣ обвиненія въ склонности къ деньгамъ, которыми онъ осыпалъ свою возлюбленную въ началѣ элегіи, какъ видно изъ намека, что его иному, чѣмъ бородатый магистръ, учила „domina avaga“. Отсюда слѣдуетъ, что поэтъ хотя и сильно негодовалъ на нее, но все еще не переставалъ любить и надѣяться, что его подруга вернется на хорошую дорогу. Нѣсколько начальныхъ стиховъ проклятій взято имъ у Тибулла изъ четвертой элегіи второй книги.

Странно, что ни одинъ изъ критиковъ, разбирающихъ латинскія элегіи Кохановскаго, ни разу не указываетъ въ нихъ реминисценцій изъ Горація, которыя, между тѣмъ, встрѣчаются, хотя и въ ограниченномъ количествѣ. Напримѣръ, въ вышеприведенной элегіи стихъ:

Infinita agri jugera bobus aret

соотвѣтствуетъ Гораціевскому:

Paterna rura bobus exercet suis

Въ одиннадцатой элегіи второй книги¹⁾ поэтъ уже съ насмѣшкой говоритъ о своей любви. Успокоеніе ему опять приноситъ сонъ и, явившееся во снѣ, какое то божество. Это повтореніе того же самаго сюжета показываетъ, что Кохановскій въ данномъ случаѣ слѣдовалъ традиціонному приему и не гнался за новыми формами для изображенія своихъ мыслей. Однако между этими двумя элегіями лежитъ большая разница въ самомъ способѣ утѣшенія. Тамъ Венера учитъ его философскому взгляду на вещи: „разъ тебѣ выпало на долю пользоваться ласками возлюбленной, говоритъ она, что тебѣ до того, если

¹⁾ См. W P. III. 81.

и другому досталось то же". Такъ было при менѣ сильномъ и глубоко чувствѣ, а теперь утѣшеніе принимаетъ нѣсколько иной видъ. Какое то невѣдомое божество является поэту во снѣ и спрашиваетъ, хочетъ ли онъ навсегда остаться подъ своимъ любовнымъ ярмомъ, или стремиться къ освобожденію отъ него. Послѣ этого оно уноситъ поэта на скалу Левкату¹⁾ и говоритъ ему, что стоитъ только броситься отсюда въ море и послѣдуетъ немедленное исцѣленіе отъ любви. Однако здѣсь рѣчь идетъ не о самоубійствѣ. Бросившись въ море, поэтъ вынырнулъ оттуда вполне здоровымъ и свободнымъ отъ своей любви.

Неизвѣстно, служитъ ли это мѣсто простой риторической фигурой, или здѣсь описывается дѣйствительное событіе, или успокоеніе явилось благодаря чрезмѣрному отчаянію, или, можетъ быть, мысль о смерти Сафо была высшей точкой страданія, послѣ которой наступило облегченіе?

Затѣмъ поэтъ снова обращается къ Венерѣ съ усиленной просьбой оставить его въ покоѣ. Пусть она собираетъ себѣ рать изъ болѣе молодыхъ, чѣмъ онъ, и учитъ ихъ своей службѣ. Въ нихъ не будетъ недостатка. Ему же, старому ветерану на этомъ поприщѣ, пора бы уже отдохнуть и повѣсить свое оружіе у алтаря Ларовъ. Вѣдь и самъ императоръ²⁾, утомившись, передалъ власть своему брату. Не возвращаясь больше къ своему горю, поэтъ заканчиваетъ элегію прекрасными строками объ этомъ отреченіи. Нѣсколько начальныхъ стиховъ напоминаютъ четвертую элегію третьей книги Тибулла. Въ рукописи Осмульскаго эта элегія, также одиннадцатая второй книги³⁾, представляетъ весьма значительную разницу. Прежде всего, здѣсь нѣтъ романтическаго сна, во время котораго поэту является какое то божество и приноситъ ему облегченіе. Начинается элегія обращеніемъ къ Венерѣ, въ которомъ поэтъ отказывается имѣть съ нею какое-нибудь дѣло, отдаетъ ей свои одежды и ночные свѣтильники. Ему не хочется больше испытывать постоянныхъ перемѣнъ въ настроеніи духа, онъ собирается проводить ночи дома и въ полномъ одиночествѣ. Далѣе поэтъ совѣтуетъ Лидіи видѣть спокойные сны и не волновать себя никакими надеждами и опасеніями. Поэтъ гово-

¹⁾ Левката классическая скала, съ которой Сафо бросилась въ воду.

²⁾ Карль V.

³⁾ См. Ateneum 1891 г. str. 19.

рить ей, что онъ уже не заставитъ ее плакать надъ разбитыми дверьми и выслушивать отъ него угрозы, смѣшанныя съ просьбами. Ея пороги не будутъ больше украшаться зеленѣющими вѣнками и передъ дверьми не станетъ вздыхать хриплая флейта. „Довольно уже видѣлъ я измѣны, съ горечью продолжаетъ поэтъ, достаточно узнать вашу порочность и, кажется мнѣ, заслужилъ уже право на отдыхъ“. Самъ императоръ, удрученный старостью, сложилъ теперь скипетръ и передалъ бразды правленія своему брату. Такъ поступаетъ конь, когда, чувствуя упадокъ своихъ прежнихъ силъ, послѣ многолѣтнихъ трудовъ, уходитъ въ закрытое стойло, чтобы не лишиться приобрѣтенной славы и лавровъ, которые онъ стяжалъ себѣ нѣкогда на Олимпійскомъ полѣ. Обращаясь къ императору, съ восторгомъ восклицаетъ поэтъ: „о, отецъ, о, высокая поддержка падающихъ государствъ, о, рука, нивогда не слабѣющая въ защитѣ, собственно въ этомъ вѣкѣ слѣдовало бы тебѣ родиться, если-бы боги хотѣли благопріятствовать міру“. Ибо никогда не было большихъ раздоровъ и земля не напивалась кровью до такой степени. Мы видѣли, какъ враждебныя предзнаменованія губили королей, какъ рабы возставали противъ своихъ повелителей. Мы были свидѣтелями религіозныхъ возмущеній, когда за новую вѣру поднималось нечестивое оружіе. Даже алтари боговъ разрушило дикое поколѣніе, а святыни сравняло съ землей. Зачѣмъ вспоминать въ пѣсни тѣ пораженія, которыя нанесъ Гета многочисленнымъ городамъ? Одинъ только императоръ являлся среди этихъ возмущеній, какъ божество, горячо призываемое во время бури на морѣ. Только онъ могъ соединить въ союзы несогласныхъ между собою гражданъ, отомстить за поруганіе древней религіи. При видѣ его турки обратились въ позорное бѣгство. Онъ посылалъ за моря могучія флотиліи и водрузилъ славные трофеи на Африканской землѣ. Непобѣдимый на войнѣ, онъ былъ ласковъ со своими непріятелями, чего не стануть отрицать ни французъ, ни дикій саксонецъ. „Теперь, заканчиваетъ поэтъ свое обращеніе къ императору, пресытившись жизнью и славой, ты ожидаешь съ душевнымъ спокойствіемъ послѣдней судьбы и твоего дня, который, не вопреки твоей волѣ, избавитъ тебя отъ этихъ смертныхъ узъ и поставитъ въ блестящихъ чертогахъ высочайшаго неба, гдѣ великій Алкидъ, Либеръ и самъ Квиринъ царятъ вмѣстѣ съ необъятнымъ Юпитеромъ. Но мы не станемъ оплакивать ни твоей старости, ни твоего праха, ибо своими заслугами ты будешь жить во всѣ времена“.

Изъ этой элегіи видно, какое очарованіе производила на Кохановскаго личность Карла V въ той именно Италиі, гдѣ было столько живыхъ воспоминаній о побѣдахъ его въ Павіи, Римѣ, Тунисѣ и далеко въ Алжирѣ. Много лѣтъ спустя, когда нашъ поэтъ у себя на родинѣ уже успѣлъ забыть о томъ обаяніи, которое нѣкогда производила на него личность императора, такой восторженный отзывъ показался ему не вполне умѣстнымъ и онъ, приготовляя свои стихотворенія къ печати, сократилъ заключеніе этой элегіи.

Эпилогомъ любви къ Лидіи нужно считать элегію къ Оссолинскому (7, III) ¹⁾, котораго поэтъ благодаритъ за оказанную ему матеріальную и нравственную помощь въ исцѣленіи его отъ любви, которую Кохановскій называетъ здѣсь глупостью (*stultitia*). Однако достигнуть этого было не легко. Поэтъ перечисляетъ различныхъ боговъ и героев, сходившихъ съ ума отъ этого чувства. Тѣмъ болѣе тяжело было бороться съ любовью ему, такъ какъ голову его украшаетъ не стальной племъ, а мягкіе листья плюща. Отсюда изъ выраженія *flava coma* мы узнаемъ, что поэтъ былъ блондиномъ. (19—26=Tib. III. 3).

Не одна только любовь къ Лидіи занимала нашего поэта въ теченіе послѣднихъ лѣтъ его жизни въ Падуѣ. Дружескія отношенія, которыя связывали Кохановскаго съ нѣкоторыми изъ его земляковъ, также находили выраженіе въ произведеніяхъ нашего поэта. Такова, на примѣръ, седьмая элегія первой книги ²⁾, въ которой поэтъ приглашаетъ Мѣлецкаго снять оружіе и воспользоваться благами мирной жизни. Самъ Марсъ оставлялъ иногда свои доспѣхи, и Геркулесъ снималъ лъвиную шкуру и клалъ въ сторону свою палицу. Не стыдно послѣдовать ихъ примѣру и насладиться мирными днями. Два стиха заимствованы изъ второй элегіи первой книги Проперція. Ясное упоминаніе взятія Сіены заставляеть отнести эту элегію къ 1555 году. Въ рукописи Осмульскаго ей соотвѣтствуетъ пятая первая книги ³⁾. Печатный текстъ значительно расширенъ. Въмѣсто послѣдняго четверостишія мы читаемъ слѣдующій вариантъ: „тогда, Мѣлецкій, пусть сохранять тебя вездѣ невредимымъ твоя храбрость, счастье и Богъ, чтобы я видѣлъ, какъ ты будешь возвращаться побѣдителемъ съ величайшей славой и исполнишь обѣты, данные великимъ

¹⁾ См. W. P. III. 112.

²⁾ См. W. P. III. 21.

³⁾ См. Ateneum 1891 г. t. II, str. 7.

богамъ. Будучи неспособнымъ къ борьбѣ и непривычнымъ владѣть храбрымъ оружіемъ, я долженъ постоянно любить, чтобы не найдется въ праздности“.

Будучи въ зависимости отъ гетмана Яна Тарновскаго, поэтъ долженъ былъ давать ему отчетъ о своихъ падуанскихъ занятіяхъ. Въ пятой элегии первой книги¹⁾, обращаясь къ нему, Кохановскій говоритъ: „не стыдись, если свое имя найдешь въ моихъ стихахъ. Я не Пиндаръ и не Гомеръ, но Фебъ не запрещаетъ мнѣ входа въ Касталійскій гротъ. Если благосклоннымъ взоромъ ты взглянешь на мои стихи, то я не теряю надежды вывести древнихъ героев на битвы и воспѣть твои побѣды. Только теперь позволю мнѣ итти своей дорогой и, пока первый огонь горитъ въ востяхъ, продолжать то, что я началъ вдали отъ лагеря и трубнаго звука, получать пьяные знаи ночныхъ прогуловъ. Пусть тѣмъ временемъ растутъ Фебовы лавры, на сегодня довольно съ меня увѣнчать мою голову миртомъ“.

Въ рукописи Осмульскаго эта элегія значится четвертой первой книги²⁾. Заключение ея находится въ очень слабой связи съ цѣлымъ. „Боже-ственная Эрато, говоритъ поэтъ, такъ какъ твое имя противорѣчитъ тому, чтобы у тебя было суровое сердце, будь снисходительна къ моему творчеству. Для стиховъ на долгое время прибавляй мнѣ силы, для стиховъ, которые бы хвалила Киприда, которые хвалила бы сама любовь. Пусть другіе ставятъ пирамиды и колоссы, пусть выбиваютъ имена на твердомъ мраморѣ, въ теченіе лѣтъ упадутъ скалы, время уничтожить мраморъ, одна только слава музъ не знаетъ смерти“.

(Послѣднее четверостишіе заканчиваетъ элегію въ Оссолинскомъ 7. III). Въ рукописи поэтъ говоритъ, что въ Касталійскомъ гротѣ ему будетъ принадлежать лучшее мѣсто послѣ древнихъ Галловъ (рѣчь идетъ о римскомъ лириѣ Корнелии Галлѣ) и Тибулловъ. Въ печатномъ текстѣ онъ выражается о себѣ скромнѣе. Кромѣ того въ рукописи Осмульскаго Кохановскій говоритъ, что теперь хочетъ быть твердымъ въ эротической поэзіи, но въ послѣдствіи надѣется совладать и съ эпосомъ, чего, какъ намъ извѣстно, ему не удалось осуществить. Въ рукописи вмѣсто словъ: „пьяныхъ знаковъ ночной прогулки“ мы читаемъ: „позволь мнѣ слѣдовать дорогой, по которой шелъ Мимнермъ“ (поэтъ).

¹⁾ См. W. P. III. 16.

²⁾ См. Ateneum 1891 r. t. II, str. 7.

Къ сыну Яна Тарновскаго, Кшиштофу, относится первая элегія первой книги ¹⁾ и въ печатномъ текстѣ, и въ рукописи ²⁾. Въ обѣихъ редакціяхъ Кохановскій говоритъ, что любовь его сдѣлала поэтомъ, при чемъ въ печатной онъ поддается рефлексіи своихъ товарищей, а въ рукописи, обращаясь къ Кшиштофу, останавливается на высшей цѣли поэта.

Еще одинъ вопросъ затронуть Кохановскимъ въ рукописныхъ элегіяхъ Осмульскаго девятой и десятой первой книги ³⁾, которыя посвящены религиознымъ убѣжденіямъ нашего поэта. Въ девятой онъ, прежде всего, благодаритъ Лидію за участіе, которое она оказала ему въ его мнимомъ несчастьи: пронесся ложный слухъ, что поэтъ внезапно исчезъ. Многіе склонны видѣть въ этомъ дурное предзнаменованіе, но поэтъ не боится его, такъ какъ онъ готовъ охотно лишиться жизни, если только этого захочетъ судьба. Теперь же онъ желаетъ веселиться вмѣстѣ съ Лидіей и наслаждаться взаимной любовью. Настанетъ время, когда придется измѣнить образъ жизни. Поэту предоставленъ выборъ между званіями юриста, философа и священника. Послѣднее званіе наводитъ его на вопросы о церкви, о спасеніи, о чистилищѣ, постѣ, безбрачїи духовенства и Антихристѣ. Заключивается элегія насмѣшкой поэта надъ своей влюбчивостью.

Вопросъ о мѣстопробываніи церкви рѣшается поэтомъ согласно съ католическимъ догматомъ. Зависитъ ли спасеніе отъ милости Божьей, или отъ нашихъ заслугъ, Кохановскій не рѣшилъ. Протестантскимъ характеромъ отличается его невѣріе въ силу постовъ, чистилище и безбрачїе духовенства. За то въ вопросѣ объ отнесеніи Антихриста и признаковъ его пришествія къ современной католической церкви онъ скорѣе примыкаетъ къ противникамъ протестантства. Въ этой элегіи онъ занимаетъ колеблющееся положеніе, какъ большинство образованныхъ поляковъ того времени до Тридентскаго собора, въ особенности же мало-польскіе магнаты: Тарновскіе, Тенчинскіе и др.

Эти взгляды приобрѣлъ Кохановскій еще на родинѣ, живя при дворѣ Тарновскаго, такъ какъ въ Италїи жизненные условія не благопрїятствовали распространенію реформаціонныхъ идей, которыя,

¹⁾ См. W. P. III. 4.

²⁾ См. Ateneum 1891 г. t. II, str. 5.

³⁾ Ibid. p. 9.

ко времени прибытія нашего поэта въ Падую, окончательно успѣли заглухнуть.

Слѣдующая десятая элегія рукописи ¹⁾ касается также религіозныхъ вопросовъ.

По словамъ поэта, израильскій народъ подъ предводительствомъ Божьимъ перешелъ Черное море, пилъ воду изъ скалъ и получалъ пищу изъ воздуха. Безразсудно отвернувшись отъ своего Бога, Израиль не дошелъ до обѣтованной земли и только просьбы его пастыря сохранили народъ отъ болѣе суровой кары. Въ настоящее время случилось совершенно обратное явленіе: народъ терпитъ гнѣвъ Божій за вины своихъ пастырей. Прежде всего поэтъ отмѣчаетъ симонію, торговлю тайнствами и бенефиціями, затѣмъ безпросыпное пьянство священниковъ, которое не даетъ имъ выслушать горестныхъ жалобъ бѣдности. Не меньшимъ зломъ является безбрачіе духовенства и жадность въ деньгамъ, за которыя прощается даже богохульство. Таково низшее духовенство. Самъ глава церкви, Павелъ IV, не лучше ихъ. Будучи непримиримымъ врагомъ Габсбурговъ и испанцевъ, онъ сѣдетъ въ Италіи всевозможныя смуты, ссоритъ Генриха II и Филиппа, словомъ, прибѣгаетъ ко всякимъ средствамъ, лишь бы только добиться верховныхъ правъ Рима надъ Неаполемъ, резиденціей герцога Альбы. Христосъ запретилъ апостолу Петру браться за мечъ даже въ защиту своего Господа, а Его намѣстникъ обогрени кровью десницей сражается ради временныхъ благъ. Борьба, о которой говоритъ поэтъ, тянулась отъ осени 1556 до лѣта 1557 года. Къ этому времени и должна быть отнесена вышеупомянутая элегія.

Если до конца падуанской жизни не заглохли въ Кохановскомъ приобрѣтенныя имъ на родинѣ религіозныя воззрѣнія, значитъ, они пустили въ его душѣ глубокіе корни, что еще больше подтверждаетъ раньше высказанное нами мнѣніе о вліяніи на Кохановскаго реформаціоннаго движенія, а также и гипотезу о жизни его при дворахъ мало-польскихъ пановъ, которые придерживались въ религіозныхъ вопросахъ такихъ же взглядовъ, какъ нашъ поэтъ.

Однако, Кохановскій не примкнулъ всецѣло въ протестантамъ. Онъ согласился съ ними только въ вопросѣ о безбрачіи духовенства, симоніи, свѣтской власти папъ, постахъ и чистилищѣ, въ остальныхъ

¹⁾ Ibid. p. 11.

же догматахъ онъ остался вѣренъ католической церкви, такъ какъ, въ качествѣ гуманиста, и не старался глубже вникнуть въ ихъ сущность.

Во время написанія этихъ элегій Кохановскій, можетъ быть, надѣялся на примиреніе враждующихъ партій, но, спустя двадцать съ лишнимъ лѣтъ, онъ увидѣлъ на родинѣ, съ одной стороны тающія горсточки протестантовъ, съ другой—католическое большинство народа. Тогда онъ, глубоко затаивши свои убѣжденія, применилъ къ послѣднему, которому въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ и самъ сочувствовалъ. Послѣ этого онъ не считалъ для себя удобнымъ печатать эти элегіи, чѣмъ и объясняется ихъ присутствіе только въ рукописи Осмульскаго.

Всѣ только что разсмотрѣнныя нами элегіи тѣмъ отличаются отъ болѣе раннихъ, что въ первыхъ индивидуальность поэта выступаетъ ярче, онъ не стѣсняется отступать иногда отъ гуманистической условности даже въ описаніяхъ внѣшности своей возлюбленной, а, что еще важнѣе, онъ прямо и опредѣленно высказываетъ свои мысли, чувства и даже убѣжденія. вмѣстѣ съ болѣе совершенной литературной формой только что указанныя нами черты ставятъ эти элегіи на значительную высоту, по сравненію даже съ образцами, у которыхъ учился Кохановскій.

Кромѣ того, рукопись Осмульскаго съ точностью позволяетъ установить хронологическую дату романа съ Лидіей (1556 г.), что окончательно лишаетъ данный фактъ фантастическаго характера, присвоеннаго ему нѣкоторыми критиками. вмѣстѣ съ тѣмъ, личность Лидіи получаетъ новое освѣщеніе. Не смотря на всѣ ея нравственные недостатки, она оказывается настолько умной женщиной, что поэтъ не колеблется повѣдать ей свои религіозныя убѣжденія и совѣтуется съ ней о выборѣ для себя карьеры. Словомъ, въ эту эпоху жизни нашего поэта, Лидія имѣла для него громадное значеніе и даже вызвала къ жизни его польскую музу.

IV.

Польскія стихотворенія, посвященныя Лидіи. Фрашка 77 второй книги. Фрашка 91 той же книги. 77 фрашка первой книги. X пѣснь Фрагментовъ. 88 фрашка второй книги. 28 третьей книги. VII пѣснь Фрагментовъ. Пѣснь IV первой книги. VII пѣснь первой книги. VIII той же книги. 70 фрашка второй книги. 19 фрашка третьей книги. 75 фрашка второй книги. 26 фрашка третьей книги. XII пѣснь первой книги. XV пѣснь той же книги. XXI той же книги. XXV той же книги. 39 фрашка первой книги. XI пѣснь Фрагментовъ. 51 фрашка второй книги. 59 фрашка той же книги. XXIII пѣснь первой книги. 73 фрашка первой книги. XXII пѣснь первой книги. 69 фрашка II кн.

Не одни только латинскія стихотворенія писалъ Кохановскій въ честь своей возлюбленной. По собственнымъ словамъ поэта, его „новая славянская муза“ также принесла Лидіи свою дань. Однако нѣтъ возможности съ безусловной достовѣрностью опредѣлить, какія именно изъ дошедшихъ до насъ его польскихъ произведеній написаны въ этомъ періодѣ. Здѣсь опять, какъ и почти во всемъ, что касается жизни и литературной дѣятельности нашего поэта, намъ представляется широкій просторъ для всевозможныхъ предположеній и догадокъ. Постараемся же пролить хоть какой-нибудь свѣтъ на этотъ темный и, вмѣстѣ съ тѣмъ, глубоко интересный вопросъ.

Для построенія нашей гипотезы, прежде всего, мы пользуемся словами самого поэта:

Omnes ex animo penitus jam deleo formas,
 Diversis memini quas stupuisse locis,
 Huic, si quid blandum spirant mea carmina, debent,
 Huic Latia atque *recens slavica Musa* canit.

(VI эл. I кн.)¹⁾

Изъ этого же источника мы знаемъ, что тѣ польскія стихотворенія, о которыхъ говоритъ Кохановскій, были написаны имъ въ Лидіи. Слѣдовательно, по своему содержанію они должны близко стоять къ посвященнымъ ей элегіямъ. Общей темой для тѣхъ и другихъ должно быть описаніе различныхъ стадій любви. Внѣшнимъ ихъ признакомъ нужно считать, сравнительно слабое, выраженіе въ нихъ индивидуальности поэта и склонность къ подражанію классическимъ и итальянскимъ авторамъ.

¹⁾ См. W. P. III t 19 str.

Руководствуясь такими соображеніями, прежде всего, мы старались найти въ польской лирикѣ Кохановскаго стихотворенія эротическаго содержанія, изъ которыхъ мы выбрали наиболѣе близкія къ его латинскимъ элегіямъ. Въ томъ же порядкѣ, какъ Лёвенфельдъ и Тарновскій расположили латинскія элегіи къ Лидіи, и мы распредѣляемъ польскія стихотворенія, при чемъ необходимо замѣтить, что здѣсь мы ни разу не встрѣтили имени Лидіи, вмѣсто котораго стоятъ различныя имена.

Не смотря на это, мы, всетаки, относимъ ихъ къ одному лицу, такъ какъ самое имя Лидіи въ латинскихъ элегіяхъ могло быть ни больше ни меньше, какъ псевдонимомъ. Если такъ, то ничто не мѣшало поэту и въ его польскихъ стихотвореніяхъ употреблять нѣсколько псевдонимовъ для обозначенія одного имени своей возлюбленной, которая, по всей вѣроятности, будучи иностранкой, даже никогда не читала этихъ произведеній. Они, вѣроятно, распространялись только въ кружкѣ самыхъ интимныхъ друзей поэта. Его романъ описанъ здѣсь почти такъ же, какъ и въ латинскихъ элегіяхъ.

Только что избавившись отъ несчастной любви, поэтъ снова въ 77 фразеѣ II кн. „Do Boginie“¹⁾ обращается къ богинѣ, которая по своему произволу, при помощи любви, играетъ людскими сердцами, съ мольбою, чтобы она не возвращала его къ первоначальной свободѣ, такъ какъ онъ не можетъ жить безъ любви. Поэтъ даетъ обѣщаніе, если онъ избѣгнетъ и этого новаго тяжкаго ярма, поставитъ въ храмѣ Венеры золотую пальму съ надписью:

Tobie o można Wenus jestem dana,
Ześ zbydź pomogła niewdzięcznego pana.

Эта фразея написана одиннадцатисложнымъ стихомъ.

Въ 91 фразеѣ II кн. „O miłości“²⁾ поэтъ выражаетъ удивленіе тому, кто первый началъ изображать любовь въ видѣ ребенка — Амура. Онъ, видно, хорошо зналъ, что благодаря этому чувству люди теряютъ умъ, становятся какъ дѣти и дѣлаютъ такія же глупости, какъ и послѣднія. Не даромъ придалъ онъ крылья Купидону, какъ знакъ его быстрой измѣчивости, и стрѣлы, которыя указываютъ на его способность причинять глубокія и неисцѣлимыя раны. Поэтъ говоритъ,

¹⁾ См. W. P. II. 388.

²⁾ См. W. P. II. 392.

что и въ немъ поселился этотъ божокъ, только крылья, вѣроятно, отпали у него, такъ какъ онъ нигде не хочетъ улетать. Обращаясь въ Амуру, поэтъ удивляется, какое удовольствіе доставляетъ ему сидѣть въ его сухихъ костяхъ и не поражать другихъ своими стрѣлами, такъ какъ отъ поэта давно уже осталась одна только тѣнь; если и она погибнетъ, кто будетъ тогда такими красивыми стихами воспѣвать любовь? Подобный же мотивъ затронуть въ 9 элегии I книги. Эта фразка является подражаніемъ Проперцію (Lib. III sagm. 12) и написана тринадцатисложнымъ стихомъ.

Оправдывая свою влюбчивость молодостью, поэтъ въ 77 фразкѣ первой книги „*Na młodość*“¹⁾ говорить:

*Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,
Którzy chcą żeby młodzi nie szaleli.*

Ту же мысль мы встрѣчали въ третьей элегии первой книги.

Въ X пѣсни фрагментовъ²⁾ поэтъ говоритъ, что Парисъ по справедливости присудилъ золотое яблоко красивѣйшей изъ трехъ богинь—Венерѣ. Также и поэтъ считаетъ самой красивой изъ всѣхъ смертныхъ свою возлюбленную. (Нѣсколько сильнѣе выражена эта мысль въ 12 эл. I кн.). Обращаясь къ ней, онъ говоритъ:

*Służyć i hołdować tobie
Kładę ja za szczęście sobie,*

при чемъ просить не сомнѣваться въ своей вѣрности:

. *póki ducha we mnie
Nie masz jeno służę zemnie.*

Послѣдній мотивъ затронуть во многихъ латинскихъ стихотвореніяхъ Кохановскаго, напр. 8, III. 14, III и др. Пѣснь написана восьмисложнымъ стихомъ, имѣющимъ характеръ трохея.

Находясь подъ вліяніемъ античныхъ авторовъ, лучшаго выраженія для своей любви онъ не могъ найти, какъ извѣстное стихотвореніе Катулла:

*Ille mi par esse deo videtur,
Ille si fas est superare divos,
Qui sedens adversus identidem te*

¹⁾ См. W. P. II. 357

²⁾ См. W. P. II. 474.

Spectat et audit

Dulce ridentem

которое въ свою очередь переведено изъ Сафо:

„Φαίνεται μοι κῆνος ἴσος θεοῖσιν
ἔμμεν ὄνηρ, ὅστις ἐναντίος τοι
ἰζάνει καὶ πλασίον ἄδου φωνευ-
σας ὑπακούει,
καὶ γελίσας ἡμερόεν“.

Въ своемъ переводѣ этого стихотворенія (Fr. II. 88. Do Anny) ¹⁾ Кохановскій съ самаго начала придерживается Катулла, съ той только разницей, что выраженія „*par deo*“ и „*si fas est superare divos*“ замѣнилъ онъ болѣе слабымъ:

Królowi rowien—i króla przechodzi.

Въ дальнѣйшемъ текстѣ стихъ:

Słowa nie mogą domagać się w sobie

стоитъ ближе къ выраженію Сафо: *φῶνας οὐδὲν ἔτ' εἶχει*. Послѣдніе два стиха у Кохановскаго соотвѣтствуютъ не той строфѣ, которая заканчиваетъ стихотвореніе Катулла и не вяжется съ его цѣлымъ, а скорѣе греческому тексту Сафо:

ἀ δὲ μ, ἰδρωσ καχχέεται, τρόμος δὲ
πᾶσιν ἄγρει, χλωρότερα δὲ ποίας
ἔμμι, τεθνάκην δ'ὀλίγω 'πιδεύης
φαίνομαι (ἄλλα).

Такое отступленіе отъ Катулловскаго текста, который былъ въ рукахъ у Кохановскаго, показываетъ развитіе въ немъ критическаго чувства. Переводя чужое произведеніе, онъ вносилъ въ него свои собственныя мысли и чувства. Съ греческимъ текстомъ Сафо онъ могъ познакомиться, если не по парижскому изданію Генриха Стефана (*Editio princeps* Анакреона, Алкея и Сафо) 1554 года, то по венеціанскому изданію Катулла того же года, гдѣ его текстъ сопоставленъ съ Сафо комментаторомъ Маркомъ Антуаномъ Мюре. (Такъ наз. „*Editio Aldina*“).

28 фразеа третьей книги „*Do Magdaleny*“ ²⁾, проникнутая страстнымъ чувствомъ и посвященная въ высшей степени пластическому описанію женской красоты, близко подходитъ къ предыдущей

¹⁾ См. W. P. II. 391.

²⁾ См. W. P. II. 414.

по своему содержанию. Изъ нея мы узнаемъ, что возлюбленная поэта была блондинкой съ золотистыми волосами.

Эта подробность встрѣчалась уже въ латинскихъ элегіяхъ нашего поэта къ Лидіи.

Ukaż mi się, Magdaleno, ukaż twarz swoję,
Twarz, która prawie wyraża różą oboję,
Ukaż *złoty włos* powiewny, ukaż swe oczy,
Gwiazdóm równe
I rękę alabastrową, w której zamknięte
Serce moje

воскликаетъ восхищенный поэтъ, но тотчасъ послѣ этого онъ сознается въ безуміи своего желанія. Уже и такъ, отъ созерцанія всѣхъ этихъ прелестей, онъ потерялъ всякую власть надъ собою. „Mowy niemat“, говорить онъ:

. płomień po mnie tajemny chodzi,
W uszu dźwięk a noc dwoista oczy zachodzi.

Послѣднія строки очень напоминаютъ Катулла, а также и предыдущее стихотвореніе самого нашего поэта, гдѣ встрѣчается совершенно аналогичное выраженіе:

. płomień się w mię kradnie,
W uszu mi piszczy, noc przed oczy padnie.

Описаніе возлюбленной, почти въ тѣхъ же самыхъ словахъ, не исключая и упоминанія о золотыхъ волосахъ, мы видѣли уже въ 12 элегіи I книги.

Эта фразка написана очень сильнымъ и красивымъ тринадцатисложнымъ размѣромъ и служитъ подражаніемъ одному стихотворенію изъ латинской антологіи ¹⁾).

Не смотря на всѣ горячія признанія поэта, его возлюбленная не давала ему рѣшительнаго отвѣта, продолжая кокетничать съ нимъ. Недовольный такимъ положеніемъ, онъ, въ VII пѣсни Фрагментовъ ²⁾), желаетъ ей встрѣтиться съ несчастьемъ, за то что она ничего не общаетъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ни въ чемъ не отказываетъ, утѣшая его только пустыми словами. Она все чего-то боится. Поэтъ говоритъ, что ему съ ней не мало хлопотъ и что кажется она шутить съ нимъ.

¹⁾ См. Anthol. latina ed. Burm. I. 651.

²⁾ См. W. P. II. 471.

„Nie karmże mię już tą nadzieją dalej,
Raczej mi powiedź: mój miły nie szalej“.

говорить ей влюбленный поэтъ.

Это очень живая пѣсенка, написанная красивымъ и выразительнымъ одиннадцатисложнымъ стихомъ. Каждая строфа, состоящая изъ двухъ стиховъ, сопровождается слѣдующимъ рефреномъ:

Biadasz mnie na cię, to mi głowę psujesz,
Inaczej niewiem, jeno mię czarujesz.

Наконецъ, сердце возлюбленной уступило горячимъ мольбамъ поэта. Его любовь нашла себѣ полную взаимность, и для Кохановскаго настала пора безмятежнаго счастья, которое онъ описываетъ яркими красками въ четвертой пѣсни первой книги ¹⁾).

Золотую стрѣлу любви, которая поразила его, поэтъ считаетъ лишенной всякаго яда, такъ какъ въ своемъ сердцѣ онъ не видитъ уже прежней тоски, которую замѣнила невыразимая радость. Поэтъ доволенъ тѣмъ, что любовь избавила его отъ величайшаго несчастья служить тому, кто не благодаритъ за это. Прелести возлюбленной, и тѣлесныя, и духовныя, таковы, что передъ ними нѣтъ никакой возможности устоять даже тому, кто не хотѣлъ бы ей служить. Самое пламенное желаніе поэта—вѣчно пользоваться взаимностью своей возлюбленной.

Chciałbym tak być szczęśliwy i życzyłbym sobie,
Abych już tę na wieki łaskę znał po tobie:
A bodaj ta wdzięczna twarz odmiany nie znała,
Byś dobrze i Sibyllę laty przerównała.

Эта пѣснь нѣсколько напоминаетъ 11 элегію I книги и написана тринадцатисложнымъ размѣромъ съ цезурой послѣ седьмого слога. Стихъ отличается выработанностью и звучностью. Встрѣчаются очень образныя и красивыя выраженія. Двѣ послѣднія строки представляютъ переводъ 15 и 16 стиховъ 2 элегіи II книги Проперція.

Не долго пришлось нашему поэту наслаждаться безоблачнымъ счастьемъ. Первымъ тяжелымъ для него впечатлѣніемъ была разлука съ возлюбленной. Тоску по ней Кохановскій передалъ въ одномъ изъ лучшихъ своихъ стихотвореній VII пѣсни первой книги ²⁾).

Trudna rada w tej mierze, przijdzie się rozjechać

¹⁾ См. W. P. I. 272.

²⁾ См. W. P. I. 276.

съ глубокой грустью говоритъ поэтъ, собираясь оставить веселье и лютню до возвращенія своей милой. Обращаясь въ воспоминаніямъ о своей возлюбленной, поэтъ сравниваетъ ея лицо съ утренней зарею, передъ которой меркнуть ясныя звѣзды. Онъ завидуетъ дорогѣ, по которой будутъ идти ея красивыя ноги, густымъ лѣсамъ и высокимъ скаламъ, которые будутъ созерцать ея красоту, слышать ея милый голосъ, по которымъ тоскуетъ его бѣдное сердце. Единственнымъ утѣшеніемъ для поэта остается надежда:

W nadzieję ludzie ogą, i w nadzieję sieją.

Стихотвореніе заканчивается просьбой къ возлюбленной не быть съ нимъ суровой и не оставлять его долго лишеннымъ наслажденія видѣть ея красоту. (Мотивъ объ отъѣздѣ возлюбленной встрѣчался уже въ 13 элегии первой книги). Все это стихотвореніе пронизано сильнымъ и глубоко искреннимъ чувствомъ. Тринадцатисложный стихъ съ цезурой послѣ седьмого слога отличается рѣдкой отдѣланностью. Языкъ такъ и блещетъ красивыми оборотами и образностью, какъ видно, напримѣръ, изъ слѣдующаго сравненія:

Twoje nadobne lice jest podobne zarzy,
Która nad wielkim morzem gano się czerwieni,
A z nienagła ciemności nocne w światłość mieni,
Przed nią gwiazdy drobniejsze po jednej znikają
I tak już przyszłej nosy nieznacznie czekają.

На ряду съ этимъ стихотвореніемъ по формѣ и по содержанию можетъ быть поставлена VIII гдѣсь той же книги ¹⁾. Тоскуя по возлюбленной, поэтъ желаетъ, чтобы ей, гдѣ бы она ни была, Богъ послалъ счастье. О себѣ говоритъ онъ:

Jasiem twój był, jako żywo, i twoim zginę.

Такъ Богъ предопредѣлилъ отъ вѣка. Объ этомъ поэтъ нисколько не жалѣетъ, такъ какъ при внѣшней красотѣ его возлюбленная одарена также высокими духовными качествами. Ему хотѣлось бы, не разлучаясь съ нею, еще больше убѣдиться въ этой мысли, но человѣкъ долженъ въ жизни, подобной бурному морю, плыть туда, куда его несетъ вѣтеръ. Все таки поэтъ выражаетъ надежду на исполненіе своего желанія, надежду, безъ которой онъ умеръ бы. Въ этомъ стихотвореніи заключается частица горечи уже разъ обманутаго, человѣка, какъ видно изъ слѣдующихъ стиховъ:

¹⁾ См. W. P I 277.

*Jednak albo miłość zmysła sny sama sobie,
Albo i ty niechcesz, bych miał zwępić o tobie.*

Такъ не говорилъ бы юноша, счастливый своей первой любовью. Это стихотвореніе также должно быть отнесено къ однимъ изъ лучшихъ въ лирикѣ Кохановскаго, благодаря своей образности и силѣ чувства. Упомянаніе о нравственныхъ качествахъ возлюбленной мы видѣли въ 12 элегій I книги. Желаніе поэта остаться вѣрнымъ до гроба уже встрѣчалось намъ въ его латинской поэзіи.

Въ 70 фразкѣ второй книги ¹⁾ поэтъ выражаетъ также тоску по возлюбленной, безъ которой какъ бы зашло для него солнце. А когда она была съ нимъ, и въ полночь казалось ему, что день на небѣ. Подобный мотивъ мы уже видѣли въ четвертой элегій первой книги. Это четверостишіе написано тѣмъ же размѣромъ, что и двѣ предыдущія гѣсни, и отличается такими же литературными достоинствами.

Не будучи въ силахъ перенести тоски своего одиночества, поэтъ пишетъ возлюбленной письмо (фразка 19 III книги „Do Reiny“ ²⁾), въ которомъ называетъ ее своей королевой, говоритъ, что рѣшился написать ей, въ надеждѣ доставить ей этимъ удовольствіе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, хоть сколько-нибудь развлечься самому. Поэтъ завидуетъ своему письму, которое будетъ въ ласковыхъ рукахъ его возлюбленной. Быть можетъ, она поцѣлуетъ этотъ маленькій листокъ бумаги. Заканчиваетъ поэтъ свое письмо сожалѣніемъ, что человекъ не обладаетъ волшебной силой превращаться въ свои произведенія. Это стихотвореніе написано одиннадцатисложнымъ размѣромъ. Чувство въ немъ не отличается той непосредственной искренностью, какъ въ предыдущихъ стихотвореніяхъ. Оно носитъ скорѣе условный характеръ произведенія, созданнаго по готовому шаблону распространенныхъ въ то время эротическихъ стихотвореній.

Сколько времени продолжался счастливый періодъ любви поэта, на основаніи его стихотвореній нѣтъ никакой возможности опредѣлить даже приблизительно. Извѣстно только, что возлюбленная стала охлаждать къ нашему поэту. Тщетно ждалъ ея Кохановскій въ условленный между ними часъ тайнаго свиданія. Она не приходила, повергая поэта въ глубокое огорченіе. Мы видѣли уже упоминаніе объ этомъ въ его латинскихъ элегійхъ и въ польскихъ стихотвореніяхъ.

¹⁾ См. W. P. II. 386.

²⁾ См. W. P. II. 410.

мы имѣемъ 75 фразку второй книги „Do Anny“¹⁾, гдѣ поэтъ говоритъ, обращаясь къ возлюбленной, что онъ вчера послѣ тщетнаго ожиданія написалъ ей

Ten gum niegładki, zkaǳbyś serca mego
Frasunk rozpała

Здѣсь, по всей вѣроятности, идетъ рѣчь о вышеприведенной десятой элегии первой книги. Ожидая возлюбленную, поэтъ считалъ часы и старался найти причину ея замедленія. За какое дѣло онъ ни принимался. читать ли, или играть на лютнѣ, все ему не удавалось. Наконецъ, взявшись за перо, онъ сталъ писать ей, укоряя ее за то, что она, дочь правдиваго отца, рѣшилась солгать. За этимъ занятіемъ его застала сонъ, который

Gniew upokoił, nadzieję umorzył.

Изъ этой фразки мы узнаемъ одну біографическую подробность о возлюбленной поэта: она была, какъ видно, дочерью хорошихъ родителей, чѣмъ, вѣроятно, и объясняется ея переодѣваніе въ мужской костюмъ и стараніе сохранить свое инкогнито. Очевидно, она не была простой куртизанкой, какъ стараются доказать нѣкоторые изъ біографовъ Кохановскаго. По сравненію съ аналогичной по содержанию десятой элегіей, это стихотвореніе стоитъ гораздо ниже, въ немъ меньше силы и выразительности; оно, вѣроятно, написано уже послѣ, въ минуту рефлексіи, хотя нельзя ему отказать въ искренности тона и выдержанности одиннадцатисложнаго стиха.

Поэтъ не видитъ настоящей причины ея холодности въ нему, которую онъ объясняетъ въ 26 фразкѣ третьей книги „O Necie“²⁾ тѣмъ, что она слишкомъ гордится своей красотой, не благодаритъ за привѣтствія и съ пренебреженіемъ топчетъ ногами повѣшенный надъ ея дверью вѣнокъ. (Упомянутіе о вѣнкахъ встрѣчалось намъ въ 17 элегии III кн. и 11, II). Въ наказаніе за это поэтъ призываетъ на ея голову старость со всѣми ея неприятыми послѣдствіями, внушенія которой будутъ имѣть въ ея глазахъ большую цѣну. Мотивъ о краткости молодости мы видѣли въ 8 и 14 элегіяхъ III кн., VII одѣ. 1 элегии II кн., 17, III кн. Эта фразка написана тринадцатислож-

¹⁾ См. W. P. II. 387.

²⁾ См. W. P. II. 414.

нымъ размѣромъ и представляетъ переводъ одного изъ стихотвореній греческой антологіи ¹⁾.

Наконецъ, поэтъ узнаетъ горькую истину объ ея измѣнѣ, па что съ глубокой печалью жалуется въ XII пѣсни первой книги ²⁾. По его словамъ, лучше бы онъ не вѣрилъ, еслибы зналъ, что ему придется такъ горько сожалѣть о предметѣ, который даже никогда не принадлежалъ ему. Его сердце напрасно питалось надеждами, которыя вдругъ разлетѣлись, какъ дымъ. Надъ нимъ, такимъ ревностнымъ поклонникомъ своей возлюбленной, смѣется теперь счастливый соперникъ, который безъ труда и особенной заботливости получилъ ея любовь. Далѣе, въ прекрасныхъ образныхъ выраженіяхъ, Кохановскій сравниваетъ свое потерянное счастье съ виноградникомъ, за которымъ онъ самъ ревностно ухаживалъ, защищая его отъ вредныхъ птицъ и звѣрей, поливая отъ лѣтняго зноя и закрывая отъ мороза. И какъ разъ въ то время, когда онъ долженъ былъ насладиться чудными плодами своего виноградника, какой-то злой человѣкъ оборвалъ его спѣлыя гроздія и повергъ поэта въ глубокое отчаяніе. На голову этого злодѣя несчастный поэтъ посылаетъ всякія невзгоды. Заканчиваетъ Кохановскій свое стихотвореніе грустной насмѣшкой надъ своей судьбою:

Ja sobie tak dobrych lat doczekać nie tuszę:

Podobno jako niedźwiedz, łapę lizać muszę.

Мотивъ объ измѣнѣ и о счастливомъ соперникѣ мы видѣли въ 6, 8 и 14 элегіяхъ III кн., 1. II кн. Эта пѣснь написана прекраснымъ тринадцатисложнымъ стихомъ. Вся она пронизана тихимъ элегическимъ настроеніемъ, въ ней нѣтъ бурнаго отчаянія, горькихъ слезъ и бѣшеныхъ проклятій измѣнницѣ. Здѣсь поэтъ пришелъ къ тому грустному заключенію, что сердце его милой въ сущности никогда и не принадлежало ему. Этого нельзя понимать въ томъ смыслѣ, что поэтъ не видѣлъ съ ея стороны никакихъ признаковъ расположенія. Противъ этого говорятъ тѣ ласки, которыя нѣкогда доставались на его долю. Однако, обладая ею, онъ не владѣлъ ея сердцемъ, иначе, какъ онъ думаетъ, она не могла бы измѣнить ему. Трогательной красотой и нѣжностью отличается сравненіе пережитой любви съ виноградникомъ:

¹⁾ См. Anthol. graeca ed. Jacobs III. 103.

²⁾ См. W. P. I. 282.

Samem swą własną ręką tę winnicę grodził,
 Aby jej był ani zwierz, ani zły ptak szkodził,
 Polewałem, żeby jej słońce nie suszyło,
 Nakrywałem, żeby jej zimno nie groziło.

Такия строки могли вылиться только изъ чуткой и нѣжной души, одаренной при этомъ богатымъ талантомъ.

XV пѣснь первой книги ¹⁾ посвящена также жалобамъ на измѣну возлюбленной. Не видя съ своей стороны нивакихъ поводовъ къ этому, поэтъ выражаетъ предположеніе, что ей сильнѣе поправился кто-нибудь другой. Отвергнутому поэту остается только примириться съ судьбой и удивляться непостоянству женщинъ, которыя мѣняются, какъ лѣтній вѣтерокъ. (Этотъ мотивъ встрѣчался уже въ 10 элегии первой книги). Еще недавно поэта можно было отнести къ числу счастливыхъ, для котораго все доступно. Тогда онъ чувствовалъ себя такъ хорошо, какъ на небѣ. (См. 3 элегію I кн. и 11. I). А теперь повѣяли иные вѣтры, и поэтъ лишился всего вмѣстѣ съ надеждой, какъ-будто какая-то злая волшебница околдовала его словами, полными измѣны.

Не смотря на такой проступокъ своей возлюбленной, Кохановскій желаетъ ей счастья, съ кѣмъ только ни сведеть ее судьба. Онъ даже предостерегаетъ ее, говоря, что трудно найти искренняго друга. Его можно разыскать только одного изъ многихъ. Не слѣдуетъ довѣрять тому, кто любитъ одну лишь красоту. Таковой человѣкъ стоитъ на шаткой почвѣ, такъ какъ съ каждымъ днемъ люди теряютъ частіцу своей красоты.

Когда же настанетъ послѣдняя минута, едва ли найдется, кто похоронилъ бы мертвое тѣло. (Не будемъ повторять перечня латинскихъ элегій, гдѣ затронуть тотъ-же самый мотивъ). Такимъ истиннымъ другомъ поэтъ выставляетъ самого себя, только ему хотѣлось бы больше, чтобы она плакала на его могилѣ.

Послѣдняя мысль особенно хорошо выражена въ 6 элегии первой книги рукописи Осмульскаго. Все это стихотвореніе проникнуто сильнымъ и глубокимъ чувствомъ, доходящимъ до высшихъ предѣловъ, до полного самоотреченія. Здѣсь нѣтъ мѣста эгоистической ревности; ее заслонила безграничная любовь, которая заботится только о счастьѣ

¹⁾ См. W. P. I. 285.

своей избранницы. Въ этомъ произведеніи встрѣчаются очень красивые образы; звучный одиннадцатисложный стихъ съ цезурой послѣ пятого слога вездѣ одинаково выдержанъ и отличается легкостью. Это стихотвореніе также можетъ быть поставлено на ряду съ лучшими произведеніями польской лирики.

Трудно было пылкой натурѣ Кохановскаго успокоиться на такомъ самоотреченіи. Всѣмъ существомъ своимъ онъ жаждалъ взаимности и счастья. Наперекоръ разуму, надежда не умирала въ его груди. Цѣлыя ночи онъ проводилъ у дверей своей возлюбленной, рассчитывая тронуть ея непреклонное сердце и возвратить потерянное счастье. Однако, надеждамъ его не суждено было осуществиться. Объ этомъ свидѣтельствуетъ XXI пѣснь первой книги ¹⁾). „Ты спишь“, говоритъ онъ своей возлюбленной: „а я принужденъ еще отъ вечерней зари терпѣть непогоду. Слышишь, какъ дождь, смѣшанный съ градомъ, бьетъ въ твои стѣны? Проснись, жестокая, и скажи мнѣ хоть одно словечко“. (См. 5 элегію II кн., 8 и 14 III кн., 3, II кн. Осмульскаго). Если голосъ поэта не долетаетъ до возлюбленной, онъ обращается къ ночнымъ тѣнямъ и безжизненнымъ камнямъ съ просьбой, чтобы они слушали его, подобно тому, какъ нѣбогда скалы внимали Амфіоновой лютнѣ и суровыя фуріи плакали подѣ звуки жалобной пѣсни Орфея, которому удалось смягчить непреклонныхъ боговъ и получить потерянную жену. Однако, по своей неосторожности, онъ лишился опять своего счастья.

Czekać już, nieboże, było.
Ale gdy co komu miło,
Trudno wytrwać i czas mały:
Godzina tam jak rok cały.

(Послѣдній мотивъ встрѣчался намъ въ 8 эл. III кн. и 6. II кн). „А я“, говоритъ поэтъ: „долго ли еще буду бряцать на струнахъ моей лютни? Вотъ уже слышится звонъ у монаховъ. Я не спалъ, а они уже встали“.

Dobrą noc, jeśli kto słyszy.
A mój wieńiec w tej złej ciszy
Niechaj wisi do świtania,
Świadek mego niewyspania.

¹⁾ См. W. P. I. 294.

Упомянутое о вѣнках и серенадах мы встрѣчали въ 11 элегии II книги рукописи Осмульскаго съ той разницей, что тамъ вмѣсто *лютни* названа „хрипая флейта“. Эта пѣснь, не смотря на слабое подражаніе десятой одѣ третьей книги Горация къ Ликѣ, отличается оригинальностью и живостью, которой въ значительной степени способствуетъ восьмисложный стихъ съ характеромъ трохея. Встрѣчаются въ немъ также чисто народные обороты, даже въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ поэтъ касается мифологическихъ сюжетовъ. Напримѣръ, въ рассказѣ о вторичномъ несчастіи Орфея стоитъ слѣдующее выраженіе:

Czarci ranią zaś rogwali,

или уже приведенныя нами строки, въ которыхъ описывается трудность имѣть терпѣніе при сильной любви.

Въ XXV пѣсни первой книги¹⁾ поэтъ заставляеть двери жаловаться на безпокойство, каждую ночь причиняемое имъ посѣтителемъ какой-то живущей въ этомъ домѣ женщины сомнительной репутаціи. Въ особенности одинъ изъ нихъ надоѣдаетъ дверямъ, обращаясь къ нимъ съ мольбой склонить къ нему сердце его возлюбленной. Тяжелая тоска заставляеть его проводить цѣлыя ночи у этого холоднаго порога. Несчастный думаетъ, что еслибы его жалобы услышала возлюбленная, то она непременно смиловалась бы надъ нимъ и хоть разъ вздохнула, если-бы даже вмѣсто сердца у нея былъ камень или желѣзо. Теперь она покоится въ счастливыхъ объятіяхъ другого, а жалобы ея отвергнутаго поклонника напрасно разносятся вѣтромъ. Даже двери обвиняетъ несчастный въ томъ, что онѣ забыли признательность, которую онъ всегда оказывалъ имъ и теперь равнодушны къ его горькимъ слезамъ въ продолженіе цѣлой ночи. Стихотвореніе заканчивается неудовольствіемъ дверей на ихъ госпожу за ея дурное поведеніе и на плачь ея отвергнутаго поклонника. (Тотъ же самый сюжетъ разработанъ въ 8 и 14 элегіяхъ третьей книги, 5. II и 11. II рукописи Осмульскаго). Это стихотвореніе отличается излишней растянутостью и искусственнымъ характеромъ. Впрочемъ, значительная доля этой вины падаетъ на Проперція²⁾, которому Кохановскій подражалъ до 25 стиха, а съ слѣдующаго стиха началъ прямо переводить изъ него. Въ началѣ, однако, встрѣчаются живыя сценки въ

¹⁾ См. W. P. I. 299.

²⁾ См. Propertii carmina I. 16.

описаніи различнаго стука въ влополучныя двери. Недурна также жалоба отвергнутаго, который цѣлыя ночи проводитъ у порога своей возлюбленной. Въ общемъ, стихотворенію недостаетъ силы и выразительности. Тринадцатисложный стихъ съ цезурой послѣ седьмого слога вездѣ въ одинаковой степени выдержанъ.

Наконецъ, поэтъ узнаетъ истинную причину измѣны своей возлюбленной. Въ 39 фразеѣ первой книги „Z Anakreonta“ ¹⁾ поэтъ говоритъ, что тяжело любить, въ особенности, если нѣтъ взаимности.

*Zasność w miłości za nic, fraszka obyczaje,
Na tego tum naradziej patrzaję, kto daje.*

(Та же мысль почти въ такихъ же выраженіяхъ встрѣчалась намъ въ 3 рукописной элегіи II книги). Пусть погибнетъ тотъ, кто первый сталъ цѣнить любовь за деньги и этимъ испортилъ весь свѣтъ. Отсюда произошли раздоры, убійства,

„ a co jeszcze więcej,
Nas chude co miłujem, to gubi narzędziej,

заключаетъ огорченный поэтъ.

Эта фразея, написанная хорошимъ тринадцатисложнымъ стихомъ, хотя и переводная, тѣмъ не менѣе, отличается силой чувства и пронизана искреннимъ негодованіемъ человѣка, глубоко оскорбленнаго въ своихъ лучшихъ чувствахъ. По содержанію она соотвѣтствуетъ 6, 8, 14 и 17 элегіямъ III кн., 3. II и 8. I рукописи Осмульскаго.

Такимъ же благороднымъ негодованіемъ и гордостью дышетъ XI пѣснь фрагментовъ ²⁾. Глаза поэта открылись, онъ сознается, что не все то правда, о чемъ онъ говорилъ раньше, преувеличивая подъ вліяніемъ любви достоинства избранницы своего сердца и совершенно не замѣчая ея недостатковъ. Чего раньше не могли сдѣлать ничьи увѣщанія и никакія чары, поэтъ теперь достигъ самъ путемъ своего внутренняго убѣжденія. А когда-то онъ всей душой былъ преданъ своей возлюбленной, которая оказалась неблагодарной и поэтому уже не будетъ имѣть въ его лицѣ своего вѣрнаго слуги. Когда-нибудь она вспомнитъ о его добротѣ и не разъ заплачетъ отъ жалости о по-

¹⁾ См. W. P. II. 346. и Anacreontis carmina. Carm. 44. ed. Moeb

²⁾ См. W. P. II. 475.

терянномъ другѣ, который совершенно забылъ о ней среди своихъ пустынныхъ лѣсовъ.

Стихотвореніе, написанное одиннадцатисложнымъ размѣромъ съ цезурой послѣ пятого слога, представляетъ изъ себя подражаніе 23 элегіи третьей книги Проперція. Въ немъ встрѣчается не мало очень красивыхъ мѣстъ, какъ, напримѣръ, описаніе возлюбленной поэта. Эта пѣснь вполне соответствуетъ 6 элегіи II книги. Не смотря на гордое презрѣніе, которое поэтъ старался показать своей возлюбленной, прежнее чувство къ ней не покидало его сердца. Испытывая горе, благодаря ея измѣнѣ, онъ въ 51 фразкѣ второй книги ¹⁾ обращается за совѣтомъ къ Андрею, которому онъ могъ довѣрить „*bezpiecznie wszystko, co mi serce kruszy*“. Такимъ другомъ Кохановскаго во время его падуанской жизни былъ никто иной, какъ Андрей Патрицій Нидецкій. Къ нему именно и обращается поэтъ въ данной фразкѣ. Андрею извѣстно, что неблагодарная возлюбленная не особенно высоко цѣнитъ заслуги передъ ней поэта. За всѣ поднесенные ей дары, за всѣ сложенные въ ея честь стихотворенія поэтъ стыдится теперь, такъ какъ онъ во всемъ этомъ не зналъ мѣры. Сравнивая ея тѣло съ румяной зарею, онъ не зналъ, что она владеть на свое лицо покупныя краски. (Упомянутое о косметикахъ мы встрѣчали въ 8 элегіи II книги). Онъ хвалилъ ея недостойное похвалы поведеніе. За эту неправду она воздастъ ему обманомъ. Теперь, пока гнѣвъ еще свѣжъ въ его сердцѣ, пока сильно въ немъ чувство обиды, онъ проситъ друга, чтобы тотъ хоть чѣмъ-нибудь помогъ ему и вырвалъ его изъ неволи, такъ какъ сердце его полно невыразимой болью.

Это искреннее признаніе несчастнаго поэта своему лучшему другу насевозъ пронизуто горькимъ разочарованіемъ, которое, однако, не въ силахъ побѣдить въ немъ поруганной любви. Здѣсь такъ много психологической правды, такъ много знанія человѣческаго сердца, что не остается никакого сомнѣнія въ дѣйствительности испытываемыхъ поэтомъ чувствъ. Въ данномъ случаѣ мы имѣемъ новое подтвержденіе той мысли, что поэтъ, въ самомъ дѣлѣ, пережилъ въ Падуѣ сильную любовь со всеми ея стадіями, которая и отразилась въ его произведеніяхъ. Если-бы Кохановскій писалъ это сти-

¹⁾ См. W. P. II. 379.

хотвореніе по готовому шаблону, онъ никогда не упоминалъ бы о томъ, что сердце его все еще продолжаетъ болѣть безъ взаимной любви, онъ скорѣе разразился бы самыми страшными проклятіями по адресу измѣнницы, чѣмъ разсыпался въ искреннихъ сѣтованіяхъ горькаго разочарованія. По своей формѣ это стихотвореніе не имѣетъ почти никакихъ крупныхъ недостатковъ сравнительно съ другими. Языкъ хорошъ, тринадцатисложный стихъ вездѣ выдержанъ, цезура стоитъ на своемъ мѣстѣ.

Это обращеніе къ Андрею было написано поэтомъ во время отсутствія перваго, какъ видно изъ 59 фразки второй книги ¹⁾).

По словамъ Кохановскаго, его скорбь была бы не такъ сильна, если-бы Андрей такъ долго не задерживался какимъ то жестокимъ человѣкомъ. Наконецъ, вернувшись отъ него, Андрей оставилъ тамъ свою душу. Слѣдовательно поэту нельзя ждать отъ своего друга никакого утѣшенія; напротивъ, ему самому придется лѣчить его отъ этой болѣзни, средствъ для исцѣленія которой нужно искать только въ ней самой, но при этомъ необходимо остерегаться, чтобы самому не остаться тамъ, откуда желаешь вернуть свою душу.

Это теплое и задушевное стихотвореніе показываетъ, что и Нидецкій былъ влюбленъ почти одновременно съ нашимъ поэтомъ, о чемъ мы имѣемъ также свидѣтельство въ латинскихъ элегіяхъ Кохановскаго. Эта фразка примыкаетъ по содержанію къ разобранной нами выше и написана тѣмъ же самымъ тринадцатисложнымъ размеромъ.

Не найдя въ другѣ своемъ желаемаго утѣшенія, предоставленый самому себѣ поэтъ въ XXIII пѣсни первой книги ¹⁾ выражаетъ сначала ту мысль, что хотя и слѣдовало бы молчать о своемъ горѣ, чтобы врагъ не зналъ о немъ, однако лучше сразу излить всѣ свои жалобы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, отблагодарить своего недруга. Далѣе поэтъ сѣтуетъ на себя за то, что онъ такъ много страдалъ, между тѣмъ какъ другому подобное несчастье показалось бы пустякомъ, за то, что такъ долго позволялъ водить себя за носъ. Онъ напрасно хотѣлъ побѣдить злость ласковымъ обхожденіемъ и неблагодарность своимъ постоянствомъ. Въ заключеніе онъ прощается съ воротами,

¹⁾ См. W. P. II. 382.

²⁾ См. W. P. I. 297.

которые были свидѣтелями его частыхъ посѣщеній и горя, желая, чтобы плѣсень и паутина покрыла ихъ, а замки съѣла ржавчина. Это стихотвореніе написано тринадцатисложнымъ размѣромъ. Тотъ же самый мотивъ былъ разработанъ Кохановскимъ въ 14 элегій III кн. Гораздо лучше почти та-же самая мысль выражена въ 73 фразкѣ первой книги „До Јапа“²⁾. Обращаясь къ самому себѣ, поэтъ говоритъ, что пора ему отказаться отъ прежняго намѣренія вернуть потерянное счастье, потому что, рано или поздно, человѣку приходится стыдиться того, что раньше ему было милымъ. Ту красоту, которую теперь онъ такъ высоко цѣнитъ, узнавши правду, надо будетъ цѣнить гораздо ниже. Въ данномъ случаѣ лучше предупредить теченіе времени и направить свои паруса въ иную сторону. Испытавши измѣну, можно знать, что такое искренній другъ. Заключается эта фразка обращеніемъ къ Венерѣ, чтобы она отомстила возлюбленной поэта за его вздохи и слезы. (Мысль о мести встрѣчалась намъ въ 17 элегій III книги). Отъ этой фразки вѣетъ глубокимъ разочарованіемъ и полной безнадежностью. Это очень красивое стихотвореніе написано тринадцатисложнымъ размѣромъ.

Горькое чувство оскорбленнаго поэта начинаетъ понемногу успокаиваться. Такимъ примиряющимъ характеромъ отличается XXII пѣснь первой книги¹⁾, гдѣ онъ обращается къ своему разуму съ сѣвѣтомъ перестать стремиться къ тому, что безвозвратно погибло. Въ свое время и онъ наслаждался полнымъ счастьемъ, и ему удавалось получить все, что только онъ желалъ, а теперь небо не благопріятствуетъ поэту.

Sóž tѣmu gzeć? i szkoda głowy psować.

Lepiej się nam na lepsze czasy chować.

Кохановскій говоритъ, что такому несчастью онъ подвергся не безъ участія своей воли, такъ какъ, если-бы не было этого потеряннаго предмета, то все равно нашелся бы другой, который причинилъ бы ему по своей утратѣ не меньше боли. Но люди въ такихъ случаяхъ умѣютъ скрывать свое горе, чего не дано поэту, такъ какъ его лицо выдаетъ всякую сердечную тревогу.

„Wszakoz widzę, заканчиваетъ поэтъ, że się próżno frasować, co zginęło trudno tego wetować“.

¹⁾ См. W. P. II. 355.

²⁾ См. W. P. I. 296.

Послѣдніе два стиха представляютъ съ незначительнымъ измѣненіемъ повтореніе первыхъ двухъ стиховъ, что вмѣстѣ съ образностью языка и выдержкой одинадцатисложнаго стиха съ цезурой послѣ четвертаго слога придаетъ этой пѣсни очень красивую форму. Общій тонъ этого стихотворенія уже гораздо спокойнѣе, чѣмъ во всѣхъ предыдущихъ. Видно, что поэтъ уже можетъ относиться объективно къ своему несчастью, неизбежность котораго онъ ясно сознаетъ. Тотъ успѣхъ, которымъ онъ пользовался раньше, и надежда на лучшее будущее нѣсколько примиряютъ его съ печальной участью. Выраженіе „wyda mię twarz, gdy się serce źle czuje“ мы уже встрѣчали въ XXXV эпиграммѣ въ „Фориценіяхъ“. Только что разобраннымъ нами стихотвореніе сильно напоминаетъ утѣшеніе Венеры въ 4 элегій II книги.

Окончательно примирившись съ измѣной и равнодушіемъ своей возлюбленной, Кохановскій въ 69 фразкѣ второй книги „Do Wenerę“ ¹⁾ проситъ богиню, чтобы она исполнила то, на что онъ раньше надѣялся, и этимъ самымъ избавила поэта отъ насмѣшекъ извѣстнаго ей врага,

Wo lepsza pewna wolność, niż roskosz wątpliwa.

Ta zawsze zemną, a z tej często nic niebywa.

Тщетны заботы и старанія, которыми покупается фальшивая любовь. Однако поэту подозрительны сладкія слова и смѣхъ Венеры, со стороны которой онъ боится какихъ-нибудь новыхъ козней.

Jako chcesz aleć tego pełne będą karty,

Chociać mój płacz u siebie śmiech tylko a żarty.

Такъ заканчиваетъ свою фразку вполне успокоившейся послѣ пережитаго горя поэтъ, который готовъ даже отдаться новому чувству. Эта фразка написана тринадцатисложнымъ стихомъ съ цезурой послѣ седьмого слога и отличается живостью. Нѣкоторые обороты въ ней, какъ, напримѣръ, „lepsza pewna wolność, niż roskosz wątpliwa“, напоминаютъ народныя поговорки.

Только что разобранныя нами польскія стихотворенія Кохановскаго гораздо полнѣе, чѣмъ его латинскія элегій, освѣщаютъ внутреннюю психологическую сторону его романа съ Лидіей. Изъ нихъ мы имѣемъ право вывести заключеніе, что любовь поэта не увлекалась одной только внѣшней красотой Лидіи, но осуществляла въ ней

¹⁾ См. W. P. II. 385.

известный нравственный идеалъ, что взаимность избранницы сердца досталась поэту послѣ долгихъ усилій. Когда Кохановскій сталъ замѣчать первые признаки нерасположенія со стороны своей подруги, онъ всетаки не переставалъ вѣрить ей. Даже измѣна, раскрывшая ему глаза на все ея неприглядное поведеніе, на ловко маскируемую до сихъ поръ продажность, не могла испѣлить пламенно любящаго поэта отъ его глубокаго чувства. До послѣдней минуты онъ не теряетъ надежды спасти заблудшую, вернуть ее на путь добродѣтели, чтобы послѣ этого никогда уже не разлучаться съ нею. Когда его и въ этомъ постигла полная неудача, онъ, всетаки, не можетъ побѣдить въ себѣ пламенной любви къ недостойной избранницѣ. Желая хоть чѣмъ-нибудь помочь себѣ въ этомъ отношеніи, онъ обращается къ самому искреннему изъ своихъ друзей, Андрею Патрицію Нидецкому. Не найдя у него желаемаго утѣшенія, поэтъ самъ начинаетъ понемногу успокаиваться и, наконецъ, съ корнемъ вырываетъ изъ сердца былую любовь.

Мы не будемъ распространяться о высокихъ литературныхъ достоинствахъ этихъ стихотвореній, какъ первыхъ образцовъ польской эротической лирики, въ которой до сихъ поръ за ними нужно признавать выдающееся мѣсто, на ряду даже съ сонетами Мицкевича и произведеніями другихъ корифеевъ польскаго Парнаса.

V.

Путешествіе Кохановскаго по Италиі. Гипотеза о возвращеніи его въ 1556 г. на родину при содѣйствіи Оссолинскаго. Седьмая элегія второй книги и соответствующая ей вторая II кн. рукописи Осмульскаго. Вторичное посѣщеніе итл. Италиі. Эпитафія Эразму Кретковскому. Поѣздка Кохановскаго во Францію. Впечатлѣнія, съ которыми встрѣтился онъ въ Парижѣ. Ронсаръ. Состояніе парижскаго университета. Съ кѣмъ изъ сверстниковъ могъ встрѣтиться Кохановскій. Эпиграмма „Ad Gallam“. Окончательное возвращеніе его на родину.

Въ 1555 году свирѣпствовала въ Падуѣ эпидемія, которая произвела громадное опустошеніе въ городѣ и даже заставила венеціанское правительство подумать о перенесеніи университета въ Венецію. Вѣроятно, въ этомъ году и Кохановскій не оставался въ Падуѣ, а рѣшилъ предпринять поѣздку по разнымъ городамъ, которая была

въ обычаѣ у гуманистовъ того времени. Скрѣпя сердце, покинулъ онъ свою возлюбленную и направился въ далекую дорогу; тогда именно онъ посѣтилъ почти всю Италію, какъ видно изъ упоминанія въ одной изъ его элегій¹⁾ тринадцати итальянскихъ рѣкъ, двухъ озеръ и Лукринскихъ болотъ, съ прибавленіемъ вполнѣ подходящихъ къ нимъ эпитетовъ. Всѣ эти рѣки и озера онъ долженъ былъ видѣть въ окрестностяхъ Венеціи, Рима и Неаполя. О первомъ изъ этихъ городовъ сохранилось въ его стихотвореніяхъ два воспоминанія: „De spectaculis D. Marci“—Foric. 17. 4—5²⁾ и „Ad puellas fenetas“. Дорога въ Римъ вела на Феррару, Болонью, Флоренцію и Сіену. Объ этихъ городахъ въ произведеніяхъ Кохановскаго нѣтъ никакихъ упоминаній, за исключеніемъ Сіены, которая въ то время была въ осадномъ положеніи. О пребываніи его въ Римѣ свидѣлствуютъ, во первыхъ, описаніе этого города въ четвертой элегій третьей книги и воспоминаніе въ фразвахъ³⁾. Однако, вѣчный городъ не произвелъ на нашего поэта особенно сильнаго впечатлѣнія.

Illa deum sedes, orbis caput, aurea Roma
Vix retinet nomen semisepulta suum.

Такъ выражается онъ объ этомъ городѣ.

Оттуда Кохановскій направился въ Неаполь, привлекаемый желаніемъ увидѣть тѣ дѣла,

gdzie złotej różgi szukał Aeneasz przed czasy,
Gdzie piekło jest i ogromna skała,
Z której wieszczka Sibylla odpowiedź dawała⁴⁾.

Путешествіе это, какъ мы уже выше говорили, было предпринято имъ исключительно съ гуманистическими цѣлями и, слѣдовательно, должно было, въ болѣе или менѣе сильной степени, способствовать его знакомству съ итальянской наукой и литературой. По возвращеніи въ Падую, Янъ встрѣтилъ уже извѣстную намъ измѣну со стороны Лидіи. Освободившись отъ своей неудачной любви, онъ написалъ уже упомянутую нами элегію въ честь Карла V. Однако, чувство не прошло еще окончательно. Нашелся тогда другъ, который

¹⁾ См. El. III. 4.

²⁾ См. W. P. III. 193.

³⁾ См. W. P. II. 370.

⁴⁾ См. W. P. II. 401 и 371, а также El. IV. 1.

. laboranti succurrit primus amico,
 Nec me est in duris passus egere locis
 Tentavitque vias omnes si forte mederi
 Errori posset, stultitiaeque meae.

Это именно и былъ какой-то Оссолинскій, какъ видно изъ 10 эпиграммы въ Фориценіяхъ, который отправилъ несчастнаго поэта на родину. Въ 1557 году Кохановскій былъ уже въ Польшѣ, гдѣ его ожидалъ новый ударъ: смерть матери, случившаяся въ его отсутствіи. Если-бы послѣднее событіе побуждало его вернуться домой, то онъ не преминулъ бы упомянуть объ этомъ въ элегіи къ Оссолинскому. Какъ бы то ни было, онъ поставилъ надъ свѣжей могилой своей горячо любимой матери простую каменную плиту, какую только позволяли его скромныя средства. Единственнымъ несомнѣннымъ доказательствомъ его пребыванія на родинѣ служить элегія¹⁾, которой онъ привѣтствуетъ Сигизмунда Августа послѣ Инфлянтскаго похода:

Rex *hodie* Augustus victricia signa reportans,
 Arctois rediit ab aequoribus.

Событіе это произошло въ сентябрѣ 1557 года, по заключеніи мира съ Фюрстембергомъ.

Sparge, puer, violas et stactae profer odores,
 Et remove lymphas et mihi funde merum.
 Non ego aquam, si sim malus usque poëta futurus,
 Sit licet Aonio fonte petita, bibam.
 Prome chelym, laetis aptentur carmina nervis,
 Certum est hunc festos inter habere dies.

Такимъ восторженнымъ, чисто античнымъ вступленіемъ начинается Кохановскій свою привѣтственную элегію, въ которой описываетъ, какъ върломный врагъ, вопреки общечеловѣческимъ законамъ, осмѣлился оскорбить пословъ, какъ, съ цѣлью отомстить за это, король объявилъ ему войну. Не смотря на грозный характеръ непріятельскаго войска, поляки обратили его въ бѣгство.

Ac velut, absentem taurus cum provocat hostem,
 Horrendum mugit, cornuaque exacuit;
 Tum si montivagum conspexit forte leonem,

¹⁾ См. W. P. III. 69.

Oblitus pugnae, corde tremente, fugit:
 Haec facies Livonis erat; stans aequore aperto,
 Spirabat saevas, hoste morante, minas.
 Ut seges hastarum veniensque apparuit agmen,
 Ne tentare quidem proelia prima tulit.

Больше всего радуется поэтa то обстоятельство, что миръ былъ заключенъ безъ битвы, такимъ путемъ, по его мнѣнію, король могъ дойти до высшей степени славы и до самаго неба. Изъ окончанія элегій видно, что Кохановскій считаетъ самымъ необходимымъ для государства миръ. Онъ выражаетъ желаніе, чтобы король, прогнавши скивоовъ за Донъ, держалъ непріятеля вдалекѣ отъ польскихъ границъ и, такимъ образомъ, даровалъ своему государству величайшее благо— постоянный миръ.

Pace greges ovium per florida rura vagantur,
 Et rude pastoris carmen in ore sonat.
 Silvae in agros cedunt, fruges pro glande leguntur,
 Oppida consurgunt, qua cubuere ferae.
 Gymnasia, et campi juvenum certamine florent,
 Priscae artes redeunt, artificumque seges.

Всѣ эти описанія благодѣтельныхъ результатовъ мира показываютъ, что Кохановскій, вернувшись на родину, засталъ ее въ полномъ запустѣніи, съ очень ограниченномъ количествомъ населенныхъ мѣстъ и учебныхъ заведеній. Въ трехъ стихахъ этой элегій замѣтно сходство съ десятой элегіей I книги Тибулла.

Въ рукописи Осмульскаго эта элегія значится второю второй книги. Разница между обоими текстами мѣстами весьма значительна, такъ, напримѣръ, приведенное нами сравненіе здѣсь звучитъ слѣдующимъ образомъ: „какъ необузданный быкъ среди лѣниваго стада учащенно топчетъ ногою невинную землю и дико вызываетъ на борьбу отсутствующаго непріятеля и всю рощу беспокоитъ страшнымъ крикомъ, и если-бы тогда случайно, выйдя изъ своего убѣжища, желтоватая львица встряхнула своей густою гривой, онъ обращается въ бѣгство, его не останавливаютъ ни рѣки, выравнивающія свои берега, ни высокія вершины встрѣчныхъ скалъ; такую храбростью обладалъ инфлянтецъ, когда онъ бѣжалъ уже на открытомъ полѣ, въ то время какъ непріятель находился еще въ значительномъ отдаленіи. Какъ

только загремѣли трубы и появился первый рядъ (враговъ), онъ тотчасъ бросился въ бѣгство. Но ты, Августъ, мечемъ, какъ молніей, широко захватывая все, что только попадается навстрѣчу, опустошилъ непріятельскую землю. Однако, въ тебѣ, величайшій король, сколько силы, столько же и милости, ты умѣешь останавливать побѣдоносную руку“. Въ рукописи менѣе выразительно говорится, что снисходительность короля знаетъ „валахъ, гинерборець и даже самъ татаринъ“. Эпизода о благихъ послѣдствіяхъ мира здѣсь совершенно нѣтъ. Въмѣсто этого мы читаемъ слѣдующее заключеніе: „доставь твоей Сарматіи долгій досугъ, чтобы тебя хвалила она въ хартіяхъ, которыя будутъ жить послѣ твоей смерти и чтобы ты занялъ почетное мѣсто между предками. И хотя муза боится сѣвернаго инея, она будетъ не самой послѣдней похвалой твоего вѣка“.

Недолгое время пришлось нашему поэту у опустѣлаго домашняго очага. Въ половинѣ того же года представился ему случай снова выѣхать за границу. Сосѣди его, Ключовскіе, отправляли туда своего шестнадцатилѣтняго сына, Петра, и поручили сопровождать его нашему Яну, какъ человѣку бывалому и знакомому съ тамошней жизнью¹⁾. Охотно принявши на себя эту обязанность, онъ повезъ своего питомца черезъ Вѣну и Венецію въ Падую, гдѣ за время его отсутствія произошло очень мало переменъ. Споры между „націями“, волновавшіе тогда умы учащейся молодежи, не могли уже такъ сильно интересоваться Кохановскаго, какъ это было въ первые годы его падуанской жизни. Вѣроятно, въ это время онъ познакомился съ только что прибывшими туда поляками, поступившими въ университетъ для изученія права, Станиславомъ Фогельведеромъ и Николаемъ Гелязиномъ. Тогда же должно было состояться его знакомство съ Лукашемъ Гурницеимъ, вторично посѣтившимъ Италію и, можетъ быть, съ Андреемъ Дудычемъ. Слѣдомъ вторичнаго пребыванія Кохановскаго въ Падуѣ служить написанная имъ эпитафія Эразму Кретковскому, который скончался здѣсь 6 мая 1558 года. При жизни онъ, какъ видно изъ данныхъ Пшиборовскаго²⁾, не былъ особенно близко знакомъ съ Кохановскимъ, вслѣдствіе чего нашъ поэтъ едва-

¹⁾ См. St. Windakiewicz. *Pobyt Kochanowskiego za granicą*. Kraków. 1886. стр. 44. 1 примѣч.

²⁾ См. Józef Przyborowski. *Wiadomość o życiu i pismach Jana Kochanowskiego*. Poznań 1857 г. стр. 22.

ли прислалъ изъ Польши свою эпитафію на его смерть. На чужбинѣ земляки чувствуютъ большую взаимную связь, чѣмъ дома. Поэтому смерть даже мало знакомаго человѣка, но соотечественника, могла вызвать въ Кохановскомъ сожалѣніе, результатомъ котораго и явилось вышеупомянутое стихотвореніе.

Изъ Падуи Кохановскій снова отправился въ далекую дорогу, въ сопровожденіи какого-то Карла. Теперь путь его лежалъ во Францію черезъ Марсель, Аквитанію (Гасконь), Бельгію въ Парижъ, представлявшій уже въ то время важный культурный центръ, съ трехсоттысячнымъ населеніемъ. Такая громадная столица должна была сразу поразить нашего поэта, чему не мало способствовала бывшая тогда во Франціи ключомъ общественная жизнь съ ея захватывающими интересами. Всѣхъ занимала война, поднятая Генрихомъ II для ослабленія могущества Габсбурговъ и миръ, заключенный имъ въ 1559 г. въ Шато-Камбрези. Другимъ вопросомъ, волновавшимъ умы французовъ того времени, было протестантское движеніе. Всѣ эти явленія, хотя и не приносили благодѣтельныхъ результатовъ для страны, все-таки свидѣтельствовали о жизненной силѣ французскаго духа, выработавшаго при лязгѣ оружія свою національную поэзію съ Ронсаромъ во главѣ.

Какъ и у всѣхъ образованныхъ европейскихъ народовъ, поэзія эта возникла на почвѣ подражанія классическимъ литературамъ и вскорѣ приняла придворный характеръ. Совсѣмъ не такъ было въ Италіи, гдѣ классическое направленіе въ языкѣ и формѣ плло рука объ руку съ національнымъ. Гуманизмъ нашель себѣ во Франціи широкое поле дѣятельности послѣ открытія въ Сорбоннѣ каедръ древнегреческаго, латинскаго и еврейскаго языковъ. Благодаря этому, появились тамъ знаменитые филологи: Рамусъ, Сваллигеръ старшій и Мюре, опередившіе своей ученостью всѣхъ современныхъ имъ итальянскихъ знатоковъ древняго міра. Особенность ихъ взглядовъ выразилась въ томъ, что, считая самими лучшими образцами произведенія античной литературы, они проповѣдывали полный разрывъ съ средневѣковыми традиціями и указывали на классическихъ авторовъ, какъ на исходный пунктъ всѣхъ отраслей знанія. Этими идеалами горячо проникся Ронсаръ, чѣмъ и объясняется тотъ скоро разсѣявшійся ореолъ величія, которымъ окружено было его имя въ глазахъ образованныхъ людей XVI столѣтія. Трудно утверждать, чтобы Кохановскій не поддался; хоть бы въ самой незначительной степени, влиянію

Ронсара, тѣмъ болѣе, что онъ самъ выражаетъ въ своихъ элегіяхъ ¹⁾ удивленіе передъ произведеніями на родномъ языкѣ французскаго поэта.

Нельзя сказать съ полной достовѣрностью, былъ ли Кохановскій лично знакомъ съ Ронсаромъ, или нѣтъ. Извѣстно только, что нашъ поэтъ видѣлъ его и читалъ нѣкоторыя изъ его произведеній, какъ онъ самъ говоритъ:

Ronsardum vidi
Ille deum laudes, et pulchre commoda pacis
Sublato aethereis Marte canebat equis.

Должно быть здѣсь идетъ рѣчь объ извѣстномъ стихотвореніи Ронсара „*La Paix. Au Roy Henri II*“, подъ „*deum laudes*“, по всей вѣроятности, нужно подразумѣвать „*Les Hymnes*“, вышедшіе въ свѣтъ въ 1555 году. Знакомство съ первымъ произведеніемъ французскаго поэта обнаружилъ Кохановскій уже по возвращеніи своемъ на родину въ одной изъ латинскихъ элегій ²⁾.

По свидѣтельству біографа 1612 года ³⁾, нашъ поэтъ учился въ Парижѣ. Для рѣшенія вопроса, что могъ усвоить здѣсь Кохановскій, посмотримъ, въ какомъ состояніи былъ здѣшній университетъ въ занимающую насъ эпоху. Дѣлился онъ на четыре „націи“: гальскую, пикардійскую, норманскую и англійскую, въ составъ которой входили всѣ студенты изъ сѣверныхъ странъ. Каждая „нація“ имѣла своихъ собственныхъ преподавателей и пользовалась полнымъ самоуправленіемъ, подъ начальствомъ своихъ прокураторовъ, изъ среды которыхъ выбирался общій для всѣхъ „націй“ ректоръ, для защиты интересовъ всего университета. Дѣйствительными членами націй были только лица, имѣвшія ученныя степени. Учащіеся были, такъ сказать, экстраординарными членами „націй“. Среди нихъ господствовали постоянныя смуты, такъ что Генрихъ II долженъ былъ издать распоряженіе, чтобы всѣ учащіеся, живущіе на частныхъ квартирахъ, въ теченіе шести дней переселились въ коллегіи, или выѣхали изъ Парижа. Во время Кохановскаго самой знаменитой изъ этихъ коллегій была Сорбонна, слава которой, впрочемъ, начала уже меркнуть послѣ

¹⁾ См. W. P. III. 116.

²⁾ Ibidem.

³⁾ См. Przyborowski. Op cit. p. 49.

произнесеннаго ею осужденія произведеній Рейхлина, Лютера и Эразма Роттердамскаго. За ней слѣдовала наварская, воспитавшая славную въ свое время школу философовъ—схоластиковъ и, наконецъ, недавно основанная „Collège de France“.

О Сорбоннѣ Кохановскій, какъ видно изъ его произведеній¹⁾, не имѣлъ особенно высокаго мнѣнія. Трудно сказать, кого именно изъ парижскихъ профессоровъ слушалъ Кохановскій. Самымъ знаменитымъ изъ нихъ былъ Рамусъ, горячій противникъ философіи Аристотеля и приверженецъ кальвинизма. Много разъ Сорбонна удаляла его за это съ кафедръ, которую онъ опять получалъ благодаря своимъ выдающимся способностямъ.

Еще съ XIII вѣка поляки стали посѣщать парижскій университетъ и привозили оттуда собственноручныя копіи произведеній знаменитѣйшихъ профессоровъ этого высшаго учебнаго заведенія. Даже въ XV вѣкѣ краковскій университетъ во многомъ подражалъ парижскому. Не смотря на такой наплывъ польской учащейся молодежи въ парижскій университетъ, ей не удалось создать себѣ тамъ своей отдѣльной „націи“; примыкая къ нѣмецкой, поляки и здѣсь не играли видной роли. Ихъ было ко времени прибытія сюда нашего поэта не особенно много и они занимали далеко незавидное положеніе.

Изъ сверстниковъ, вѣроятно, Кохановскій познакомился въ Парижѣ съ Яномъ Замойскимъ и съ Тенчинскимъ передъ отъѣздомъ послѣдняго въ Испанію.

Трудно отвѣтить въ точности на вопросъ: какую жизнь велъ тамъ нашъ поэтъ? Весьма вѣроятно, веселье пышнаго двора, который окружалъ королеву Катерину Медичи, отражалось и въ обществѣ. Но распространявшаяся въ то время роскошь и царствовавшая повсюду разгуль, по всей вѣроятности, не коснулись Кохановскаго, у котораго не хватало для этого средствъ. Эпиграмма „Ad Gallam“ свидѣтельствуетъ, что и въ Парижѣ нѣжное сердце поэта не могло обойтись безъ любви. Но и новую возлюбленную пришлось ему скоро покинуть. Когда онъ, неизвѣстно съ какою цѣлью, выѣхалъ изъ Парижа вмѣстѣ съ вышеупомянутымъ Карломъ безъ всякой мысли о возвращеніи на родину. Въ дорогѣ получило извѣстіе, призывавшее его домой для окончательнаго раздѣла оставшагося послѣ родителей

¹⁾ См. W. P. II. 54. „Satyr“ 372 ст.

имущества¹⁾. Съ сердечной болью покинулъ онъ Францію и вернулся въ Польшу, гдѣ засталъ главою своей семьи брата Каспера, управлявшаго, на правахъ старшаго, всѣми имѣніями своихъ братьевъ и сестеръ. Такимъ образомъ, совершенно неожиданно для Кохановскаго, въ 1559 году закончились его учебные годы.

¹⁾ Ел. III. 8

ЯНЪ КОХАНОВСКІЙ

И ЕГО ЗНАЧЕНІЕ ВЪ ИСТОРИИ ПОЛЬСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ XVI ВЪКА.

ГЛАВА III.

Первые годы жизни Кохановскаго по возвращеніи его на родину.

I.

Имущественныя хлопоты Кохановскаго. Состояніе Польши въ моментъ возвращенія его на родину. Реформація и начало католической реакціи. Гозій, Кромеръ и Карнковскій. Вопросъ объ „экзакуціи правъ“. Моджевскій и Ожеховскій. Полемиическая литература. Предшественники Кохановскаго: Рей и Тшицѣскій. „Zuzanna“, какъ первое эпическое произведеніе Кохановскаго. Его придворная служба у Тарновскихъ.

Причиной возвращенія Кохановскаго на родину были, какъ мы видѣли выше, недоразумѣнія, возникшія между наслѣдниками по поводу раздѣла имущества, оставшагося послѣ родителей Яна. Насколько можно судить по извѣстной уже намъ элегіи къ Карлу¹⁾ и эпиграммѣ (Fogis. 63.)²⁾ къ Дудычу, прїѣздъ его для нѣкоторыхъ изъ родственниковъ былъ не особенно прїятной неожиданностью. Пользуясь его отсутствіемъ, они, очевидно, хотѣли окончательно присвоить себѣ принадлежащую ему часть. Конечно въ этомъ нельзя было обвинять Каспера, человѣка вполнѣ честнаго и безкорыстно преданнаго интересамъ своей семьи. Такимъ любителемъ чужой собственности, вѣроятно, былъ дядя поэта, Филиппъ, который, по радомскимъ судебнымъ актамъ, выступаетъ въ качествѣ настоящаго сутяги. Владѣя одной половиной Чернолѣса, онъ считалъ далеко не лишнимъ для

¹⁾ См. W. P. III. 116.

²⁾ См. W. P. III. 220.

себя округлить свое имѣніе черезъ присоединеніе къ нему и другой половины. Къ этому самому дядѣ, по всей вѣроятности, относится одна изъ фразекъ¹⁾ поэта, которая рисуетъ своего героя именно въ такомъ свѣтѣ. Какъ бы то ни было, по возвращеніи Кохановскаго до суда дѣло не дошло. 11 іюля 1559 года состоялся между наследниками раздѣлъ, по которому нашъ поэтъ получилъ половину Чернолѣса, вмѣстѣ съ Рудой, мельницу и пруды. При чемъ на него было возложено обязательство выплатить братьямъ для уравниванія долей 400 злотыхъ. Такимъ образомъ все его имѣніе заключало въ себѣ 2100 морговъ земли, изъ нихъ пахоти было только 240 морговъ, остальное же количество было занято лѣсомъ. Изъ своей части нашъ поэтъ не могъ получать значительныхъ доходовъ; она только едва обезпечивала ему весьма скромный кусокъ хлѣба. Естественно, что при такихъ условіяхъ онъ не могъ отдаться радостямъ сельской жизни. Тѣмъ болѣе, что широкое гуманистическое воспитаніе требовало отъ него болѣе благодарнаго примѣненія своихъ духовныхъ силъ, чѣмъ простая дѣятельность мелкаго шляхтича—земледѣльца, безъ всякой перспективы впереди. Для этого не стоило терять столько лѣтъ, скитаясь по различнымъ польскимъ и заграничнымъ университетамъ.

Жизненные условія въ Польшѣ, ко времени пріѣзда Кохановскаго на родину, нѣсколько измѣнились. Реформаціонное движеніе все больше и больше охватывало польское общество. Однако, протестантизму недоставало единой, тѣсно сплоченной организаціи; онъ дробился на множество религіозныхъ сектъ и толковъ. Въ одномъ только всѣ они единогласно сходились между собою, а именно: въ льстившей каждому гражданской независимости отъ епископскихъ судовъ, въ богослуженіи на родномъ языкѣ, отрицаніи целибата и, наконецъ, Причастіи подъ обоими видами. Конечно, въ пониманіи этихъ вопросовъ у каждой секты были свои догматическія особенности, но къ таковой ихъ постановкѣ примыкали всѣ они безъ исключенія. Подобные взгляды своей растяжимостью и способностью къ широкому толкованію привлекали на свою сторону не однихъ протестантовъ: ихъ раздѣляли даже нѣкоторые изъ менѣе знакомыхъ съ своей религіей католиковъ. (Не будемъ повторять уже высказанной нами мысли о распространенности такихъ убѣжденій среди мало-

¹⁾ См. W. P. II. 347. (42 fraszka I кн).

польской шляхты). Популярность требованій реформы возрастала съ каждымъ днемъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, глубоко проникала въ общественное сознаніе. Детальную выработку программы предполагаемыхъ реформъ возлагали сначала на проектируемый синодъ изъ епископовъ и свѣтскихъ лицъ, наконецъ, на короля и сеймъ. Практическимъ проявленіемъ такихъ общественныхъ взглядовъ было выраженное шляхтой и сенатомъ на сеймѣ 1555 года желаніе, чтобы всѣ эти реформы были осуществлены свѣтской законодательной властью. Такому разрѣшенію даннаго вопроса препятствовало, съ одной стороны, разногласіе въ средѣ самихъ протестантовъ, съ другой, сначала слабая, а затѣмъ все болѣе и болѣе усиливающаяся оппозиція католическаго духовенства. Началу католической реакціи способствовало не столько высшее духовенство, которое, въ большинствѣ случаевъ, или отличалось религіознымъ индифферентизмомъ, или склонностью къ реформаціи, сколько аббатства и другіе представители низшаго духовенства. Зародышемъ ея нужно считать Петровскій синодъ 1551 года, душой котораго и связующимъ звеномъ съ Римомъ былъ Гозій. Онъ, посредствомъ выработки и утвержденія „*Confessionis Fidei Christianae*“ ясно опредѣлилъ положеніе католическаго духовенства въ дѣлѣ реформаціи. Гозія поддерживали Кромеръ, Карнковскій и папскіе нунціи. Со стороны короля, окруженнаго сенаторами протестантскихъ исповѣданій, начало католической реакціи не встрѣчало особеннаго сочувствія. Однако, она развивалась, создавая, въ противувѣсъ протестантскимъ, свои провинціальныя капитулы, не пользовавшіеся, правда, такой широкой извѣстностью, однако вліявшіе на низшее духовенство и на монашескіе ордена, изъ среды которыхъ должны были выйти будущіе епископы. Подъ вліяніемъ этихъ новыхъ идей самъ Моджевскій начинаетъ склоняться на сторону церкви и горячо нападаетъ на протестантовъ. Однако, въ 1556 году король отправляетъ въ Римъ посольство, съ требованіемъ освобожденія отъ духовной юрисдикціи, литургіи на польскомъ языкѣ, уничтоженія целибата и причастія подъ обоими видами. Отъ отвѣта папы зависѣла государственная религія Польши.

Съ религіознымъ тѣсно связывалось политическое движеніе, извѣстное подъ именемъ „эксекуціи правъ“, главными послѣдствіями котораго была унія съ Литвой и Пруссіей, а также установленіе правильной финансовой и военной организаціи. Путемъ возстановленія своихъ исконныхъ правъ шляхта, въ противувѣсъ магнатамъ, хотѣла

добиться болѣе активнаго участія въ управленіи государствомъ. Въ своемъ основаніи стремленіе это отличалось зрѣлостью и силой и могло привести къ переменѣ конституціи. Магнаты естественно должны были противиться этому, для чего имъ необходимо было овладѣть всѣмъ этимъ движеніемъ и взять на себя его инициативу. Здѣсь реорганизация государства зависѣла отъ переменъ религіи, должна была вытекать изъ нея, или обусловливать ее. Король не соглашался на это, вслѣдствіе чего многіе магнаты не могли принять ее, такъ какъ въ ихъ сознаніи религіозныя и политическія реформы слились въ одно цѣлое. Отсюда возникла нерѣшительность короля, а вопросъ объ „экзакуціи“ распространился все шире и шире. Каждый сеймикъ, каждый шляхтичъ считалъ себя охранителемъ интересовъ Рѣчи Посполитой. Шляхта стремилась забрать бразды правленія въ свои руки. Ея вожаки, придерживавшіеся въ большинствѣ случаевъ протестантскихъ убѣжденій, охотно отказались бы отъ этихъ притязаній, если бы только король согласился на переменѣ государственной религіи. Въ этомъ экзакуціонномъ движеніи было много религіозной и шляхетско-демократической страстности, а патриотизма и политической опытности очень мало. Фрычъ Моджевскій и Станиславъ Ожеховскій даютъ этимъ явленіямъ прекрасное объясненіе. За первымъ, несмотря на многіе его недостатки, необходимо признать громадную заслугу, состоящую въ томъ, что онъ указываетъ способъ упорядоченія финансовъ и судопроизводства и требуетъ, главнымъ образомъ, общественной реформы даже для городовъ и крестьянства. На практикѣ, въ средѣ его единомышленниковъ, всѣ эти реформы сводились къ предполагаемой церковной реформѣ. Больше вліянія, чѣмъ онъ, имѣлъ въ этомъ движеніи Станиславъ Ожеховскій. Однако, вліяніе это основывалось не на хорошихъ сторонахъ его убѣжденій, а именно на томъ, что въ нихъ было дурного, т. е. онъ приобрѣлъ популярность своимъ стремленіемъ къ анархіи, которая выражалась въ мнѣніи, что короля можно свободно низложить и т. д. Не мало содѣйствовали распространенности его убѣжденій, высказываемый имъ, крайній консерватизмъ и ретроградство, состоявшіе въ томъ, чтобы всѣ порядки сохранить, какъ они есть, и если необходимы какія-нибудь переменны, то развѣ только тѣ, при помощи которыхъ можно будетъ вернуться къ прежнему положенію вещей.

Таково было броженіе политическихъ и религіозныхъ идей въ моментъ возвращенія Кохановскаго на родину. Кромѣ того, не

мало другихъ перемѣнъ засталъ онъ въ Польшѣ. Умерла королева Бона, счастливо кончился инфлянтскій походъ и завѣтное желаніе поэта видѣть мирное процвѣтаніе своей родины могло бы исполниться, если-бы не мѣшали ему уже упомянутые нами внутренніе раздоры и религиозныя несогласія.

Въ литературѣ Кохановскій засталъ преобладаніе полемическихъ произведеній надъ другими. Незадолго до его пріѣзда была издана Реемъ книга проповѣдей, подъ названіемъ „Postylla“. Авторъ ея можетъ быть, уже работалъ надъ передѣлкой латинско-итальянскаго „Зодіака“ на польскій „Wizegunek“ и, во всякомъ случаѣ, уже закончилъ свой переводъ псалмовъ, которые, по свидѣтельству Тшицѣскаго, находили въ обществѣ широкое распространеніе. Популярность его къ тому времени возрасла въ наибольшей степени. Подобнымъ же тенденціознымъ характеромъ отличались произведенія его друга и біографа Андрея Тшицѣскаго, который пользовался не меньшей славой. То же самое можно сказать о религиозныхъ трактатахъ и переводахъ св. Писанія Моджевскаго. Со стороны католиковъ литературное движеніе ни шагу впередъ не сдѣлало, если не считать „Confessio“ Гозія. Необходимо здѣсь также отмѣтить страстную полемикку Ожеховскаго съ Моджевскимъ, Станкаркомъ и другими протестантами. Его „Анналы“ служатъ прекраснымъ опытомъ гуманистической историографіи. Изъ новыхъ писателей выступаетъ къ тому времени Кромеръ, со своимъ сочиненіемъ „Polonia sive de origine et rebus gestis Polonorum“, которое, какъ образецъ гуманистической историографіи, стоитъ гораздо выше „Анналовъ“ Ожеховскаго. Трудъ Кромера долженъ былъ понравиться Кохановскому.

Въ этой литературѣ мало художественности; однако, будучи насытъ пропитана гуманистическими идеалами, она не могла показаться чуждой вернувшемуся изъ Италіи поэту, который могъ отвести ей подобающее мѣсто въ ряду иностранныхъ гуманистическихъ литературъ. Въ ней, прежде всего, бросалась въ глаза живая связь съ явленіями текущей жизни и, главнымъ образомъ, ея религиозной стороны, затѣмъ ея распространенность, которая не достигала еще такой степени до выѣзда Кохановскаго за границу. Какъ видно изъ одной латинской элегіи¹⁾ нашего поэта, онъ ставитъ себя ниже

¹⁾ См. W. P. III. 130.

Рея, Тшиціскаго и Гурницкаго. Едва ли въ данномъ случаѣ его устами говорила простая скромность, какъ старается доказать Тарновскій¹⁾, который совершенно отрицаетъ всякую поэзію въ ихъ произведеніяхъ, а, между тѣмъ, хоть бы у Рея, мы встрѣчаемъ высокохудожественныя мѣста; слѣдовательно, Кохановскому было чему у него учиться и чему подражать, и такое свидѣтельство о нихъ нашего поэта является только заслуженной данью справедливости по отношенію къ нимъ.

Вѣроятно, подъ вліяніемъ библейскихъ стихотвореній Рея нашъ поэтъ сдѣлалъ свою первую попытку создать эпическое произведеніе. Мы говоримъ о стихотвореніи „Сусанна“, посвященномъ женѣ Николая Радзивилла Чернаго, Елизаветѣ, урожденной Шидловецкой. Такъ какъ она умерла въ 1562 году, то, очевидно, „Сусанна“ была написана раньше. Содержаніемъ этого произведенія служитъ простое переложеніе XIII главы пророчества Даніила²⁾.

Какъ рассказъ, „Сусанна“ стоитъ очень не высоко, она поражаетъ своей сухостью и искусственностью. Нужно сознаться, что дарованію Кохановскаго была чужда такая литературная форма и только изрѣдка среди его произведеній попадаются такіа удачныя

¹⁾ Op. cit. 156 p.

²⁾ По словамъ Тарновскаго (op. cit. p. 218) „Сусанна“ заслуживаетъ вниманія, какъ первое удачное примѣненіе четырнадцатисложнаго стиха, отличающагося спокойнымъ и серьезнымъ ритмомъ. Въ данномъ случаѣ краковскій профессоръ нѣсколько ошибается. Въ произведеніи Рея „Żywot Józefów“ мы читаемъ слѣдующіе стихи:

Ach toć wielka łaska Pańska, kogo rozum rządzi,
A kto z niego najmniej spadnie, jako marnie zblądzi...
Wiem też, co jest jako dziwnie srogi gniew niewieści,
Tam niemasz żadnej litości, tam pomsta bez wieści;
Żadna straż nie jest tak czujna, by cię ustrzedź miała,
Zawždy twoga, zawždy więźniem, kiedy będzie chciała...

Здѣсь мы видимъ такой же четырнадцатисложный размѣръ, какъ и у Кохановскаго, даже цезуры стоятъ на тѣхъ же самыхъ мѣстахъ, т. е. послѣ первыхъ и слѣдующихъ четырехъ слоговъ. „Żywot Józefów“ возникъ еще въ 1545 году. Слѣдовательно, первенство въ примѣненіи этого стиха нужно признать не за Кохановскимъ, а за Реемъ. Общій размѣръ въ обоихъ сравниваемыхъ нами произведеніяхъ служитъ нѣкоторымъ подтвержденіемъ нашей догадки о возникновеніи „Сусанны“ подъ вліяніемъ стихотвореній Рея на библейскіе мотивы.

вещи въ этомъ родѣ, какъ „Szachy“, въ разбору которыхъ мы приступимъ ниже.

О первыхъ годахъ жизни нашего поэта по его возвращеніи на родину мы не имѣемъ никакихъ точныхъ данныхъ. На этомъ основаніи, Станиславъ Тарновскій опровергаетъ¹⁾ гипотезу Бронислава Хлѣбовскаго о пребываніи Яна у гетмана Тарновскаго. По нашему крайнему разумѣнію, какъ мы имѣли уже случай высказать раньше, доводы краковскаго профессора въ данномъ случаѣ кажутся намъ не вполне убѣдительными. Поэту мы полагаемъ, что Кохановскій, вернувшись на родину и закончивши свои имущественныя хлопоты, не остался въ деревенской глуши своего Чернолѣса, а поступилъ во дворъ своего покровителя, Яна Тарновскаго, куда привлекала его, съ одной стороны, образованная среда, съ другой—единственная возможность найти подготовительную почву для приложенія тѣхъ знаній, которыя онъ приобрѣлъ за границей.

II.

„Szachy“. Ихъ содержаніе. Отношеніе ихъ къ поэмѣ Виды. Ихъ литературныя достоинства. Попытка опредѣлить время ихъ происхожденія. 5 элегія III кн. къ Падиѣвскому. 1 пѣснь I кн. 10 пѣснь I кн. Подражаніе въ ней Аріосту. Стихотворенія на смерть Яна Тарновскаго. 4 эл. III кн. и „Pamiętka Janowi z Tęszyna“. Стихотворенія къ Фирмеямъ. 15 эл. I кн

Мы не знаемъ, въ чемъ состояли обязанности Кохановскаго при дворѣ гетмана. Быть можетъ, онъ занималъ тамъ положеніе личнаго секретаря Яна Тарновскаго, или завѣдующаго бібліотекой, которая, по всей вѣроятности, была у такого знатнаго и просвѣщеннаго вельможи, какъ гетманъ. Во всякомъ случаѣ, тамъ могли предоставить поэту должность, наиболее подходящую къ его широкому гуманистическому образованію и природнымъ поэтическимъ способностямъ, свободному развитію которыхъ онъ могъ посвятить теперь всѣ свои досуги, надѣясь на покровительство своего патрона.

¹⁾ Op. cit. 157 p.

Намъ кажется, что тѣ политическія событія, о которыхъ мы говорили выше, первое время не настолько занимали нашего поэта, чтобы отразиться въ его произведеніяхъ. Впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ заграницы, еще не теряли своей свѣжести и накладывали свой отпечатокъ на поэзію Кохановскаго, по крайней мѣрѣ, въ теченіе первыхъ лѣтъ его жизни на родинѣ. Тогда именно, по нашему мнѣнію, было написано первое изъ болѣе крупныхъ произведеній нашего поэта „Szachy“, мысль которыхъ и отчасти содержаніе заимствованы у итальянско-латинскаго поэта Марка Иеронима Виды, епископа города Альбы, жившаго постоянно въ Кремонѣ. Его поэма „Scacchia ludus“ вышла въ свѣтъ въ 1527 г. и во времени пріѣзда Кохановскаго въ Падую пользовалась широкой извѣстностью. Объ ея авторѣ Аріосто выражается въ слѣдующихъ словахъ:

Ecco Alessandro, il mio signor, Farnese:¹)
 Oh dotta compagna che seco mena!
 Fedro, Capella, Porzio, il bolognese
 Filippo , . . .
 *il Vida cremonese,*
D'alta facondia inessicabil vena.

Врядъ ли Кохановскій не поинтересовался бы прочесть еще въ Италіи такое популярное произведеніе; кто знаетъ, можетъ быть, ему удалось даже лично познакомиться съ его авторомъ? Во всякомъ случаѣ, мысль для польской поэмы взята была Кохановскимъ у него и разработана если не въ Италіи, то въ скоромъ времени по возвращеніи нашего поэта на родину.

Свою поэму²) Кохановскій посвящаетъ Яну Кшиштофу Гарновскому, каштеляну Войницкому. Въ предисловіи къ ней поэтъ выражаетъ намѣреніе воспѣть войну, для которой не нужно никакого оружія. Примѣры рыцарскаго ремесла должны быть знакомы каштеляну изъ жизни. Поэтому Кохановскій посвящаетъ ему свое произведеніе, съ тѣмъ, чтобы онъ выслушалъ его въ минуту отдыха.

Самая поэма повѣствуетъ слѣдующее: датскій король Гарсееъ имѣлъ дочь такой необычайной красоты, что изъ далекихъ краевъ

¹) См. Orlando furioso. Canto XLVI stanza 13.

²) См. W. P. II. 128.

пріѣзжали чужестранцы посмотрѣть на нее, или добиться ея руки. При датскомъ дворѣ гостило постоянно множество чеховъ, поляковъ, французовъ и нѣмцевъ. Изъ числа всѣхъ ихъ выдѣлялось двое знатныхъ претендентовъ на руку королевы—Федоръ и Борзуй, которые уже давно служили при королевскомъ дворѣ. Тарсесъ обоихъ любилъ одинаково и поэтому долго ни одному изъ нихъ не хотѣлъ отказывать. Когда, наконецъ, больше нельзя было откладывать рѣшительнаго отвѣта, король объявилъ имъ, что руку его дочери получить выигравшій партію въ шахматы. Игра должна была происходить черезъ двѣ недѣли въ королевскомъ дворцѣ. Каждому изъ соперниковъ было послано описаніе игры, доски, положенія фигуръ, ихъ ходовъ, мата и пата. Хотя имъ обоимъ была на практикѣ знакома шахматная игра, всетаки они не полѣнились прочитать это описаніе и, чтобы лучше усовершенствоваться, постоянно играли другъ съ другомъ.

Въ назначенный день они оба явились во дворецъ съ надеждой и страхомъ. Послѣ обѣда началась партія въ присутствіи короля и гостей. Тарсесъ высказалъ обоимъ соперникамъ причины, побуждавшія его откладывать свой рѣшительный отвѣтъ, затѣмъ обратился къ присутствующимъ съ просьбой не вмѣшиваться въ игру и развѣ только въ случаяхъ какого нибудь сомнѣнія, произносить свой судъ. Борзую выпало на долю играть бѣлыми, а Федору—черными. Послѣ разстановки фигуръ бросили жребій, кому начинать партію. Судьба въ этомъ случаѣ улыбнулась Борзую.

Приступая къ описанію самой игры, поэтъ обращается къ музамъ съ воззваніемъ, чтобы онѣ повѣдали ему весь ходъ партіи.

Борзуй начинаетъ игру, двигая цѣшку, стоящую передъ королевой. Федоръ ему отвѣчаетъ тѣмъ же. Послѣ того какъ обѣ пѣшки были побиты, чернѣй король рокировался. Пока Борзуй занимается пѣшками, Федоръ дѣлаетъ шахъ его королю и забираетъ бѣлую туру, теряя при этомъ своего коня. Разсерженный этимъ, Борзуй опустошаетъ ряды черныхъ, не жалѣя для этого своихъ фигуръ. Между тѣмъ Федоръ имѣетъ виды на бѣлую королеву. Борзуй, не замѣчая его плановъ, хочетъ подвинуть одну изъ своихъ фигуръ. Въ это мгновеніе Федоръ быстро хватаетъ его королеву. Борзуй не соглашается на это и требуетъ ея возвращенія. Федоръ напираетъ на то, что его противникъ уже коснулся своей фигуры. Борзуй возражаетъ, что въ началѣ игры не было сдѣлано оговорки считать привосновеніе къ фигурѣ за ходъ. Присутствующіе настояли на возвращеніи

бѣлой королевы, что было исполнено Федоромъ весьма неохотно. Онъ едва не перевернулъ всѣхъ своихъ фигуръ отъ досады. Въ отместку за свою неудачу онъ дѣлаетъ офицеромъ (лауферомъ) ходъ коня. Борзуй замѣтилъ эту хитрость, которую Федоръ старался оправдать разсѣянностью. Послѣ этого бѣлыя теряютъ офицера и коня, а черныя—офицера и пѣшку. Борьба принимаетъ острый характеръ. Противъ бѣлой королевы, взявшей черную туру и пѣшку, выступаетъ черная королева. Обѣ рѣшаются бороться до тѣхъ поръ, пока одна изъ нихъ не погибнетъ. Тѣмъ временемъ Борзуй, подобно эссалипскимъ волшебницамъ, „które wlewają ducha w martwe ciało trupa“, беретъ своего побитаго офицера и ставитъ его на шахматную доску. Федоръ замѣтилъ эту уловку и осмѣилъ своего соперника. Во время послѣдовавшей затѣмъ усиленной битвы бѣлая королева взяла черную и сама погибла. У Федора остались тура, конь, офицеръ и двѣ пѣшки. Борзуй сохранилъ тѣ-же самыя фигуры и, сверхъ того, одну лишнюю пѣшку. Оба соперника стараются провести свои пѣшки въ королевы. Бѣлой пѣшкѣ это удастся. Не смотря на то, что Федоръ забралъ при помощи коня и офицера всѣ фигуры противника, за исключеніемъ туры и коня, онъ всетаки падаетъ духомъ, предчувствуя мать.

Между тѣмъ наступаетъ ночь. Борзуй настаиваетъ на окончаніи игры. Федоръ не соглашается съ нимъ. Наконецъ, рѣшили продолжать партію на другой день, отмѣтили положеніе фигуръ и поставили при нихъ стражу. Оба соперника приглашены королемъ на ужинъ. Опечаленный Федоръ ѣсть и пить очень мало и не обращаетъ вниманія на утѣшенія своихъ сосѣдей по столу. На ночь каждому изъ игроковъ отвели по отдѣльной комнатѣ и стѣны дворца со всѣхъ сторонъ окружили стражей. Между тѣмъ королевна Анна, въ сопровожденіи своей фрейлины, потайнымъ ходомъ направляется въ залу, гдѣ стоятъ шахматы. Стража узнаетъ ее по голосу и безпрекословно пропускаетъ. Бросившись къ шахматной доскѣ, она спрашиваетъ: кто играетъ бѣлыми и кто черными? Анна замѣчаетъ, что дѣла черныхъ въ печальномъ положеніи и онѣ могутъ выиграть въ томъ только случаѣ, если за ними будетъ первый ходъ. Повернувши черную туру рогами противъ короля, Анна произноситъ слѣдующія слова:

Dobry Rycerz jest od zwady,
Popu też nie źle zachować od rady

и выходить изъ залы, заливаясь слезами. Въ это время Федоръ, уже потерявшій всякую надежду на успѣхъ, желаетъ, чтобы ночь тянулась какъ можно дольше, а Борзуй, заранѣ увѣренный въ побѣдѣ, съ нетерпѣніемъ ждетъ наступленія утра. Вставши, Федоръ лѣнливо одѣвается и не спѣшитъ выйти изъ своей комнаты. Наконецъ, соперники входятъ въ залу. Федоръ замѣчаетъ поворотъ своей туры и спрашиваетъ у стражи, кто это сдѣлалъ, тѣ отвѣчаютъ, что королева. Борзуй въ свою очередь спрашиваетъ, что она при этомъ говорила. Стража сообщаетъ ему слова Анны, которымъ онъ не придаетъ никакого значенія, считая ихъ простыми замѣчаніями. Но Федоръ глубоко задумался надъ ними, справедливо полагая, что они были произнесены не безъ цѣли. Наконецъ, ему вдругъ становится яснымъ, что онъ послѣ третьяго хода можетъ дать матъ Борзую, радость котораго оказывается преждевременной. Присутствующіе съ интересомъ слѣдятъ за окончаніемъ игры. Федоръ съ нерваго же хода даетъ бѣлому королю шахъ турой, затѣмъ пѣшкой и, наконецъ, за третьимъ ходомъ Борзуй получаетъ матъ. Такъ окончилась игра, вопреки ожиданію всѣхъ. Руку королевы получилъ Федоръ. Борзуй же уѣхалъ, не прощаясь. Поэтъ въ заключеніе говоритъ о себѣ:

Mnie też czas będzie uchwycić się brzegu,
 A odpocząć nieco sobie z biegu,
 Wysiadszy z morza, gdzie Widę przejmował,
 Który po wodach Auzońskich żeglował,
 Udatnym rymem opisując boje,
 Na których miecza nie trzeba, ni zbroje.

„Szachy“ написаны легкимъ одиннадцатисложнымъ размѣромъ, съ цезурой послѣ пятаго слога.

У Виды шахматную игру ведутъ между собою Меркурій и Аполлонъ, въ мнѣической странѣ эѳіоповъ. Итальянскій поэтъ, по всей вѣроятности, полагалъ, что эта игра была извѣстна римлянамъ, между тѣмъ какъ по новѣйшимъ даннымъ, изобрѣтенная, скорѣе всего, въ Индіи, она проникла въ Европу только во время Крестовыхъ походовъ. Вслѣдствіе этого, игра олимпійскихъ боговъ въ шахматы лишена историческаго основанія и представляется полнымъ анахронизмомъ. У Кохановскаго вмѣсто мнѣическихъ существъ играютъ люди, вслѣдствіе чего его произведеніе отличается большей жизненной правдой. Время и мѣсто также опредѣлены нашимъ поэтомъ съ

большей реальностью, чѣмъ итальянскимъ. Мѣстомъ дѣйствія у Кохановскаго является Данія, а время хотя и не обозначено съ точностью, тѣмъ не менѣе, оно ближе къ читателю, чѣмъ въ поэмѣ Види. Вслѣдствіе этого, „Szachy“ приобрѣли ту пластичность, которую получаетъ отдаленный предметъ, когда мы его приближаемъ къ нашему глазу.

Цѣль игры у Види первоначально не названа, только впоследствии оказывается, что наградой побѣдителю должна служить рошица, предназначенная для переселенія душъ изъ Гадеса. Въ данномъ случаѣ результатъ игры не могъ вызвать особеннаго интереса. Совсѣмъ другая цѣль выставлена Кохановскимъ, у котораго игра идетъ изъ за руки королевской дочери, что, безъ сомнѣнія, представляетъ для читателя гораздо больший интересъ, чѣмъ какая-то мнѣйшая, никому нужная рошица. Занимательность своего сюжета нашъ поэтъ усилилъ красивымъ и художественнымъ развитіемъ замысла. Очень удачно онъ обрываетъ игру до слѣдующаго дня, какъ разъ въ тотъ моментъ когда она уже приближается къ концу и, пользуясь этимъ промежутокъ времени, описываетъ чувства, волнующія каждаго изъ игроковъ въ продолженіе ночи. Кромѣ соперниковъ онъ вводитъ въ поэму королеву Анну, изъ за которой состязаются Борзуй и Федоръ, и характеризуетъ ея личность нѣжными и привлекательными чертами. Кохановскій, не высказывая этого прямо, даетъ намъ понять, что она неравнодушна къ Федору. Мы видимъ, какъ она старается содѣйствовать избраннику своего сердца загадочнымъ совѣтомъ, отъ разрѣшенія котораго будетъ зависѣть счастье Федора. Въ данномъ мѣстѣ нашъ поэтъ еще больше возбуждаетъ интересъ читателя, заставляя его волноваться за благополучное разрѣшеніе загадки избранникомъ королевы. Не утомляя нашего вниманія продолжительнымъ напряженіемъ, Кохановскій быстро заканчиваетъ игру къ удовольствію читателя, такъ какъ рука Анны достается Федору. Отсюда ясно, что самый планъ польской поэмы отличается совершенной самостоятельностью.

Къ сожалѣнію, нельзя сказать того-же о формѣ, въ которую Кохановскій облекъ свою мысль. Въ частностяхъ нашъ поэтъ занимается цѣлымъ выраженіемъ и мысли у Види, какъ, на примѣръ, описаніе положенія и хода фигуръ, также какъ всю послѣдовательность игры вплоть до прохода бѣлой пѣшки въ королевы. Съ этого мо-

мента онъ оставляетъ латинскій оригиналь и даже въ подробностяхъ становится совершенно самостоятельнымъ. Такимъ образомъ, Кохановскій на свою канву положилъ краски вьремонскаго поэта и только въ концѣ пользовался исключительно своимъ матеріаломъ. Трудно объяснить настоящую причину такого заимствованія, которое, можетъ быть, было простой данью гуманистическому направленію, не стѣснявшемуся въ употребленіи чужихъ классическихъ оборотовъ для своихъ произведеній и даже ставившему подобныя факты въ заслугу писателю. Присмотрѣвшись ближе къ польской поэмѣ, мы замѣчаемъ здѣсь слѣдующія заимствованныя или переведенныя мѣста: 1) вступленіе отъ 1 по 10 стихъ, 2) описаніе фигуръ и правилъ игры (59—108), 3) описаніе самой игры (135—271) и 4) то-же (301—446). Слѣдовательно, всѣхъ заимствованныхъ стиховъ изъ 602 строкъ поэмы оказывается около 330—340. Полной оригинальностью отличаются слѣдующія мѣста: 1) начало разсказа (11—58 ст.), 2) продолженіе разсказа (109—134), 3) эпизодъ въ игрѣ (272—300) и 4) продолженіе и конецъ разсказа (447—602). Сверхъ того, необходимо отмѣтить въ этой поэмѣ подражаніе Аріосту въ самомъ духѣ, тонѣ, а иногда даже стилистическихъ оборотахъ. Такъ, напримѣръ, окончаніе:

Mnie też czas będzie uchwycić się brzegu
I odroczynąć nieco sobie z biegu.

часто встрѣчается въ заключеніяхъ строфъ у Аріоста.

Несамостоятельность поэмы кажется только съ перваго взгляда такой значительной, на самомъ же дѣлѣ заимствованія нужно отнести только къ второстепеннымъ вещамъ, какъ, напримѣръ, подробности шахматной игры, хотя и въ нихъ встрѣчаются иногда собственныя мысли Кохановскаго. Слѣдовательно, самый планъ поэмы, какъ цѣлаго, ничуть не теряетъ ни оригинальности, ни свѣжести. Несомнѣнно, что „Scacchia ludus“, латинское произведеніе Виды, вызвало у Кохановскаго мысль описать шахматную игру въ формѣ поэмы. Разработка сюжета Кохановскимъ, какъ мы уже говорили выше, совершенно оригинальна и ничуть не зависитъ отъ латинскаго произведенія, такъ что эту поэму нельзя считать не только переводомъ, но даже подражаніемъ, или парафразой. Даже на тѣ частности, гдѣ нашъ поэтъ подражалъ Видѣ, ему удалось положить отпечатокъ своей оригинальности, такъ какъ онъ обогащаетъ поэму своими мелкими подробностями и пропускаетъ тѣ черты латинской поэмы, которыя казались

ему почему-либо не вполне подходящими. За произведеніемъ креховскаго поэта необходимо признать, кромѣ хронологическаго первенства больше достоинствъ въ обработкѣ подробностей и, главнымъ образомъ въ формѣ. „Szachy“ Кохановскаго по своему содержанію, по эпической простотѣ разсказа, по естественному изображенію чувствъ и мыслей дѣйствующихъ лицъ, по жизненности самой композиціи должны быть поставлены гораздо выше латинской поэмы.

Еще одинъ вопросъ остается затронуть намъ по поводу только что разобранной поэмы Кохановскаго, а именно: о малорусскихъ формахъ въ ея языкѣ. Такъ, напримъ, въ 554 стихѣ мы читаемъ: „*łasno dugować, kiedy przystępuje*“. Это самое выраженіе мы имѣемъ въ малорусскомъ: „добрѣ дурити, коли приступає“. Кромѣ того, отмѣтимъ слѣдующія формы „*ku potkaniu*“ (303 ст.)—„поткати ся“ (встрѣтиться), „*podmiatają*“ „пітмітати“ (въ смыслѣ подбрасывать), „*rozad* (439) „*wyciekli*“—„утікали“, „*szum*, „*duższy*“—„дужший“, „*osobny*“—„особный“ (въ смыслѣ красивый) и т. д. Также несомнѣнно народнымъ и, можетъ быть, малорусскимъ характеромъ отличается выраженіе въ 488 стихѣ: „*a jemu grafi psi za uchem wuja*“. Самое имя главнаго героя поэмы, *Федоръ*, не сомнѣнно обще-русскаго происхожденія.

Въ заключительныхъ стихахъ своей поэмы Кохановскій выражаетъ мысль, что ему пора отдохнуть послѣ продолжительнаго путешествія по морямъ, гдѣ онъ познакомился съ произведеніемъ Види. Не нужно искать болѣе яснаго указанія на время происхожденія поэмы чѣмъ это. Сопоставляя съ только что приведенными словами нашего поэта имя Тарновскаго, которому посвящены „Szachy“, мы смѣло можемъ сказать, что они написаны вскорѣ послѣ возвращенія Кохановскаго изъ заграницы, когда онъ поселился у Яна Тарновскаго, съ которымъ его связывали близкія отношенія еще до отъѣзда въ Италію и во время жизни въ Падуѣ. Можетъ быть, самое имя королевны заимствовалъ онъ у дочери гетмана, Анны. Въ пользу нашего предположенія о времени написанія этой поэмы говорятъ также малорусскіе обороты, въ которыхъ, насколько можно судить, онъ ни разу не прибѣгалъ въ стихотвореніяхъ, написанныхъ въ Италиі. Мы уже говорили, что имѣнія Тарновскихъ были расположены на границахъ Червонной Руси. Слѣдовательно, при дворѣ гетмана Кохановскій долженъ былъ слышать малорусскую рѣчь, которую онъ, можетъ быть, не безъ цѣли примѣнилъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своего произведенія. Его поэма изображаетъ эпизодъ изъ придворной жизни. Желая по

возможности вѣрно описать ея черты, Кохановскій присматривался къ окружающей его обстановкѣ и оттуда бралъ матеріалы для своего произведенія. Другого двора, кромѣ Тарновскихъ, онъ не видалъ; слѣдовательно, именно его обстановку, онъ долженъ былъ изображать, если хотѣлъ остаться вѣрнымъ дѣйствительности даже въ деталяхъ.

Можетъ быть, мѣстомъ дѣйствія онъ не случайно выбралъ Данію, намекая на романъ Тенчинскаго, разыгравшійся какъ разъ въ это время въ Швеціи, которая граничила съ Даніей. Намъ уже извѣстно, что Кохановскій избѣгалъ топографической точности въ своихъ произведеніяхъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, иногда не пропускалъ случая бросить какой-нибудь прозрачный намекъ на событіе, или мѣстность, такъ что и здѣсь онъ могъ въ лицѣ знатнаго чужестранца изобразить Тенчинскаго, а подъ Анной подразумѣвать шведскую принцессу Цецилію.

Постепенно въ душѣ нашего поэта итальянскія впечатлѣнія начинали сглаживаться, уступая мѣсто явленіямъ текущей дѣйствительности.

Въ 1560 году вступалъ на краковскую кафедру Филиппъ Паднѣвскій, занимавшій, кромѣ того, должность подканцлера.

Кохановскій въ пятой элегіи третьей книги ¹⁾ привѣтствуетъ новаго епископа, съ которымъ онъ, вѣроятно, былъ знакомъ раньше. Иначе нашъ поэтъ не употребилъ бы по отношенію къ нему выраженія „*decus tuum*“, которое, очевидно, указываетъ на болѣе или менѣе продолжительныя взаимныя отношенія между ними. Элегія, конечно, написана въ похвальномъ духѣ. Трудно сомнѣваться въ искренности похвалы поэта. Конецъ этой элегіи проф. Тарновскій ²⁾ считаетъ выраженіемъ строго католическихъ убѣжденій Кохановскаго который здѣсь совѣтуетъ епископу быть добрымъ пастыремъ, прогнать голодныхъ волковъ изъ своей овчарни и водворить въ церкви миръ. Краковскій профессоръ подъ голодными волками подразумѣваетъ протестантовъ, желавшихъ завладѣть церковными имуществами и на этомъ, главнымъ образомъ, основываетъ свое мнѣніе. Хотя эта догадка не лишена извѣстной доли остроумія, однако она совершенно не доказываетъ въ строгомъ смыслѣ католическихъ убѣжденій Кохановскаго. Теперь, когда намъ извѣстны вновь открытыя руко-

¹⁾ См. W. P. III, 104.

²⁾ Op cit. 185 p.

писныя элегіи нашего поэта, проникнутыя религіознымъ свободоми-слиемъ, мы, даже помимо другихъ данныхъ, должны одвергнуть мнѣніе Тарновскаго. Кромѣ того, развѣ однихъ только протестантовъ нужно считать голодными волками по отношенію къ церкви? Развѣ въ средѣ самого католическаго духовенства не было такихъ недостойныхъ служителей алтаря, которые своей жадностью по истинѣ напоминали голодныхъ волковъ и создавали недоразумѣнія, нарушавшія церковный миръ и усиливавшія протестантское движеніе? Естественно было Кохановскому, какъ горячему стороннику мира и, вмѣстѣ съ тѣмъ, человѣку, хорошо знакомому съ истиннымъ положеніемъ вещей, требовать отъ новаго епископа энергическихъ мѣръ для уничтоженія самаго корня зла. Наконецъ, эпитетъ „голодный“ могъ быть употребленъ нашимъ поэтомъ безъ всякой цѣли намекнуть на чьи-либо корыстолюбивыя побужденія; этотъ эпитетъ какъ-то самъ собою прилагается къ понятію „волкъ“ и въ данномъ случаѣ простое стилистическое явленіе было истолковано почтеннымъ браковскимъ профессоромъ какъ ясно выраженный намекъ на стремленіе протестантовъ завладѣть церковными имуществами. Итакъ, если мы остановимся на пониманіи слова „голодный“, какъ простаго фигурнаго выраженія, то мысль, высказанная Кохановскимъ въ заключеніи своей элегіи, принимаетъ еще болѣе простой видъ: поэтъ совѣтуетъ епископу блюсти церковь отъ всякихъ вредныхъ людей, безъ различія ихъ вѣроисповѣданія. Допустимъ даже, что Тарновскій правильно объясняетъ эпитетъ „голодный“, все таки на этомъ одномъ основаніи нельзя считать Кохановскаго строгимъ католикомъ, потому что у насъ нѣтъ никакихъ данныхъ предполагать въ немъ такую быструю и ничѣмъ не вызванную перемену. По нашему мнѣнію, Кохановскій въ своемъ заключеніи отнюдь не касался своихъ собственныхъ убѣжденій и попросту повторилъ стереотипный совѣтъ, даваемый обыкновенно всякому новому епископу.

По своей моральной тенденціи, въ связи съ предыдущей элегіей, находится первая пѣснь первой книги ¹⁾, представляющая простую передѣлку двадцать четвертой оды третьей книги Горация. Содержаніе пѣсни не вяжется съ веселымъ и немножко легкомысленнымъ характеромъ Кохановскаго. Впрочемъ, въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, такъ какъ и самому веселому человѣку свойственны минуты

¹⁾ См. W. P. I. 267.

грустной задумчивости, когда все окружающее принимает болѣе мрачную окраску и моральныя тенденціи сами собою напрашиваются на уста. Кто знаетъ, можетъ быть, Кохановскій пришелъ въ такое состояніе духа при видѣ грусти тѣхъ высокопоставленныхъ лицъ, къ которымъ онъ былъ близокъ, когда ихъ печалила судьба Рѣчи Посполитой? Тогда, вѣроятно, и написалъ нашъ поэтъ свою пѣснь. Нельзя предполагать, чтобы это грустное и серьезно обдуманное стихотвореніе было написано тотчасъ по возвращеніи Кохановскаго изъ заграницы; для этого необходимо было хорошо присмотрѣться къ окружающей обстановкѣ и познакомиться съ государственными людьми. Всѣ вынесенныя впечатлѣнія необходимо было хорошенько обсудить и взвѣсить, для чего требовалось не мало времени, и только тогда могло создаться подобное произведеніе. Знакомство съ такими лицами, какъ Паднѣвскій, хорошо освѣдомленными въ темныхъ и неприглядныхъ сторонахъ политической и общественной жизни Рѣчи Посполитой, могло побудить поэта къ написанію стихотворенія политико-дидактическаго содержанія, которое, благодаря красивой формѣ и авторитету Горация, должно было подѣйствовать на общественное мнѣніе и принести какіе-либо благіе результаты. Содержаніе этой пѣсни въ нѣкоторыхъ чертахъ сходится съ двумя позже написанными нашимъ поэтомъ произведеніями, каковы: „Satyr“ и „Zgoda“, и является какъ-бы подготовительнымъ предисловіемъ къ нимъ. Въ этомъ стихотвореніи видны слѣды политическихъ понятій и стремленій Кохановскаго, которые позже выражались имъ чаще и въ болѣе опредѣленной формѣ. Здѣсь они еще далеко не отличаются практичностью, а носятъ скорѣе дидактическій характеръ. Весь смыслъ этого произведенія сводится къ общимъ жалобамъ на губительныя послѣдствія жадности, испорченности и изнѣженности. Строфа, гдѣ поэтъ жалуется на то, что „nie umie syn szlachecki na koń wsiąść“, очень напоминаетъ мѣста изъ „Сатира“. Политическую тенденцію также можно видѣть въ слѣдующихъ мѣстахъ:

„kto chce ojczyzny ojcem być nazwany, niech objeździć swą wolą
śmie nieukróconą“ и

Co po tych skargach próżnych, jeżeli na występy

Przez szparę, jako mówią, patrzy urząd tępy?

Po co statut i prawa chwalebne stawiamy,

Jeżeli się obyczajów dobrych nie trzymamy

Можетъ быть, всѣ эти идеи нашему поэту случилось слышать отъ Паднѣвскаго. Выступая впервые на новомъ для себя поприщѣ политическаго писателя, онъ заимствовалъ форму для ихъ выраженія у Горація, руководствуясь господствовавшими тогда симпатіями въ античной поэзіи. Рассмотрѣнное стихотвореніе написано тринадцатисложнымъ размѣромъ съ цезурой послѣ седьмого слога.

Къ этому же періоду, вѣроятно, относится десятая пѣснь первой книги ¹⁾, написанная въ подражаніе двѣнадцатой одѣ первой книги Горація (*Carmen Saeculare*). Приподнятый тонъ отличается искусственностью и холодностью. Это стихотвореніе лишено всякаго вдохновенія и носить школьный, обязательный характеръ. Отсюда можно сдѣлать заключеніе, что оно написано въ теченіе первыхъ лѣтъ жизни Кохановскаго по возвращеніи на родину. Здѣсь онъ имѣлъ въ виду обратиться на себя общественное вниманіе. Изъ заключительной похвалы Сигизмунду Августу видно, что стихотвореніе возникло еще въ царствованіе этого короля. Начало пѣсни похоже на одно изъ стихотвореній Ронсара, который, въ свою очередь, подражалъ Горацію. Еще ближе стоитъ разсматриваемая пѣснь въ похвалѣ герцога изъ дома Эсте въ III пѣсни „*Orlando furioso*“ (отъ 24 до 59 строфы). Аріосто начинаетъ свою похвалу слѣдующими словами:

Chi mi dara la voce e le parole,
Chi l'ale al verso pretera.

Кохановскій говоритъ почти то-же самое:

Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióru.

Въ слѣдующихъ четырехъ строфахъ нашъ поэтъ перефразируетъ общезвѣстные мѣста изъ псалмовъ (слѣдовательно уже тогда онъ былъ знакомъ съ псалтырью). Переходя къ изложенію самаго предмета своей пѣсни, Кохановскій говоритъ:

Widzę Jagełła i dwu Kazimierzu,
Dobrych tak w boju, jako i w przymierzu
Widzę i ciebie, gwieździe głównym prawie
Сny Władysławie.

Это мѣсто весьма напоминаетъ 26 строфу „*Орланда*“:

Vedi qui Alberto, invitto Capitano
Ch'ornera di trofei tanti delubri,

¹⁾ См. W. P. I. 270.

Ugo il figlio è con lui, che di Milano
Fara l'acquisto

Приведенныхъ параллелей достаточно, чтобы установить фактъ подражанія Кохановскаго Аріосту.

Каждая строфа польскаго стихотворенія состоитъ изъ четырехъ строкъ, при чемъ первыя три написаны одиннадцатисложнымъ размѣромъ съ цезурой послѣ пятаго слога, а послѣдній стихъ заключаетъ въ себѣ только пять слоговъ.

Въ 1561 году скончался гетманъ, Янъ Тарновскій, покровитель нашего поэта. Кохановскій изъ чувства долга и горячей признательности къ нему написалъ по этому поводу латинскую элегію и польское стихотвореніе. Элегія на смерть Тарновскаго ¹⁾ произвела въ Польшѣ сильное впечатлѣніе, какъ видно изъ свидѣтельства Ожеховскаго. И латинская элегія, и польское стихотвореніе ²⁾ въ цѣломъ очень походятъ другъ на друга. Хотя польское стихотвореніе гораздо длиннѣе второй элегіи четвертой книги, однако въ обоихъ произведеніяхъ заключены одинаковыя мысли, тѣ же самыя похвалы и утѣшенія сыну покойнаго; все это носитъ нѣсколько условный характеръ. Польское стихотвореніе обращено къ сыну и начинается очень красиво, латинская же элегія непосредственно къ умершему.

Въ польскомъ есть прекрасное выраженіе:

Nakoniec peřen wieku i przystojnej chwały
Sam się prawie położył jako kłós dojrzały.

и въ латинскомъ:

Atque ut durus Atlas stellatam sustinet axem
Res humeris ita erat nixa Polona tuis.

Въ обоихъ стихотвореніяхъ видна одна и та же философская мораль, свойственная Цицерону и античнымъ мудрецамъ. Не слѣдуетъ, по словамъ поэта, оплакивать того, кто, исполненный заслугъ, отошелъ въ вѣчность и оставилъ по себѣ добрую славу. Такой человекъ не умираетъ. Все на свѣтѣ имѣетъ свой конецъ. Нѣтъ уже теперь ни Каррагена, ни Рима. Нужно примириться съ волей Божьей, подражать примѣру почившаго и этимъ чтить его память.

¹⁾ См. W. P. III. 162.

²⁾ См. W. P. II. 358.

Въ обоихъ произведеніяхъ поэтъ относится къ самому факту смерти съ холоднымъ равнодушіемъ.

Польское стихотвореніе написано звучнымъ тринадцатисложнымъ стихомъ съ цезурой послѣ седьмого слога.

Въ 1562 году не стало Тенчинскаго. И его смерть также оплакалъ Кохановскій въ двухъ стихотвореніяхъ на польскомъ ¹⁾ и на латинскомъ ²⁾ языкахъ. Они отличаются отъ предыдущихъ меньшимъ сходствомъ между собою и большею силою чувства. Безвременныя кончина сверстника, конечно, должна была сильнѣе тронуть молодого поэта. Грустныя обстоятельства, сопровождавшія смерть юнаго Балскаго воеводы, свадьба, къ которой онъ приготовлялся, наконецъ личность и санъ его невѣсты окружали это событіе поэтическимъ ореоломъ и сдѣлали Тенчинскаго героемъ романовъ, написанныхъ позднѣйшими писателями. Если-бы нашего поэта связывали съ умершимъ воеводой болѣе близкія отношенія, то посвященные его памяти стихотворенія заключали бы въ себѣ еще больше грусти. Съ именемъ Тенчинскаго соединялись у Кохановскаго воспоминанія объ Италиі, о чемъ свидѣтельствуетъ четвертая элегія третьей книги и въ этомъ, главнымъ образомъ, заключается разница между ней и польскимъ „Воспоминаніемъ“ (Pamiętka). Изъ первыхъ словъ этой элегіи, судя по выраженію: „Quartus, ni fallor vertitur annus“, какъ Тенчинскій живетъ за границей, можно вывести заключеніе, что начало ея было написано гораздо раньше, по всей вѣроятности, еще во Франціи, при встрѣчѣ съ Тенчинскимъ, или въ Польшѣ, когда Кохановскій узналъ о его предполагаемомъ путешествіи въ Италію. Первоначальной мыслью нашего поэта было, вѣроятно, выраженіе своихъ добрыхъ пожеланій увѣжавшему земляку и, вмѣстѣ съ тѣмъ, воспоминаніе о томъ, что ему самому еще такъ недавно приходилось видѣть. Элегія эта очень интересна, какъ единственное подробное воспоминаніе нашего поэта объ Италиі вмѣстѣ съ ея описаніемъ. Нужно, однако, сказать, что описаніе сдѣлано въ самыхъ общихъ чертахъ, безъ всякаго слѣда сильнаго поэтическаго впечатлѣнія. Благодатный климатъ вѣчной весны и обильныя жатвы безъ особеннаго труда только и запечатлѣлись съ наибольшей силой въ памяти

¹⁾ См. W. P. II. 367.

²⁾ См. W. P. III. 100.

поэта. Далѣ у Кохановскаго слѣдуетъ сухой перечень рѣвъ, съ которыми придется встрѣтиться путешественнику по Итали, и городовъ, изъ которыхъ нашъ поэтъ останавливается на Римѣ, пришедшемъ почти въ совершенный упадокъ. Послѣднее обстоятельство наводитъ Кохановскаго на размышленія о бренности всего, что создано человѣческими руками. На этомъ, вѣроятно, и закончилъ поэтъ свою элегію и только впоследствии, когда узналъ о смерти Тенчинскаго, прибавилъ заключеніе: *Neu miserande puer! tot bona tam parvo clausa tumulo.*

„*Ramiętka Janowi z Tęczyна*“ навѣяна его смертью и цѣликомъ вылилась вслѣдъ за полученіемъ этого печальнаго извѣстія. Здѣсь описывается слава фамиліи Тенчинскихъ, добродѣтели и жизнь молодого воеводы. Затѣмъ слѣдуетъ рассказъ объ его первомъ путешествіи въ Швецію, его романъ, въ которомъ онъ сравнивается съ Тезеємъ, а Цецилія съ Ариадной, ихъ нѣжное прощаніе и взаимныя клятвы, которыми они обмѣнивались при отъѣздѣ Тенчинскаго въ Польшу. Далѣ идетъ описаніе его вторичнаго отъѣзда, внезапнаго заключенія въ тюрьму, болѣзни и смерти. Все это занимаетъ около трехсотъ стиховъ. Хороши проникнутыя грустью прощальныя слова умирающаго, обращенныя къ матери и къ невѣстѣ. Можетъ быть, это и есть передача его подлинныхъ словъ, такъ какъ описаніе болѣзни и послѣднихъ минутъ кажется пересказаннымъ по словамъ очевидцевъ.

Изъ стихотвореній, относящихся въ данному періоду и посвященныхъ другимъ лицамъ, у Кохановскаго есть немалое количество, написанныхъ въ Фирлеямъ, о которыхъ онъ всегда вспоминаетъ съ любовью и уваженіемъ. Трудно, однако, опредѣлить, кому изъ этой фамиліи и когда именно написано каждое изъ нихъ. Напримѣръ, „Эпитафія“ Николаю Фирлею можетъ относиться къ тому самому лицу, которому еще Кшицкій писалъ надгробную надпись, такъ какъ въ стихотвореніи Кохановскаго говорится о геройской смерти отъ руки непріятеля. Другой Николай Фирлей не погибалъ на полѣ битвы, третій, сынъ маршалка, пережилъ Кохановскаго. Самыя красивыя изъ латинскихъ стихотвореній нашего поэта написаны въ Фирлеямъ, а именно: возвышенная третья элегія четвертой книги ¹⁾ и пятая ода изъ „*Lyricorum libellus*“ ²⁾. Желая опредѣлить, кому изъ

¹⁾ См. W. P. III. 171.

²⁾ См. W. P. III. 266.

Фирлеевъ онѣ посвящены, Станиславъ Тарновскій даетъ слѣдующую гипотезу¹⁾: Янъ Фирлей, маршалокъ, былъ значительно старше Кохановскаго, такъ какъ участвовалъ въ посольствахъ еще въ то время, когда нашъ поэтъ былъ подросткомъ. Сынвья маршалка были моложе Кохановскаго, но не настолько, чтобы между ними и поэтомъ не могло существовать почти товарищескихъ отношеній, такъ какъ старшій изъ нихъ, Николай, уже въ 1573 году ѣздилъ съ посольствомъ къ королю Генриху II. Отсюда можно предполагать, что болѣе серьезная по содержанію третья элегія, вѣроятно, была посвящена маршалку, а болѣе легкая и веселая—его сыновьямъ.

Однако, по своей формѣ эти произведенія такъ хороши, что ихъ трудно отнести къ раннему періоду творчества Кохановскаго; скорѣе они возникли уже въ то время, когда нашъ поэтъ закончилъ свое образованіе. Эпиграмму „In Villam Dambrovitiam“ и „Epitaphium“ можно было бы отнести и къ школьнымъ годамъ жизни Кохановскаго, если только этотъ Николай дѣйствительно дядя маршалка.

Вѣроятно, уже по возвращеніи изъ-за границы нашъ поэтъ написалъ пятнадцатую элегію первой книги²⁾ „О Вандѣ“. Тарновскій считаетъ необходимымъ нѣсколько умѣрить тѣ похвалы, которыми награждаетъ Лёвенфельдъ это произведеніе, какъ самое объективное и совершенное въ творествѣ Кохановскаго. По словамъ уважаемаго краковскаго профессора³⁾, эта элегія по своему типу ничѣмъ не отличается отъ гуманистическихъ произведеній въ этомъ родѣ, хотя ей нельзя отказать въ нѣкоторыхъ литературныхъ достоинствахъ: отдѣлка ея по тщательности доведена до послѣдней степени возможности, выборъ темы и умѣніе развить ее, при помощи приобрѣтенныхъ наукой матеріаловъ, составляетъ также не малую заслугу для польскаго поэта. Въ виду того, что Кохановскій въ болѣе поздніе годы своей жизни уже оставляетъ въ своихъ стихотвореніяхъ мифологическіе и легендарные сюжеты для явленій текущей дѣйствительности, можно думать, что эта элегія написана имъ еще въ то время, когда, только-что вернувшись изъ заграницы, онъ хотѣлъ заявить о себѣ хоть чѣмъ-нибудь, сдать какъ-бы публичный экзаменъ въ тѣхъ

См. Tarnowski. Op. cit p 191.

) См. W. P. III. 46.

) Ibid. p. 192.

свѣдѣніяхъ и талантахъ, которые онъ пріобрѣлъ и развилъ въ чужихъ странахъ путемъ многолѣтняго труда.

Сейчасъ мы разсмотрѣли тѣ изъ стихотвореній Кохановскаго, въ которыхъ отразились воспоминанія объ Италіи, легендарные сюжеты, или внѣшнія событія въ теченіе первыхъ лѣтъ жизни нашего поэта по возвращеніи на родину. Въ нихъ уже начинаютъ складываться политическія убѣжденія, которыя онъ высказывалъ позже съ большей опредѣленностью и силой. Всѣ его симпатіи въ данное время привлекаетъ гуманистическое стремленіе къ мирному процвѣтанію родного края.

III.

„Фрашки“, какъ форма литературныхъ произведеній. Ея возникновеніе и дальнѣйшая исторія. „Facetiae“ Поджіо Браччіоліни, Бебеля, Гаста и другихъ гуманистовъ. „Figliki“ Николая Рея изъ Нагловиць. „Фрашка и“, „Fogicoenia“ и „Aporhtegmata“ Яна Кохановскаго. Ихъ отношеніе къ фацеціямъ гуманистовъ и Рея. Ихъ самобытный характеръ. „Фрашки“ и „Fogicoenia“, какъ отраженіе всей интимной жизни поэта. Застольныя, анакреонтическія и шутивыя стихотворенія. Отношеніе Кохановскаго къ друзьямъ и благодѣтелямъ. Нападки на духовенство. Религіозные взгляды поэта. Его отношеніе къ себѣ и къ своимъ произведеніямъ.

Въ только-что разобранныхъ нами произведеніяхъ Кохановскій отзывался на явленія преимущественно общественнаго характера. Для освѣщенія частной жизни поэта въ занимающую насъ эпоху необходимо познакомиться съ его „Фрашками“, латинскими эпиграммами, извѣстными подъ названіемъ: „Fogicoenia“, а также и „Апофтегмами“. Всѣ эти произведенія такъ тѣсно связаны между собою содержаніемъ и формой (за исключеніемъ изложенныхъ прозой „Апофтегмъ“), что разбирать ихъ въ отдѣльности нѣтъ никакого основанія.

„Фрашка“, „Fogicoenia“ и „Aporhtegmata“ относятся въ тому типу литературныхъ произведеній, который извѣстенъ на Западѣ подъ именемъ: *Schwänke*, *Facetien*, *facétie*, *contes à rire*, *facezie*, *burle* и т. п. Такіе анекдоты существовали еще въ античной литературѣ, какъ напр. въ трактатѣ Цицерона: „De oratore“ мы встрѣчаемъ ихъ въ значительномъ количествѣ. Въ средніе вѣка немало ихъ можно

встрѣтить въ французскихъ „fabliaux“ и даже церковныхъ проповѣдяхъ.

Ранніе итальянскіе гуманисты придали этимъ бродячимъ анекдотамъ классическій характеръ и сдѣлали изъ нихъ совершенно самостоятельную отрасль беллетристики ¹⁾. Творцомъ фацецій въ истинномъ значеніи этого слова былъ Поджіо Браччіолини (1380—1459). секретарь и любимецъ папы Николая V, у котораго время отъ времени собирався кружокъ веселыхъ и остроумныхъ собесѣдниковъ, забавлявшихся рассказываніемъ различныхъ анекдотовъ и смѣшныхъ приключеній. Въ числѣ лицъ составлявшихъ эту компанію былъ грамматикъ Антоніо Лоски, поэтъ Агапито Ченчи де Рустичи и нѣкій Разелло изъ Болоньи. Мѣсто, гдѣ они собирались, называлось „bugiale“ т. е., какъ объясняетъ Поджіо, „mendaciorum veluti officina quaedam“. Всѣ рассказанные тутъ анекдоты и приключенія были собраны папскимъ секретаремъ и изданы подъ заглавіемъ: „Facetiae“.

Большая часть заключающихся въ нихъ повѣствованій носятъ непристойный, порнографическій характеръ; иные анекдоты осмѣиваютъ раснущенность кардиналовъ, иные касаются излишняго любопытства духовниковъ, невѣжества и глупости духовенства и т. п.

„Фацеціи“ Поджіо вполне соответствовали духу своего времени и встрѣтили въ публикѣ самый радушный пріемъ, о чемъ краснорѣчиво свидѣтельствуетъ тотъ фактъ, что въ теченіе XV столѣтія онѣ выдержали двадцать шесть изданій, не считая множества расходившихся одновременно рукописныхъ ихъ копій ²⁾.

Поджіо своимъ сборникомъ начинаетъ эпоху фацецій, составляющихъ одну изъ наиболѣе существенныхъ отраслей беллетристики Ренессанса ³⁾. Съ его легкой руки возникаетъ множество новыхъ сборниковъ фацецій по латыни и на народныхъ языкахъ. Источниками для нихъ кромѣ Поджіо служатъ произведенія народнаго творчества и преимущественно вся средневѣковая морально теологическая литература, какъ то: „Gesta Romanorum“, „Dialogus creaturarum“, „Disciplina clericalis“ Петра Альфонса, „Historia septem sapientum“ и др.

¹⁾ См. Voigt. Die Wiederbelebung des classischen Alterthums oder das erste Jahrhundert des Humanismus. Zweite Ausgabe. II, S. 414.

²⁾ Voigt. Op. cit. II t., p. 417.

³⁾ См. F. Bobertag. Geschichte des Romans und der ihm verwandten Dichtungsgattungen in Deutschland. Breslau. 1876, S. 114.

Богатый матеріалъ представляли въ этомъ отношеніи также средне-вѣковыя проповѣди, переполненныя всевозможными баснями и анекдотами, очень часто совершенно не идущими къ дѣлу. Вскорѣ послѣ своего выхода въ свѣтъ „Фацеціи“ Поджіо были переведены на французскій языкъ, вслѣдъ за тѣмъ уже на французской почвѣ возникли сборники Ноэля дю Файля и др.

Въ Германіи уже въ 1486 году Августинъ Тюнгеръ приготовлялъ къ печати собраніе анекдотовъ, которое однако вышло въ свѣтъ только въ наши дни ¹⁾. Фацеціи Поджіо вошли въ сборникъ Себастіана Бранта: „Esopi apologi sive mythologi cum quibusdam carminum et fabularum additionibus. Basileae 1501“. Творцомъ-же нѣмецкихъ народныхъ фацецій, хотя и на латинскомъ языкѣ, былъ гуманистъ Генрихъ Бебель ²⁾, который съ большимъ остроуміемъ характеризуетъ безнравственность, ограниченность, жадность и продажность католическаго духовенства, глупость и наивность своихъ согражданъ, а также и порнографіи удѣляетъ значительное мѣсто. Бебель нашелъ себѣ многихъ подражателей, изъ которыхъ отмѣтимъ Люсциніуса „Joci ac sales mire festivi . . . Augustae Vindelicorum 1524“ и Гаста „Convivales sermones. Basileae 1543“. На ряду съ этими латинскими сборниками явились и на нѣмецкомъ языкѣ—„Schimpf und Ernst. 1522“ доминиканца Паули, „Rollwagenbüchlein 1555“ Виевкрама и др.

Въ Польшѣ первымъ сборникомъ фацецій были „Figliki“ Николая Рея изъ Нагловиць, вышедшіе первымъ изданіемъ въ 1562 году. Предшественникомъ Рея на этой почвѣ былъ, по свидѣтельству біографа Андрея Кшицкаго ³⁾, нѣкій шляхтичъ, Корыбутъ Коширскій, изъ земли Сохачевской, весьма извѣстный своимъ остроуміемъ и пользовавшійся самой широкой популярностью среди шляхты. По словамъ Гурскаго, если-бы записать всѣ рассказанные имъ анекдоты, то они составили-бы нѣсколько томовъ. Вотъ этотъ именно Корыбутъ Коширскій и былъ, по свидѣтельству вышеупомянутаго біографа, авторомъ фацецій, заключающихся въ произведеніяхъ Андрея Кшицкаго, каковы, напр.: „De aegroto et medico vinoso“, „Responsum puellae ad sacerdotem“, „De sacerdote et confitente“ и др.

¹⁾ См. A. Tüngers Facetien, herausgegeben von Keller. Stuttgart und Tübingen 1875.

²⁾ См. Bobertag. Op. cit. p. 128.

³⁾ См. Andreae Cricii carmina. edidit Cas. Morawski. Cracoviae. 1888, p. XXXIX.

По формѣ „Figliki“ Рея представляютъ исключительно восьмистишія, написанныя, по преимуществу, тринадцатисложнымъ размѣромъ. Въ ихъ содержаніи главное мѣсто занимаетъ элементъ сатирической. Авторъ смѣется надъ легковѣріемъ, глупостью и грубостью крестьянъ, а иногда и мѣщанъ; но больше всего достается отъ Рея духовенству: ксендзамъ, монахамъ, епископамъ и кардиналамъ. Фацеціи эти являются какъ-бы иллюстраціей въ сатирѣ на католическое духовенство, выраженной въ „Звѣринцѣ“, „Апокалипсисѣ“ и другихъ произведеніяхъ поэта-протестанта. Больше всего нападаетъ онъ на нравственную распущенность духовенства, на его честолюбіе, скупость, пьянство и обжорство. Догматы и обряды католической церкви подвергаются въ фацеціяхъ Рея самому грубому осмѣянію ¹⁾).

Характерной особенностью фацецій Рея является то, что въ нихъ почти совершенно не фигурируетъ польская шляхта. Только разъ вооружается онъ противъ излишества въ угощеніяхъ за обѣдомъ у шляхтича. Зато литвинамъ не разъ достается отъ Рея такъ же, какъ нѣмцамъ и чехамъ. Изъ общественныхъ недуговъ отмѣчаетъ онъ продажность судій и чрезмѣрную склонность поляковъ къ религіознымъ диспутамъ. Остальную часть фацецій Рея составляютъ различные анекдоты, шутки, смѣшныя приключенія, частью заимствованныя изъ сборниковъ Поджіо, Бебеля, Гаста, Абстеміуса, Эразма Роттердамскаго (*Familiaria colloquia*), басенъ Эзопа, бродячихъ анекдотовъ, частью возникшіе на польской почвѣ.

Къ послѣдней категоріи относятся преимущественно тѣ, въ которыхъ говорится о писаніи на стѣнахъ смѣшныхъ, или непристойныхъ стихотвореній, чего ни въ одной изъ западно-европейскихъ литературъ мы не встрѣчаемъ. Сюда же нужно отнести фацеціи юморъ которыхъ основывается на игрѣ польскихъ словъ.

Въ общемъ „Figliki“ Рея по своему содержанію стоятъ весьма близко къ подобнымъ же сборникамъ западно-европейскихъ фацецій. Въ одномъ только польскій поэтъ позволяетъ себѣ отступить отъ своихъ литературныхъ образцовъ, это именно въ склонности къ морализаціи, которая представляетъ отличительную особенность его творчества. Не только многія изъ его фацецій заканчиваются коротень-

¹⁾ См. *Rozprawy Akademii Umiejętności*, t. XXIII, str. 330 (Ignacy Chrząnowski. *Facecye Mikolaja Reja*).

скими нравственными сентенціями, но иногда даже цѣликомъ посвящены морали, какъ, напримѣръ, первое стихотвореніе: „Król więс Zygmunt powieдаł“, или „Nato, iż namъ zawżdy mało“ и т. п.

Вскорѣ послѣ изданія ꙗцеціи Николая Рея, а, можетъ быть, и нѣсколькими годами раньше, въ Польшѣ стали распространяться и приобрѣтать заслуженную извѣстность ꙗцеція Яна Кохановскаго, названныя имъ „Фрашками“. (Извѣстно, что и Рей свои „Figliki“ называлъ также ꙗрашками, что собственно значить—пустыя, незначащія вещи). Свидѣтельство объ этомъ мы имѣемъ въ „Дворянинѣ“ Лукаша Гурницекаго¹⁾, который, приводя анекдотъ о любельскомъ помящикѣ, по фамилии Козлѣ, говоритъ, что Кохановскій „rzecz tę w swoichъ Fraszkachъ bardzo trefnie wierszemъ powiedział“²⁾.

Къ тому же времени относятся латинскія „Foricoenia“ нашего поэта, почти тождественныя по содержанію его польскимъ ꙗрашкамъ. Нѣкоторыя изъ послѣднихъ представляютъ точный переводъ латинскихъ эпиграммъ Кохановскаго. Тогда же, вѣроятно, возникли и и прозаическіе анекдоты Яна, извѣстные подъ названіемъ „Aporhtegmata“. Многія изъ ꙗрашекъ и латинскихъ эпиграммъ нашего поэта были написаны гораздо раньше указаннаго нами времени, еще въ годы его падуанской и краковской жизни и продолжали выходить изъ подъ пера Кохановскаго вплоть до послѣднихъ дней его. Въ пользу этого свидѣлствуетъ содержаніе значительнаго числа вышеупомянутыхъ произведеній, печатные сборники которыхъ, просмотрѣнные самимъ авторомъ, вышли лишь въ годъ его смерти (1584). „Aporhtegmata“—же появились въ изданіи Янушовскаго „Fragmenta, albo pozostałe pisma Jana Kochanowskiego. W Krakowie, w drukarni Łazarzowej, roku Pańskiego 1590“.

Въ этихъ изданіяхъ дошло до насъ: 1) три книги ꙗрашекъ, изъ которыхъ первая заключаетъ въ себѣ 96 небольшихъ стихотвореній, вторая 106, третья—94 (изъ нихъ ꙗрашки, начиная отъ 87, составляютъ какъ-бы отдѣльную тетрадку, озаглавленную „Dobrymъ towarzyszomъ gwoli“); 2) „Foricoenia sive epigrammatumъ libellus“, состоящія изъ 123 эпиграммъ; 3) „Aporhtegmata“, заключающія въ себѣ 23 ꙗцеціи.

¹⁾ См. St. Tarnowski. Op. cit. p. 210.

²⁾ См. „Dworzanin“ Łukasza Górnickiego. Wyd. 1639 roku. stron. 169.

Изъ всѣхъ этихъ произведеній въ классическому образцу Поджіо Браччіолини, Бебеля, Гаста и другихъ наибольшую близость отличаются „Aprophtegmata“, которые представляютъ изъ себя собраніе остроумныхъ анекдотовъ. „Фрашки“ же и „Fogicoenia“, на ряду съ анекдотами, остроумной игрой словъ и насмѣшками надъ различными отрицательными явленіями, заключаютъ множество стихотвореній совершенно иного характера. Здѣсь можно встрѣтить восторженные гимны женской красотѣ и пропитанная желчью сатирическія эпиграммы на недостойныхъ избранницъ поэта, полныя искренняго чувства дружескія изліянія и выраженія горькаго разочарованія въ людяхъ, стихотворенія, дышущія строгой стоическою моралью и анакреонтическія, подъ часъ фривольныя пѣсни въ честь Вакха и Киприды, горячія молитвы искренно вѣрующаго христіанина и безотрадные размышленія философа скептика надъ тайнами мірозданія. Словомъ, въ фрашкахъ и эпиграммахъ, какъ въ зеркалѣ, отразилась вся полная противорѣчій, полная радостей и невзгодъ жизнь польскаго поэта гуманиста, который не даромъ такъ выражается о своихъ фрашкахъ:

Fraszki nieprzeplacone, wdzięczne fraszki moje,
 W które ja *wszystki kładę tajemnice swoje*,
 Obrałliby się kiedy kto tak pracowity,
 Żeby w was chciał wyczerpać umysł mój zakryty.
 Powiedźcie mu, niech próżno nie frasuje głowy,
 Bo się w dziwny labirynt i błąd wda takowy,
 Zkąd żadna Ariadna, żadne kłębki tylne
 Wywieść go móc nie będą, tak tam ścieżki mylne ¹⁾...

или въ другомъ мѣстѣ:

Fraszki tu niepoważne z statkiem się zmieszały....
 A ja, jako bogaty kupiec w sklepie wielkim
 Rozkładałam swe towary cudzoziemcóm wszelkim,
 Tu bisiór, tu koftery, tu Włoskie zaponki,
 Sam dalej pothatłasie i czarne pierścionki. ²⁾

Такое разнообразіе содержанія составляетъ главное отличіе фрашекъ Яна Кохановскаго отъ подобныхъ же произведеній западныхъ

¹⁾ См. W. P. t. II, str. 415.

²⁾ См. W. P. t. II, str. 420.

гуманистовъ. Въ фразеахъ нашъ поэтъ является, если такъ можно выразиться, еще ббльшимъ гуманистомъ, чбмъ его предшественники въ этомъ направленіи, такъ-какъ свои „Фразеи“ и „Fogicoenia“ строить преимущественно по образцу эпиграммъ античныхъ лириковъ. Онъ не только подражаетъ имъ въ отдбльныхъ стихотвореніяхъ, но даетъ иногда переводы изъ классическихъ антологій, греческой и римской. Вотъ эти то антологіи и послужили Кохановскому типомъ для его сборника фразекъ и эпиграммъ, а форма произведеній, выработанная Поджіо и его школой, нашла себбъ выраженіе только въ нбкоторыхъ стихотвореніяхъ нашего поэта, не лишенныхъ иногда порнографическаго реализма, въ нападкахъ на духовенство, (которыя, конечно, имбли фактическую подкладку въ Польшб того времени) въ остротахъ и шуткахъ, разсыпанныхъ щедрой рукою среди фразекъ и эпиграммъ.

Эти же самыя черты сближаютъ „Фразеи“ и „Fogicoenia“ Кохановскаго съ фацеціями Николая Рея. Кромб того общими мбстами у обоихъ поэтовъ является склонность къ морализаціи и нбкоторые факты, составляющіе исключительную особенность польской жизни, каковы, напримбръ, обычай писать на стбнахъ пасквильныя стихотворенія¹⁾. Наконецъ въ нбкоторыхъ фразеахъ и апофтегмахъ Кохановскаго есть мотивы, уже разработанныя равнше Реемъ въ его фацеціяхъ. Возьмемъ, напримбръ, изъ „Aporhtegmata“ двбнадцатый анекдотъ²⁾, гдб описывается случай съ королемъ Сигизмундомъ, имбввшимъ обыкновеніе умываясь передавать свои кольца кому-нибудь изъ придворныхъ. У Рея мы читаемъ слбдующую фацецію:

Co królowi pierścieni nie wrócił.

Król raz, umywając się, więc pierścienie podał,
Ten co je wziął, tak mnimał, iż ich król zapomniał.
W rok także król pierścienie, zjawszy z rąk podaje,
A ten do nich ochotnie poskoczy z przełaje.
Król rzecze: „Postój, bracie, wróc mi pierwiej drugie,
Bo zda mi się, że to już żarty nazbyt długie³⁾...”

Этотъ же самый анекдотъ, приуроченный къ королю Альфонсу, раз-

¹⁾ См. Rozprawy, t. XXII, str. 372 и W. P. t. II, str. 440, fr. 92: „O gościu“.

²⁾ См. W. P. t. II, str. 454.

³⁾ См. Rozprawy, t. XXIII, str. 365.

сказанъ Кастильоне въ его „Il cortegiano“¹⁾ и повторенъ Гурни-
вимъ въ его „Дворянинъ“²⁾.

А вотъ слѣдующій, тринадцатый анекдотъ изъ апофтегмъ Ко-
хановскаго о случаѣ съ всендзомъ Наропинскимъ, ежедневно являв-
шимся въ столу короля Сигизмунда безъ всякаго съ его стороны
приглашенія³⁾. Рей, не называя именъ, рассказываетъ тоже самое:

*Książdz, co się u króla umył, a doma jadł*⁴⁾.

Książdz się jeden ponęcił, choć mu nie kazali,
Siadać z królem do stołu, acz się drudzy śmiali.
Król się potym umyje, a książdz też do wody,
A kroczy potym za stół, pomuskając brody.
Król rzecze: „Lżeś się umył, dosyć tak, prełacie,
Raczej iść jeść do domu, jeśliże co macie“.....

Семнадцатый анекдотъ⁵⁾ въ апофтегмахъ нашего поэта также встрѣ-
чается у Рея въ фацеци подъ слѣдующимъ заглавиемъ: „Dwa biskupi
chytro a głupi“⁶⁾.

Обращаясь къ своему строгому критику, Кохановскій въ два-
дцать девятой эпиграммѣ⁷⁾ говоритъ:

Quod potis in nostro, quod sit mage carmine, Toma,
Praedurum censes, illepidumque vocas.
Et quid agas mecum? nobis quoque displicet ipsis,
Sed mage molliculum condere tu potis es.

Съ такою же ироніей Рей въ своей фацеци: „Do tego co czytał“⁸⁾
говорить:

Jeślib też z niełaski na lewo szacował,
Masz papir,—napisz lepiej! ja będę dziękował.

Ту же мысль высказываетъ Поджіо въ предисловіи къ своимъ фаце-

¹⁾ См. Il Cortegiano, publ. C. Bandi di Vesme. Firenze, 1854, p. 146.

²⁾ См. „Dworzanin“, wyd. Chmielowskiego, str. 113.

³⁾ См. W. P. t. II., str. 454.

⁴⁾ См. Rozprawy, t. XXIII, str. 374.

⁵⁾ См. W. P. t. II, str. 456.

⁶⁾ См. Rozprawy, t. XXIII, str. 375.

⁷⁾ См. W. P. t. III, str. 200.

⁸⁾ См. Rozprawy t. XXIII, str. 335.

ціямъ, гдѣ онъ совѣтуетъ хулителямъ, чтобы „*ipsi eadem ognatius politiusque describant*“¹⁾.

Вотъ и все, что есть общаго между фацеціями Рея и разбираемыми произведеніями Кохановскаго. Въ остальномъ они отличаются самобытнымъ характеромъ (конечно, только по сравненію съ выше указанными фацеціями Рея и западныхъ гуманистовъ).

Подобно тому какъ фацеціи Поджіо возникли въ кругу веселыхъ собесѣдниковъ папы Николая V, значительная часть эпиграммъ и фразеѣвъ Кохановскаго обязана своимъ происхожденіемъ шумнымъ пирамъ у гостепріимнаго Мышковскаго, или кого-нибудь изъ другихъ образованныхъ, богатыхъ магнатовъ, любившихъ широко пожить и украшавшихъ свои великолѣпные чертоги обществомъ веселыхъ и остроумныхъ шляхтичей, искусныхъ музыкантовъ и даровитыхъ поэтовъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ самъ Кохановскій, который, посвящая свои „*Foricoenia*“ Петру Мышковскому, епископу Браковскому, такъ говоритъ:

*Accipe jure tuis foricoenia debita mensis,
Non Aganippæo fonte sed hausta cado.
Haec mihi, dum violae regnant, dum pocula spumant,
Corniger occulta dictat in aure deus.
Queis horam neque tu meliorem impende legendis:
Inter vina volunt ebria scripta legi*²⁾.

Свое отношеніе къ такому рода жизни среди вутежей и веселыхъ товарищей нашъ поэтъ прекрасно выразилъ въ 71 фразеѣ I книги „*Z Anakreonta*“³⁾:

*Ja dobrej myśli zawżdy chcę używać,
Ja z przyjacióły chcę pospołu bywać.
A jeśli Wenus od tego nie będzie,
I Bogumiła niechaj się przysiedzie.*

За этимъ пиромъ нѣтъ мѣста серіознымъ повѣствованіямъ о кровопролитныхъ битвахъ, блестящихъ побѣдахъ и тому подобныхъ серіозныхъ матеріяхъ:

¹⁾ См. Poggii Florentini et philosophi Opera. Basileae. 1538. „*Ne acumuli caracetiarum opus propter tenuitatem*“.

²⁾ См. W. P. t. III, str. 184.

³⁾ См. W. P. t. II, str. 355.

Skoro w rękę wezmę czaszę,
Wnet ze łba troski wystraszę¹⁾...

Поэту только нужно, чтобы съ нимъ сидѣли его пріятели,
A tym czasem robotnicy
Pieczę mieli o winnicy²⁾...

Здѣсь не мѣсто гордымъ,
Takiego wolę, co zaspiewać może,
I со z pannami tancować pomoże³⁾.

Всѣхъ приглашаетъ поэтъ къ веселью, пѣснямъ и вину:

Laeti merum bibamus
Bacchumque concinamus,
Bacchum patrem choreae,
Et cantilenaе amicum.
Bacchum, sodalem Amoris,
Carissimum Cytherae,
Per quem joci ac lepores...
Vino ergo recreemur,
Curasque ne moremur...
Cui fas futura scire est?
Incerta vita nostra est.
Potus volo choreas
Ductare, odoribusque
Large fluens jocosus
Saltare cum puellis⁴⁾....

Вотъ на такихъ пирахъ и рассказывались интересные анекдоты, слышались остроумныя прибаутки и шутивыя насмѣшки надъ всевозможными слабостями ближняго. Несомнѣнно и Козановскій вносилъ свою богатую дань въ эту сокровищницу человѣческаго празднословія, о чемъ свидѣтельствуетъ значительная часть фразеекъ и эпиграммъ шутиваго и даже иногда фривольнаго содержанія. Тутъ передъ нами проходитъ цѣлая серія комическихъ персонажей. Вотъ шляхтичъ, по фамилиі Козель⁵⁾, напившись до безпамятства, спра-

¹⁾ См. W. P. t. II, str. 403. Fr. 5. „Z Anakreonta“.

²⁾ Ibid. Fr. 4.

³⁾ Ibid. p. 350. Fr. 53.

⁴⁾ См. W. P. t. III, str. 192

⁵⁾ См. W. P. II. 367.

шиваетъ у встрѣчнаго: „куда мнѣ итти спать?“ и получаетъ остроумный отвѣтъ: „ты Козель, такъ иди въ хлѣвъ“. Вотъ лысый Бартошъ съ испанской бородой, красоты котораго и въ грошъ не цѣнить прекрасный полъ.

Co jeŝli tak jest, szkodać i urody,
I tei łysiny i tej czysteĵ brody¹⁾.

Вотъ мертвецки пьяная баба улеглась въ гробъ и оттуда ведетъ съ прохожимъ комичную бесѣду, отвѣчая на его вопросы совершенно невпопадъ²⁾. Вотъ бездарный поэтъ однимъ чтеніемъ своихъ виршей заставляющій увянуть зеленую липу³⁾. Вотъ непрошенный гость, оправдывающій свое появленіе на пиру тѣмъ, что онъ ни больше, ни меньше, какъ тѣнь приглашеннаго Филлипа, и получающій отвѣтъ:

Recte est, umbrae igitur pro dape nidor erit⁴⁾.

Вотъ старуха, продолжающая кокетничать и возбуждать насмѣшки въ окружающихъ. Вотъ ханжа, прибѣгающая къ частой исповѣди. Вотъ франтъ, вырядившійся въ платье съ такимъ высокимъ воротникомъ, изъ-за котораго его самого не видать. И не перечестъ всей этой галлерей карикатурныхъ типовъ, проходящихъ передъ нами на страницахъ фразекъ и эниграммъ Кохановскаго.

Для развлечения своихъ веселыхъ товарищей, которымъ, какъ мы уже имѣли случай сказать, посвящена отдѣльная тетрадь фривольныхъ фразекъ, нашъ поэтъ не ограничивался одними анекдотами, онъ прибѣгалъ также къ остроумнымъ motto, живой игрѣ словъ, какъ на польскомъ, такъ и на латинскомъ языкѣ.

Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ особеннаго вниманія его единственный *versus cancrinus* (форма весьма распространенная на западѣ) подъ заглавіемъ „Raki“⁵⁾, написанный одиннадцатисложнымъ размѣромъ съ цезурой послѣ пятого слога, при чемъ послѣ цезуры стоитъ отрицаніе *nie* во всѣхъ строкахъ кромѣ восьмой. Сверхъ того первыя слова въ каждой парѣ строкъ рѣмуются между собой, наприм.:

¹⁾ Ibid. p. 376. Fr. 43.

²⁾ Ibid. p. 384. Fr. 68.

³⁾ Ibid. p. 404. Fr. 7.

⁴⁾ См. W. P. t. III. str. 235.

⁵⁾ См. W. P. t. II. str. 340

Folgujmy panióm || *nie* sobie ma rada,
 Miłujmy wiernie || *nie* jest w nich przysada.
 Godności trzeba || *nie* zanic tu cnota,
 Miłości pragną || *nie* pragną tu złota.
 Miłują z serca || *nie* patrzą zdrady,
 Pilnują prawdy || *nie* kłamają rady.
 Wiarę uprzejmą || *nie* dar sobie wazą,
 W miarę nie nazbyt || ciągnąć rzemień każą.
 Wiecznie wam służę, || *nie* służę na chwilę,
 Bspiecznie wierzcie || *nie* rad ja omyle.

Замѣтимъ, что каждые два стиха составляютъ законченную мысль и отдѣляются отъ другихъ точкой. Начнемъ теперь читать стихотворение съ конца, не отдѣляя предлоговъ отъ управляемыхъ ими существительныхъ и получимъ совершенно противоположный смыслъ:

Omyle ja rad, nie wierzcie bspiecznie,
 Na chwilę służę, nie służę wam wiecznie.
 Każą rzemień ciągnąć nazbyt, nie w miarę,
 Wazą sobie dar, nie uprzejmą wiarę.
 Rady kłamają, nie prawdy pilnują,
 Zdrady patrzą, nie z serca miłują.
 Złota tu pragną, nie pragną miłości,
 Cnota tu zanic, nie trzeba godności.
 Przysada w nich jest, nie wiernie miłujmy,
 Rada ma sobie, nie panióm folgujmy.

Къ такому же типу относится стихотворение къ Барварѣ¹⁾. Оно написано съ большимъ искусствомъ, отличается юморомъ, переходящимъ иногда предѣлы благопристойности, при чемъ однако поэтъ послѣ перваго слога ожидаемой фривольной рѣмы продолжаетъ стихъ какимъ-нибудь совершенно невиннымъ, а иногда даже лестнымъ для героини выраженіемъ, которое однако уже переходитъ за предѣлы стиха и ни съ чѣмъ не рѣмется, оставляя широкій просторъ для догадливости читателя. Сюда-же относится эпиграмма „In convivium“: ¹⁾

¹⁾ См. W. P. t. II, str. 345.

²⁾ См. W. P. t. III, str. 190.

Quae nunc dicuntur convivium, conbibia olim
 Dicta puto: hoc si quidem symposium est proprie.
 Affinis genuinum invertit littera sensum:
 Ni quis id esse putet vivere, quod bibere.

Во время этих шумных пиров остроумная беседа порою прерывалась пѣсней подъ аккомпаниментъ лютни, или кого-нибудь изъ любителей, или знаменитаго королевскаго музыканта Валентина Бакфарка, имя котораго не разъ встрѣчается въ произведеніяхъ Кохановскаго. Вотъ, на примѣръ, эпитаграмма къ нему:

Orpheus in silvis, in aquis moduletur Arion,
 Mulceat hic pisces, mulceat ille feras.
 Tu urbibus in mediis cane Bacchare, nemo etenim te
 Dignior humanis auribus esse potest. ¹⁾

Кромѣ Бакфарка въ фразкахъ и эпитаграммахъ нашего поэта упоминаются Гурницкій, Павелъ Стемповскій, Андрей Ницецкій и другіе многочисленныя друзья поэта, съ которыми онъ дѣлилъ свои досуги, не чуждаясь общества хорошенькихъ краковскихъ мѣщаночекъ, неоднократно пиравшихъ вмѣстѣ съ веселыми королевскими придворными. Въ этой обстановкѣ шумнаго похмѣлья не разъ должны были загораться пылкія сердца молодежи любовью къ различнымъ Кахнамъ, Гретамъ и Розинамъ, раздѣлявшимъ общее веселье. Какимъ характеромъ отличалась эта любовь, можно судить по нѣкоторымъ фразкамъ и эпитаграммамъ Кохановскаго. Вотъ, на примѣръ, обращаясь къ комару поэтъ спрашиваетъ его, почему онъ такъ назойливо жужжитъ.

Ad Pholoen potius querulos converte susurros,
 Atque haec oblita blandus in aura cane:
 „Janus te, o Pholoe, manet, at tu ferrea dormis,
 Et juvenem lenta conficis usque mora“.
 Quod si forte tuo surrexerit excita cantu,
 Atque in complexus venerit illa meos,
 Vergiliana, culex, tibi praemia scito parata,
 Ut nunquam in chartis emoriare meis.

¹⁾ Ibid. p. 191.

²⁾ Ibid. p. 219.

Вотъ въ 33 фразшѣ второй книги ¹⁾ поэтъ просить у молодой дѣвушки взаимности и грозить ей суровой старостью, въ случаѣ если возлюбленная не захочетъ пользоваться жизнью, пока она молода:

Już tam służyć nie będą te pieszczone słowa,
Stachniczku duszo moja: rychlej, bądź mi zdrowa,
Marya łaski pełna: a w ręku pacierze,
Na jakie przy kościele baba pieniądz bierze.

Любовь эта была минутной вспышкой страсти, не больше, и не могла приносить поэту глубокихъ огорченій въ случаѣ рѣдкой неудачи, какъ можно судить на основаніи слѣдующей эпиграммы „Ad Corinnam“ ²⁾:

Aureus imber ego latitantem nolo puellam
Fallere, nec sim bos, nec fluvialis olor.
Haec ludicra Jovi sint curae; ego bina Corinnae
Aera dabo, nec erit cur volitare velim.

Правда, на ряду съ подобнымъ легкомысленнымъ и даже циничнымъ отношеніемъ Кохановскаго къ любви въ его фразскахъ встрѣчаются и такія, въ которыхъ это чувство если и не возвышается до чистаго платонизма, то во всякомъ случаѣ отличается значительной глубиной и серіозностью. Кромѣ уже раньше указанныхъ нами падуанскихъ фразшекъ у Кохановскаго есть еще нѣсколько эротическихъ, въ которыхъ проглядываетъ уже болѣе зрѣлое, спокойное и тѣмъ не менѣе сильное чувство. Послѣднія возникли, какъ намъ кажется, въ болѣе позднюю пору, когда поэтъ, поселившись въ Чернолѣсѣ, полюбилъ свою Ганну-Дороту.

Не смотря на то что, Кохановскій не обладалъ значительными матеріальными средствами и знатностью происхожденія, онъ никогда не терялъ своего достоинства, вращаясь въ обществѣ богатѣйшихъ магнатовъ Рѣчи Посполитой. Обращаясь къ Николаю Мѣлецкому старостѣ Хмѣльницкому, поэтъ говоритъ ³⁾:

Mnimasz ty, że ja tobie kłaniam się dla tego,
I żeś syn wojewody niewiem tam jakiego,
Albo że się masz dobrze a złota na tobie
I na tych dosyć widzę, które masz przy sobie?
Fraszka u mnie tve herby i wsi, pełne kmieci,

¹⁾ См. W. P. t. II, str. 373.

²⁾ См. W. P. t. III, str. 196.

³⁾ См. W. P. t. II, str. 394.

Hańba (mówią Grekowie) bohaterские dzieci,
A pieniądze takie są, że je i źli mają. . . .

Не эти пустяки привлекають поэта къ Мѣлецкому, а личныя достоинства послѣдняго.

Ту же мысль выразилъ Кохановскій въ своей эпиграммѣ „Confessio“¹⁾:

Non didici impuri perversum dogma Gnathonis:
Ajunt, ajo, negant rursus, et ipse nego.
Sed quae cum vero mihi consentire videntur,
Haec demum affirmo, sin minus, usque nego.
Non opibus quemquam, neque fulvo metior auro,
Sed quam quisque probus, tam mihi carus erit.

За эти грѣхи поэта ждетъ слѣдующій приговоръ:

Semper egebis, ita haec culpa pianda tibi est.

Не унижаясь до лести, поэтъ умѣлъ цѣнить своихъ благодѣтелей и выражалъ имъ самую искреннюю и трогательную признательность, какъ видно, напримѣръ изъ 82 эпиграммы къ Петру Мышеовскому²⁾, которому Кохановскій дѣйствительно былъ обязанъ многимъ. Вотъ что говоритъ ему поэтъ:

Non solum in nudis scribam tum nomina chartis,
Pectore sculpta meo sunt benefacta tua,
Quae mihi, Myscovi, nulla unquam aboleverit aetas,
Sive fruar vita, sive fuisse ferar.

Обладая весьма общительнымъ характеромъ и чуткимъ отзывчивымъ сердцемъ, Кохановскій и дня не могъ прожить безъ друзей. „Co bez przyjaciół za żywot? восплицаетъ поэтъ: więzenie. . .

Bo jeśli się co przeciw myśli stanie,
Już jako możesz sam przechowaj panie.
Nikt nie poradzi, nikt nie pożałuje.
Także jeśli się dobrze poszańcuje,
Żaden się z tobą nie będzie radował. . . .³⁾

¹⁾ См. W. P. t. III, str. 206.

²⁾ Ibid. p. 233.

³⁾ См. W. P. t. II, str. 377.

Предъявляя такія высокія требованія въ дружбѣ, самъ поэтъ всегда исполнялъ ихъ по отношенію къ своимъ друзьямъ. Стоило кому-нибудь изъ нихъ получить непріятность, испытывать огорченіе, нашъ Янъ уже тутъ и льется изъ устъ его вроткая рѣчь, полная братской любви и глубокомыслия умудреннаго житейскимъ опытомъ человѣка ¹⁾. Не менѣе близка была сердцу поэта радость его друзей, на которую не разъ отъливались чуткія струны его вдохновенной лиры. Всѣхъ ихъ горячо любилъ Янъ, но особенно гордился онъ тѣми изъ нихъ, которые отличались по своимъ дарованіямъ и нравственнымъ качествамъ. Если такіе люди вступали съ нимъ въ дружбу онъ видѣлъ въ этомъ знакъ того, что и самъ онъ имѣетъ нѣкоторыя достоинства. Мы знаемъ уже, какъ близокъ былъ Кохановскій съ Андреемъ Нидецкимъ, которому посвящено множество фразеокъ и эпиграммъ нашего поэта. Кромѣ Ницекаго мы здѣсь встрѣчаемъ не мало именъ, записанныхъ на сѣрижали польской культурной исторіи, каковы, напримѣръ, Лукашъ Гурницкій, Андрей Тшицѣскій и др. Какъ цѣнилъ Кохановскій дружбу подобныхъ людей, видно изъ слѣдующихъ стихотвореній. Вотъ, напримѣръ, что говоритъ онъ извѣстному Юсту Гляцу, казначею Сигизмунда Августа:

. *twoja przyjaźń, którego zwyczaję*
U ludzi chwalne, świadectwo mi daje,
Żem dobry człowiek: ani ty miłujesz,
Jedno w kim cnotę i stateczność czujesz.

Въ доказательство своихъ чувствъ къ нему поэтъ шлетъ ему свое стихотвореніе,

. *jako pewny zakład jaki*
Żem jest i chcę byź twój na czas wszelaki.

Еще сильнѣе выражаетъ Кохановскій свое дружеское расположеніе въ эпиграммѣ къ извѣстному Лукашу Гурницкому ²⁾, при появленіи котораго

. *lyra pollice nullo*
Icta dedit dulces exhilarata sonos.
Riserunt Charites, doctae cecinere sorores,
Quin et ver rediit canaque fugit hiems.

¹⁾ См. W. P. t. III, str. 226.

²⁾ См. W. P. t. III, str. 236.

Среди друзей поэтъ не стѣснялся открыто исповѣдывать свои религиозные и общественные взгляды. Въ цѣломъ рядѣ фразекъ выставляетъ онъ на посмѣшище отрицательныя стороны духовенства, иногда нисколько не стѣняясь въ выраженіяхъ. Особенно возмущаетъ Кохановскаго celibatъ и вытекающая изъ него безнравственность католическаго клира. Вотъ, на примѣръ, 43 фразка I книги „Na świętego ojca“ ¹⁾, составляющая переводъ латинской эпиграммы Дудыча, который впоследствии собственнымъ примѣромъ подтвердилъ свое отрицательное отношеніе къ принудительному безбрачію духовенства. Обращаясь къ папѣ Павлу II, поэтъ говоритъ:

Świętym cię zwać nie mogę; ojcem się nie wstydzę,
Kiedy, wielki kapłanie, synu twoje widzę.

Изъ другихъ пороковъ духовенства Кохановскій отмѣчаетъ лицемеріе, несогласіе поступковъ со словами ²⁾, пьянство ³⁾, картежную игру ⁴⁾, и нерадѣніе къ церковной службѣ ⁵⁾. Изъ догматовъ поэтъ касается только почитанія святыхъ, при чемъ, какъ увидимъ, взгляды его не отличаются особеннымъ правотѣріемъ, если въ 17 эпиграммѣ „De spectaculis D. Marci“ ⁶⁾ по поводу дождя, испортивашаго процессію изъ венеціанскаго собора св. Марка, поэтъ позволяетъ себѣ говорить святому:

Parva tui in coelo est, si ratio ulla tui est.

Еще большимъ легкомысліемъ и даже кощунствомъ отличается 3 фразка II книги, гдѣ Кохановскій влагаетъ въ уста епископа глумленіе надъ мощами 11,000 дѣвъ, по преданію, почивающихъ въ Кельнской церкви св. Урсулы.

Не смотря на свою глубокую религиозность, нашъ поэтъ иногда отдавалъ дань скептицизму. Такимъ характеромъ отличается 50 фразка II книги „o Łazarzowuch księgach“ ⁷⁾. Въ ней, подъ видомъ лютеранскаго вымысла, рассказывается, что Лазарь, воскресенный Иисусомъ, описалъ все видѣнное и слышанное во время своей загробной жизни. Книги объ этомъ онъ тщательно хранилъ отъ всѣхъ,

¹⁾ См. W. P. t. II, str. 347

²⁾ Ibid. p. 370, fr. 25 и p. 409, fr. 17.

³⁾ Ibid. p. 368, fr. 19.

⁴⁾ Ibid. p. 409, fr. 15.

⁵⁾ Ibid. p. 369, fr. 20.

⁶⁾ См. W. P. t. III, str. 193.

⁷⁾ См. W. P. t. II, str. 378.

даже отъ своихъ близкихъ. Предчувствуя скорую кончину, онъ призвалъ къ себѣ философа, которому вручилъ свои книги завязанными и запечатанными, подъ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы тотъ прочиталъ только передъ смертью и послѣ передалъ другому ученому философу подъ тѣмъ-же самымъ условіемъ. Философъ поклялся исполнить послѣднюю волю Лазаря, но не сдержалъ своего слова, раскрылъ книги и, что же?—нашелъ въ нихъ только чистыя, ничѣмъ не заполненныя страницы. Итакъ, по Кохановскому, загробная жизнь—неразрѣшимая загадка, чего, какъ извѣстно, не признаетъ церковь. Таковую-же загадку представляетъ для него Богъ, о Которомъ

*Dosemus omnes, nemo novit, quod docet*¹⁾.

Съ подобными взглядами мы еще не разъ будемъ встрѣчаться въ произведеніяхъ нашего поэта. Но такой скептицизмъ, какъ мы увидимъ, нужно разсматривать, какъ временный диссонансъ въ стройной гармоніи религиозныхъ воззрѣній Кохановскаго, который, глубоко сочувствуя нѣкоторымъ протестантскимъ идеямъ, тѣмъ не менѣе горячо возставалъ противъ крайняго ихъ пониманія и грубаго выраженія. Объ этомъ свидѣтельствуетъ извѣстная фразка его (Ш. 22.) „*Na haeretyki*“²⁾.

Здѣсь поэтъ—гуманистъ вполне естественно возмущается проявленіями нетерпимости и дикаго кощунственнаго фанатизма протестантовъ, которые, по словамъ Любовича³⁾, нерѣдко позволяли себѣ входить въ католическіе храмы въ шапкахъ и прерывать службу своими громкими непристойными замѣчаніями и грубымъ смѣхомъ.

Въ тѣсной связи съ религиозными воззрѣніями Кохановскаго находятся его философско-этическія и политическія убѣжденія, которыя ярко отразились во многихъ его фразкахъ и эпиграммахъ.

Къ ихъ разбору мы приступимъ на своемъ мѣстѣ, а теперь разсмотримъ, какъ относился нашъ поэтъ къ себѣ и къ своимъ произведеніямъ. Въ этомъ отношеніи фразки и эпиграммы даютъ намъ богатый матеріалъ.

Со скромностью истиннаго таланта Кохановскій всегда отдавалъ предпочтеніе своимъ предшественникамъ на литературномъ по-

¹⁾ См. W. P. t. III, str. 240.

²⁾ См. W. P. t. II, str. 412.

³⁾ См. Любичъ. Исторія протестантства въ Польшѣ.

прищѣ. „Aurea, говорить онъ Андрею Тшецѣському: tua carmina divitiores;

Auro pensabunt muneribusque datis
 Nos, quibus arcta domi res est et curta supellex,
 Pro tereti versu carmina culta damus,
Inferiora tuis equidem, neque enim anser oloři,
 Aut par lusciniæ garrula hirundo canit.

Тѣмъ не менѣ нашъ поэтъ чувствовалъ въ себѣ талантъ и хорошо понималъ свое высокое призваніе. Въ 64 фразеѣ III книги, обращаясь къ Вацлаву Остророгу, Кохановскій говоритъ:

Zda mi się, że maluję swój obraz właściwy,
 Który między biskupy zawieszę zasnemі,
*Nie wsiami świata znaczny, ale rymy swemi*¹⁾.

Въ 80 эпиграммѣ „Oraculum“²⁾, поэтъ напоминаетъ себѣ:

Jane, sacerdotem Musarum te esse memento,
Nec tibi praeterea fas ullos quærere divos...

Посвящая всю жизнь свою на служеніе музамъ, Кохановскій не завидуетъ ни королевскимъ жемчугамъ, ни золоту, предпочитая всему добродѣтель, не льститъ никому и не ждетъ подачки отъ неблагодарныхъ людей, и за это проситъ у музъ одной только награды:

. . . . niech ze mną zagaz me gmy nie giną,
 Ale kiedy ja umrę, ony niechaj słyńą³⁾.

Поэтъ не хочетъ во зло употреблять своего высокаго дарованія. Обращаясь къ своимъ фразкамъ, онъ говоритъ:

. . . . jeśli wam niegmyśli cudze obyczaje,
 Niechaj karta występom, nie personóm łaje.
 Chciecieli chwalić kogo, chalciesz, ale skromnie,
 By pochlebstwa jakiego nie uznano po mnie⁴⁾.

Но не всегда могутъ звучать вдохновенныя струны лютни Кохановскаго:

¹⁾ См. W. P. t. II, str. 427.

²⁾ См. W. P. t. III, str. 232.

³⁾ См. W. P. t. II, str. 362.

⁴⁾ Ibid. p. 372, fr. 29.

Nie są, wojewodo zasny,, czasy po temu,
 Abych, czyniąc zwyczajowi dosyć dawnemu,
 Uszy twoje lutnią bawił, albo pieśniami.

Такъ говорить поэтъ въ годину бѣдствія постигшаго его родину, въ годину, когда черныя тучи нависли надъ полями, сверкая молніями и разражаясь градомъ, когда пахарь оставляетъ свою ниву на волю Божию, когда пастухъ гонитъ прежде времени свое стадо съ пустого луга, когда сельскія хаты окуриваются зельемъ въ защиту отъ навигающей заразы.

Przeto nie dziw, że umilkły me głośnie strony,
 Widząc niebo rozgniewane i wiek strwożony.

Не смотря на всё эти ужасы, поэтъ не теряетъ надежды, что

Bóg oddarza świat pogodą i słońcem złotym¹⁾.

Это стихотвореніе ясно показываетъ, насколько Кохановскій былъ выше своего вѣка и среды. Въ то время, какъ всё окружающее продолжали въ довольствѣ и весельѣ среди шумныхъ пировъ и разгульных пѣсенъ проводить свою праздную жизнь, онъ первый понялъ что стыдно

. въ годину гора
 Красу долинъ, небесъ и моря
 И ласку милой воспѣвать²⁾.

Служеніе музамъ было главною цѣлью жизни нашего поэта, его единственнымъ утѣшеніемъ въ минуты горя. Много было такихъ минутъ въ жизни Кохановскаго. Не всегда окружающее понимали его и цѣнили, не всегда сбывались его завѣтныя мечты и планы. Много приходилось ему переносить непріятностей и тяжелыхъ огорченій. Одна поэзія спасала его отъ разочарованія и была единственнымъ прибѣжищемъ для его оскорбленнаго, мятущагося духа. Предоставляя другимъ пользованіе всіми благами жизни, для себя онъ выбралъ одну поэзію:

Wy tedy co kto lubi, moi towarzysze,
 Pijcie, grajcie, miłujcie,—Jan fraszki niech pisze!

¹⁾ Ibid. p. 395.

²⁾ См. Н. А. Некрасовъ. Полное собраніе стихотвореній. Т. I, 138 стр.

ГЛАВА IV.

Политическіе идеалы Яна Кохановскаго и его служба при королевскомъ дворѣ.

I.

Сеймъ 1562 года. „Zgoda“ Кохановскаго. Отношеніе ея къ рѣчи Паднѣвскаго
Взгляды Кохановскаго на современное состояніе Польши. Сеймъ 1563 года. Рѣчь
Мышковскаго. „Satyr“. Затронутые въ немъ религіозные и политическіе вопросы.
Поступленіе Кохановскаго въ королевскую канцелярію. Его отношеніе къ Мыш-
ковскому и къ Паднѣвскому.

На сеймѣ 1562 года долженъ былъ разрѣшиться вопросъ объ „экзакуціи правъ“, волновавшій тогда все польское общество. Самъ король былъ на сторонѣ этой мѣры. Сеймовый универсалъ заключалъ въ себѣ много пунктовъ со стороны „экзакуціи“, которые повторялись начиная отъ сейма 1551 года. Въ то же время явилось много литературныхъ произведеній политическаго характера. Изъ писателей этого направленія особенной энергіей, какъ мы уже говорили, отличался Ожеховскій, не сочувствовавшій „экзакуціи“, хотя и предлагавшій проведеніе тѣхъ же самыхъ реформъ, но только инымъ способомъ. Однако, сеймъ, отъ котораго такъ много ожидали, не оправдалъ возлагаемыхъ на него надеждъ. Все вниманіе собравшихся представителей народа было поглощено мелкими вопросами, а предполагаемыя крупныя реформы остались безъ разсмотрѣнія. Возникла борьба за сословныя привилегіи въ то самое время, когда побѣды Ивана Грознаго сдѣлали восточныя границы Польши свободными для нападенія непріятельскихъ войскъ. Сенаторы больше заботились о собственныхъ интересахъ, чѣмъ объ общественномъ благѣ, а послы,

на сторонѣ которыхъ былъ самъ король, вмѣсто того, чтобы единодушно осуществить предполагаемую реорганизацію аристократіи, разбили на множество партій, несогласныхъ между собою по религиознымъ и политическимъ вопросамъ. Не смотря на самое искреннее желаніе прійти навстрѣчу нуждамъ Рѣчи Посполитой, слабый Сигизмундъ Августъ ничего не могъ сдѣлать съ царившей среди шляхты разногласицей и анархіей.

Король собиралъ сеймъ „aby się w miłości i zgodzie Rzeczypospolitej posłużyło“. Съ той же цѣлью написана „Zgoda“¹⁾ Кохановскаго, напечатанная только въ 1564 году.

Въ этомъ стихотвореніи поэтъ олицетворяетъ идею міровой гармоніи, которая приходитъ непрошенная и предостерегаетъ терзаемую внутренними раздорами Польшу прежде всего отъ религиозныхъ несогласій. Затѣмъ она ставитъ на видъ то обстоятельство, что каждый въ Рѣчи Посполитой жертвуетъ общественнымъ благомъ для своихъ личныхъ выгодъ, вслѣдствіе чего законы молчатъ и властвуютъ всеможи. Внѣшніе враги замѣчаютъ слабыя стороны государства и рассчитываютъ воспользоваться ими. Главной причиной такого печальнаго состоянія Польши служатъ постоянные раздоры, которые уже погубили множество странъ и народовъ. Для искорененія зла „Zgoda“ указываетъ на его источники: самымъ важнымъ считаетъ она нерадѣніе каждого гражданина въ своимъ обязанностямъ. Даже духовныя лица забыли святость своего призванія и предалися разгульной жизни, соблазняя мірянъ своимъ пагубнымъ примѣромъ. Нѣкоторые священники всѣ свои заботы обратили на собственное хозяйство:

A w pieniądzach nawyssze dobro położyli.

Więc też tam rychlej najdziesz rejestra na stole,

A spleśniałą Biblią strzygą w kącie mole.

A jakoż uczyć mają nie umiejąc sami?

Muszą pewnie nadłożyć kazania baśniami.

(Въ послѣднихъ словахъ заключается намекъ на уже извѣстное намъ обыкновеніе католическаго духовенства) Свѣтскіе, чувствуя потребность въ церковныхъ поученіяхъ, сами взяли за проповѣдь

. . . . i żony ucwiczili.

Więc teraz wszyscy każą, a żaden nie słucha,

Spytajże zkąd Apostoł: Duch, pry, gdzie chce dmucha...

¹⁾ См. W. P. t. II str. 219.

Военное дѣло, вслѣдствіе этого, находится въ полномъ пренебреженіи и границы Польши лишены всякой обороны. Недовольные духовенствомъ предлагаютъ вмѣсто войска выслать противъ татаръ монаховъ, за то что послѣдніе плохо проповѣдуютъ. О томъ, каковы ихъ поученія, возражаетъ „Zgoda“, также какъ и о другихъ религіозныхъ вопросахъ, нужно предоставить церкви произнести свое авторитетное сужденіе. Теперь въ Тридентѣ собрались для этого епископы.

Tam się stawcie wy wszyscy, którzy powiadacie
 Że u siebie naukę gruntowniejszą macie,
 Tam się stawcie, jeśli nie rozterku pragniecie,
 Ale tylko dla Pańskiej chwały spór wiedziecie.

„Zgoda“ совѣтуетъ полякамъ терпѣливо ожидать ихъ отвѣта, а пока не злоупотреблять свободой, не вооружаться противъ того, что духовенство владѣетъ значительными имуществами, такъ какъ благодаря этому оно имѣетъ возможность удѣлять средства на больницы и т. п. благотворительныя учрежденія; скорѣе свѣтскіе достойны порицанія за ихъ стремленіе къ роскошной жизни. Необходимо исправить всѣ эти недостатки, чтобы Рѣчь Посполитая не потеряла надежды на лучшее будущее. „Zgoda“ во многомъ совпадаетъ съ рѣчью, произнесенной подканцлеромъ Паднѣвскимъ на сеймѣ 1562 года. Этотъ фактъ даетъ намъ возможность съ точностью опредѣлить время написанія разсматриваемаго произведенія.

При значительномъ сходствѣ стихотворенія Кохановскаго съ рѣчью подканцлера между этими литературными памятниками есть нѣкоторая разница, которая состоитъ во первыхъ въ томъ, что „Zgoda“ гораздо содержательнѣе рѣчи, во вторыхъ, произведеніе нашего поэта отличается большей независимостью отъ программы сторонниковъ экзекуціи. Опасаясь оскорбить сенаторовъ, или шляхту, и обречь такимъ образомъ дѣло экзекуціи на окончательную гибель, Паднѣвскій считалъ для себя не совсѣмъ удобнымъ коснуться нѣкоторыхъ вопросовъ, затронутыхъ нашимъ поэтомъ.

Въ то время всѣ инстинктивно сознавали ненормальное состояніе Польши, которое еще болѣе усиливалось реформаціоннымъ движеніемъ. Каждый патріотъ старался по мѣрѣ силъ своихъ прійти на помощь страждущему государству. И Кохановскій, съ своей стороны, пытается сдѣлать то же.

Единственная жертва, которую Янъ могъ принести на алтарь отечества, состояла въ его поэтическомъ дарованіи. При помощи послѣдняго онъ освѣтилъ печальное положеніе Рѣчи Посполитой и указалъ въ своемъ произведеніи ея нужды вмѣстѣ съ мѣрами для ихъ удовлетворенія.

Прежде всего, какъ мы видимъ, онъ вооружается противъ религиозныхъ несогласій и становится скорѣе на сторону католичества, какъ можно судить изъ слѣдующихъ словъ:

(о религиозныхъ вопросахъ) Kościół musi sądzić: który, jako żywo,

Uznawał, co w tej mierze prosto, a co krzywo.

Na tej twardej opoce rozbił się Arius.

Marcyon, Samosaten, Mañech, Nestorius,

I wszyscy, którzykolwiek wnieśli co nowego,

Targając świętą zgodę Kościoła Pańskiego.

Но всетаки онъ не выражаетъ здѣсь строго-ортодоксальныхъ убѣжденій, которыя старается навязать ему Станиславъ Тарновскій¹⁾, забывая продолженіе вышеупомянутыхъ словъ нашего поэта:

Oto teraz w Trydencie biskupi zasiedli,

Aby lud roztargniony ku zgodzie przywiedli.

Tam się stawcie wy wszyscy, którzy powiadacie,

Że u siebie naukę gruntowniejszą macie.

Tam się stawcie, jeśli nie rozterku pragniecie.

Ale tylko dla Pańskiej chwały spór wiedziecie.

A wy tym czasem bądźcie Polacy cierpliwi,

Aż się jawnie pokaże, gdzie prawi, gdzie krzywi.

Ogrodziwszy sumnienie, ostatka czekajcie.....

Настоящій католикъ не допустилъ бы мірянъ къ разрѣшенію церковныхъ вопросовъ и, не колеблясь, предугадалъ бы рѣшеніе Тридентскаго собора.

Изъ общественныхъ недуговъ Кохановскій отмѣчаетъ, прежде всего, внутренніе раздоры, изнѣженность шляхты и испорченность духовенства, затѣмъ, отсутствіе справедливости и порядка и, наконецъ, необезпеченность границъ отъ непріятельскаго вторженія.

¹⁾ Op cit. p. 244

Совершенно вѣрно предсказывалъ онъ, что Польша потеряетъ вою вольность, благодаря внутреннимъ беспорядкамъ и анархіи. Подъ ольностью поэтъ подразумѣвалъ и гражданскую свободу, и политическую независимость, такъ какъ, по его словамъ, враги ждутъ только удобной минуты, чтобы воспользоваться внутренними смутами въ Польшѣ и окончательно завладѣть ею. Кохановскій приводитъ примѣры государствъ, погибшихъ благодаря царившему въ нихъ несогласію; особенно разителенъ въ данномъ случаѣ по своей свѣжести примѣръ Венгріи. Нашъ поэтъ прекрасно характеризуетъ Цезаря и Помпея, которыхъ онъ считаетъ главными виновниками гибели Рима. По его словамъ эта республика пала:

Przez dwu niezgodę tylko—że równego
Jeden znosić nie umiał, a drugi wyższego.

Отмѣчено также Кохановскимъ уклоненіе каждаго гражданина отъ своихъ прямыхъ государственныхъ обязанностей и стремленіе вмѣшиваться въ чужія дѣла. Не меньшую опасность представляетъ слишкомъ широкое пониманіе шляхтой своей вольности, которое можетъ привести къ печальнымъ послѣдствіямъ. Злоупотребленіе свободой нашъ поэтъ видитъ въ посягательствахъ на коронныя земли и на доходы духовенства. По его словамъ, поляки, не желая придерживаться стараго порядка, „się na skarby korony rzucili“ и прибавляетъ:

Zabraliści jej wolność, którą zdawna miała
A ona (jako mówią) na koszu została.

Никто изъ политическихъ писателей той эпохи не касался этого вопроса. Одинъ только Кохановскій говоритъ о прежнихъ правахъ короны. Никто, вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ ясно не выразилъ мысли о томъ, что король, въ сущности, не имѣетъ власти. Въ дѣлѣ экзекуціи Кохановскій является противникомъ пожалованія коронныхъ земель. Онъ боится, чтобы увеличеніе шляхетскихъ имѣній не подѣйствовало на еще болѣе широкое распространеніе роскоши и изгѣженности и не привело къ упадку той живой энергіи, которая свойственна людямъ средняго достатка. На ряду съ другими онъ желаетъ правосудія, защиты границъ и правильной организаціи войска. Наибольшую политическую заслугу нужно признать за двумя мыслями, высказанными Кохановскимъ въ этомъ произведеніи, а именно: онъ первый указалъ на стремленіе каждаго вмѣшиваться въ чужія дѣла и выставилъ одной изъ главныхъ причинъ всѣхъ неурядицъ лишеніе короны имуществъ и власти.

Жалобы на упадокъ Рѣчи Посполитой въ разбираемомъ произведеніи Кохановскаго, также какъ и у другихъ польскихъ политическихъ писателей и моралистовъ его времени, при всей ихъ искренности, навѣяны большею частью мыслями классическихъ авторовъ и преимущественно, Цицерона. Нашимъ поэтомъ олицетворена здѣсь идея міровой гармоніи, какъ верховнаго закона, правящаго всей вселенной, какъ сущности, на которой зиждется во всемъ физическій и нравственный порядокъ. Такая мысль показываетъ въ Кохановскомъ истаго гуманиста, проникнутаго идеологіей Платона, ученіемъ котораго такъ и дышетъ слѣдующее опредѣленіе согласія:

(оно) spórne planety sprawuje,
Ziemię, wodę, wiatr, ogień, w żywiołach miarkuje,
Stróż Rzeczypospolitych, zdrowie i obrona
Miast wszystkich.....

Не смотря на постороннія вліянія, въ этомъ произведеніи видно болѣе глубокое пониманіе государственныхъ нуждъ своего отечества чѣмъ у всѣхъ современниковъ нашего поэта.

„Zgoda“ носитъ характеръ политическаго памфлета и заключаетъ въ себѣ 158 стиховъ, написанныхъ тринадцатисложнымъ размеромъ, съ цезурой послѣ седьмого слога.

Съ начала второй четверти 1563 года особенно сильно принялись въ Польшѣ за дѣло уніи съ Литвою. Королевская канцелярія выпускала множество документовъ, подтверждавшихъ права и вольности литовцевъ. Осуществить унію надѣялись на ближайшемъ сеймѣ; назначенномъ на 11 ноября въ Варшавѣ. Но сеймъ открылся только 21 ноября молебствіемъ, на которомъ былъ король, три епископа, пять свѣтскихъ сенаторовъ и ни одного посла. Однако, послы были уже въ Варшавѣ, такъ какъ въ тотъ же день выбрали маршалкомъ Николая Сѣвницкаго, который уже 22 ноября привѣтствовалъ короля отъ имени Посольской Избы. Ему отвѣчалъ рѣчью новый подканцлеръ, Мышковскій. Главной мыслью его рѣчи было указаніе на необходимость учрежденія пограничной обороны, въ тѣсной связи съ которой находится цѣлость государства. Для этого, по его словамъ, нужно какъ можно скорѣе прійти къ единенію Польши съ Литвой, сохранить за собою Инфлянты и начать съ Москвою наступательную войну, чему препятствуетъ общая изнѣженность, пренебреженіе къ военной службѣ и исключительныя заботы шляхты о собственномъ

экономическомъ благосостояніи, а также безпорядокъ въ уплатѣ налоговъ, утвержденныхъ сеймами. Для восстановления правосудія онъ не указываетъ никакихъ специальныхъ мѣръ и ограничивается только жалобой на обремененіе короля тяжбами въ теченіе цѣлаго сейма. Въ связи съ этой рѣчью находится „Satyr“ Кохановскаго ¹⁾, такъ же, какъ „Zgoda“ съ рѣчью Паднѣвскаго.

Въ предисловіи къ своему произведенію, состоящемъ изъ шестнадцати стиховъ, поэтъ посвящаетъ свой трудъ королю, называя его своимъ господиномъ:

Ranie mój (to najwięzszy tytuł u swobodnych)

Кохановскій проситъ его

Ludzkość okazać przeciw tej leśnej potworze (сатира),

Która się tu śmie stawić na pańskim dworze.

Поэтъ хорошо сознаетъ непривлекательную виѣшность своего сатира, которому не нравятся современные обычаи.

Въ самомъ стихотвореніи нашъ поэтъ влагаетъ свои мысли въ уста „Сатира“ или дикаго, лѣснаго человѣка, по словамъ котораго уже нѣтъ тѣхъ густыхъ лѣсовъ, гдѣ можно было прежде скрываться. Всѣ теперь въ Польшѣ стали купцами и пахарями. Вывозная торговля хлѣбомъ сдѣлалась главнымъ занятіемъ шляхты. „Сатиръ“ съ восторгомъ вспоминаетъ то время, когда никто не былъ богатъ деньгами. Въ тѣ времена земледѣліе было исключительно въ рукахъ у крестьянъ. Теперь же поляны, съ горестью замѣчаетъ „Сатиръ“, далеко отстали отъ своихъ предковъ и обратили Польшу чуть ли не въ ничтожество, изъ отцовскихъ гранатъ выковали плуги и предметы домашняго обихода. Шлемы служатъ у нихъ мѣрками для овса или гнѣздами для насѣдовъ ²⁾. Вслѣдствіе этого, границы Рѣчи Посполи-

¹⁾ См. W. P. II. 41.

²⁾ Последнее мѣсто очень напоминаетъ рѣчь Мышковскаго съ той только разницей, что оно отличается большей образностью. Подканцлеръ говоритъ, что вмѣсто коній и щитовъ шляхтичи взяли за плуги, тогда какъ прежде ихъ не занимались хозяйствомъ, сдавая его арендаторамъ, или крестьянамъ. Теперь нѣтъ уже опытныхъ полководцевъ, добрыхъ товарищей и храбрыхъ молодцовъ: всѣ теперь заняты исключительно полевыми работами. Кохановскій выражаетъ ту же мысль въ словахъ: „to dziś rotmistrz, to fuka na chlорсу и pluga“. Далѣе подканцлеръ говоритъ, что при такихъ условіяхъ всѣ сосѣди, даже ничтожные валахи и Брауншвейгскіе герцоги безнаказанно вторгаются въ Польшу, а болѣе сильная Москва цѣлыя области отнимаетъ у Рѣчи Посполитой. Кромѣ образности, это мѣсто въ „Сатирѣ“ отличается отъ рѣчи Мышковскаго злою насмѣшкой, отора-

той остались безъ защиты. Перечисляя всѣ внѣшнія опасности, Кохановскій даетъ одну любопытную подробность о письмахъ Іоанна Грознаго, въ которыхъ послѣдній доказываетъ свои природныя права на Галичь. Не менѣе интересно предостереженіе нашего поэта противъ коварства нѣмцевъ, которые, прикрываясь дружбой, съ каждымъ годомъ все больше и больше зарятся на Польшу. Далѣе слѣдуетъ очень удачное и остроумное указаніе Кохановскаго на любовь поляковъ къ красивой внѣшности, рисовѣѣ и роскоши. Бѣдность предковъ въ его глазахъ имѣеть гораздо больше значенія, чѣмъ богатство нынѣшнихъ поляковъ:

Kto dziś Zamek założy? Kto klasztor zbuduje?

На ряду съ роскошью теперь царить скупость. Въмѣсто того, чтобы платить королю подати, они сами норовятъ еще взять съ него что-нибудь. Также точно никто не желаетъ нести матеріальныхъ обязанностей по отношенію къ духовенству. Не имѣя охоты вдаваться по этому поводу въ разсужденія о вѣрѣ, Кохановскій отсылаетъ въ Тридентъ тѣхъ, кто придерживается иныхъ религіозныхъ взглядовъ. Онъ говоритъ:

Dobrym chrześcijaninem nie tego ja zowę,
Co umie disputować i ma gładką mowę,
Ale kto żywie według wolej Pana swego,
Tego ja barziej chwaleę, niżli wymownego.

Въ противувѣсъ современнымъ религіознымъ шатаніямъ поэтъ указываетъ на стойкость въ вѣрѣ древнихъ поляковъ, не пытавшихся разрѣшать такихъ вопросовъ, которые не подъ силу ихъ разуму. О себѣ онъ выражается ¹⁾:

съ ядомъ, напоминающимъ Эразма Роттердамскаго, бичуетъ пороки изнѣженныхъ соплеменниковъ Яна.

¹⁾ Проф. Станиславъ Тарновскій полагаетъ, что нашъ поэтъ въ „Сатирѣ“ „окончательно отрекается отъ новыхъ вѣрованій и мѣтитъ въ самую суть протестантства, говоря, что не его дѣло судить о вѣрѣ“. Обратившись къ самому тексту, мы читаемъ совершенно иное:

Bracie, nie chcę się z tobą w rzecz wdawać o wierze,
Bo ja sam na się wyznam, że prostak w tej mierze.
Lecz jeśli ty inaczej o sobie rozumiesz,
Jedź do Trydentu a tam okażesz co umiesz.

Слѣдовательно, ни себѣ, ни протестантамъ Кохановскій не отказываетъ въ правѣ сужденія о вѣрѣ, а только говоритъ, что ему не хочется „wdawać w rzecz“ т. е. разсуждать о вѣрѣ съ протестантами, такъ какъ онъ не считаетъ себя компе-

Nie uczyłem się w Lipsku, ani w Pradze wiary
 I niewiem jako każą w Jenewie u Fary;
 Wszystko mam z pustelników, co mieszkają znami
 Między lasy i między pustemi górami.
 Ci mi naprzód prawego Boga ukazali
 I wiarę dostateczną do serca podali.

Затѣмъ поэтъ предлагаетъ путемъ новаго статута реорганизовать правосудіе и снять съ короля непосильное бремя рѣшенія безчисленныхъ тяжбныхъ дѣлъ. Кромѣ того, „Сатиръ“ весьма основательно жалуется на недостатки школьнаго дѣла въ Польшѣ, которые вызываютъ необходимость отправлять учащуюся молодежь за границу, гдѣ порядки опять таки не лучше отечественныхъ. Стоитъ только завести болѣе благоустроенныя во всѣхъ отношеніяхъ школы, тогда даже изъ чужихъ странъ охотно будутъ пріѣзжать учиться въ Краковъ. Плохое состояніе польскихъ школъ, по словамъ поэта, обуславливается, главнымъ образомъ, ограниченными средствами, отпускаемыми на ихъ содержаніе¹⁾).

Благодаря этому, польская молодежь въ силу необходимости должна воспитываться въ чужихъ краяхъ, вслѣдствіе чего получились весьма плачевные результаты:

Polskę nic inszego o taką odmianę
 Nie przyprawiło,—jedno postronne ćwiczenie.

тентнымъ въ этомъ дѣлѣ. Для нашего поэта большую цѣну имѣетъ христіанская нравственность, чѣмъ споры о догматахъ:

Dobrym chrześcijaninem nie tego ja zowę,
 Co umie disputować i ma gładką mowę,
 Ale kto żywie według wolej Pana swego,
 Tego ja barziej chwale, niżli wymownego.

Если какой-нибудь протестантъ считаетъ себя способнымъ къ богословскимъ разсужденіямъ, его поэтъ, какъ и въ предыдущемъ произведеніи, отсылаетъ въ Тридентъ. Для своего заключенія краковскій профессоръ произвольно измѣняетъ смыслъ цѣлой фразы Кохановскаго: „nie chcę się z tobą w rzecz wdawać o wierze“, какъ будто бы она звучала слѣдующимъ образомъ: „nie moja rzecz sądzić o wierze“.

Нашъ поэтъ въ этомъ дѣлѣ обнаруживаетъ большую осторожность: онъ хотя и склоняется на сторону католичества, но скорѣе изъ политическихъ выгодъ для Рѣчи Посполитой, чѣмъ по собственному глубокому убѣжденію. Въ религиозныхъ вопросахъ, намъ кажется, онъ все еще занималъ колеблющееся положеніе.

¹⁾ Последняго желанія нѣтъ въ рѣчи Мышковскаго, хотя оно и упоминается въ документахъ предыдущаго сейма.

Каждая rzecz pospolita swoją sprawą stoi,
Do której jeszcze z młodu dzieci wieść przystoi,
Bo jeśli co nowego sobie ulubują,
Wedle tego za czasem potym świat budują.

„Сатиръ“ говоритъ, что всѣ эти наставленія онъ слышалъ отъ центавра Хирона, который по уму могъ сравниться съ великими учеными. Этотъ мудрецъ, обращаясь къ своему ученику, говорилъ: „Сынъ мой, пока ты въ моемъ домѣ ты не увидишь и не услышишь ничего дурного. Но придетъ время, когда ты разстанешься со мною и съ этими прекрасными лѣсами и какъ смѣлый, молодой орелъ, вылетишь изъ родимаго гнѣзда. Тогда тебѣ придется быть въ высшей степени осторожнымъ:

Bo jako gęste mszyce, nagle cię obsiedą
Roskoszy świata tego i odwozić będą
Twoje szlachetne serce od zabaw uczciwych,
Cukrując ci na zdradzie smak rzeczy żełżywych.

Помни то, о чемъ я теперь говорю съ тобою, чтобы тебя не тревожило какое-либо бѣдствіе.

Tego naprzód bądź pewien, iż Bóg wszystko widzi
A jako snotę lubi, tak się grzechem brzydzi.

Человѣку не слѣдуетъ забывать, что, въ отличіе отъ всѣхъ животныхъ, одинъ только онъ можетъ обращать свои взоры къ небу, откуда происходитъ его душа:

O tym czuć, o tym myśleć ustawicznie trzeba,
Jakoby się mógł wrócić na miejsca ojczyste,
Gdzie spólnie przebywają Duchy wiekiuste. ¹⁾

Поэтому, дитя мое, всегда стремись къ добродѣтели и бѣги отъ порока:

¹⁾ Параллельныя мѣста мы встрѣчаемъ у слѣдующихъ римскихъ классиковъ:

1) (natura) cum ceteras animantis abiecisset ad pastum, solum hominem erexit et ad coeli quasi cognationis domicillique pristini conspectum excitavit

Cicero. De Legibus I. 9.

2) Pronaque cum spectent animalia cetera terram,

Os homini sublime dedit, coelumque tueri

Inssit et erectos ad sidera tollere vultus.

Ovid. Metamorph. I. 84.

A iześ się urodził w domu zawołanym
 J czasu swego będziesz panował poddanym,
 Pocznisz rząd sam od siebie a uskróm chciwości,
 Niechaj będą posłuszne rozumnej zwierzchności...

....Pańskiego zdrowia ani mocne sklepy
 Ani tak dobrze strzegą poboczne oszczepy,
 Jako miłość poddanych i wiara życzliwa,
Czego strach nie wycisnie i groza fukliwa.
Rychlej dobroć i łaska, rychlej chuć wzajemna
 W tymci postużyć może i ludzkość przyjemna.
 W przyjacielu się kochaj i każdą przestrogę
 Wdzięcznie od niego przyjmuj, bo, śmieie rzec mogę,
Królowie inszych rzeczy wszzech obfitość mają,
Samej prawdy tam do nich najmniej przynaszają.

Вслідствие этого избѣгай лести:

Cnotę miłuj i godność, bo tym państwa stoją,
 Kiedy dobrzy są w wadze, a źli się zaś boją.

А, что важнѣе всего, самъ подавай примѣръ своею жизнью,
 Bo poddani za panem zawsze pójdą snadnie.

Будь остороженъ въ распредѣленіи государственныхъ должностей, не
 поручай ихъ неопытнымъ людямъ, а въ особенности корыстолюбивымъ,

..... bo kędy
 Sprawiedliwość przedajna, tam przekłętwo wielkie,
 А u Boga niewinnych ważne próby wszelkie.

Пользуйся миромъ для того, чтобы приготовиться въ войнѣ, таеъ
 какъ сосѣди снаряжаютъ для чего-то свои корабли. Если придется
 тебѣ ополчиться противъ неприятеля, то поддержи славу твоихъ пред-
 ковъ. Для этого постарайся какъ можно лучше изучить военное
 искусство.

Cnota sławą się płaci, a snadź w przyszłym wieku
 Wzbudzi takiego ducha Bóg w pewnym człowieku,
 Który twe zacne sprawy swoim piórem złotym
 Będzie chciał światu podać, tak iż nigdy potym
 Imię' twoje nie zgaśnie, ani uzna końca,
 Póki zwierząt na ziemi a na niebie słońca“.

Такими словами закончил Хиронъ свою рѣчь. Въ заключеніи поэтъ обращаясь къ сатиру, приглашаетъ его зайти въ себѣ и проситъ рассказать, какъ отнеслись къ нему люди.

Сравнивая „Satyr“ Кохановскаго съ рѣчью подканцлера, мы замѣчаемъ, что въ первомъ пропущены мысли Мышковскаго объ уни и о войнѣ. Также не упоминаетъ поэтъ о стѣсненіи крестьянъ и ремесленниковъ неволюю, а купцовъ и мѣщанъ крайней нуждою. Въ остальномъ „Сатиръ“ и рѣчь совпадаютъ между собою и мысли въ нихъ выражены почти съ одинаковой послѣдовательностью. Совершенною самостоятельностью, по отношенію къ рѣчи Мышковскаго, отличается заключеніе „Сатира“, состоящее изъ длинныхъ наставленій Хирона своему воспитаннику Ахиллу ¹⁾.

Моравскій видитъ въ немъ отраженіе всей гуманистической литературы въ ея произведеніяхъ дидактическаго характера ²⁾. Если даже мы и признаемъ справедливость этой мысли, все-таки мы не станемъ отрицать, что Кохановскій выразилъ въ своемъ „Сатирѣ“ не только академическую мораль, но и явленія живой дѣйствительности.

„Satyr“, кромѣ предисловія и заключительнаго обращенія автора къ сатиру, насчитываетъ 445 стиховъ, написанныхъ тѣмъ же размѣромъ, что и „Zgoda“, т. е. тринадцатисложнымъ, съ цезурой послѣ седьмого слога. Стихъ вездѣ выдержанъ, мѣстами блещетъ юморомъ ³⁾ и образностью. Возвышеннымъ характеромъ, а иногда даже художественностью, отличаются заключительныя наставленія Хирона. Какъ, напримѣръ:

¹⁾ Можетъ быть, заключительныя поученія Хирона заимствованы Кохановскимъ изъ современнаго его „Сатиру“ произведенія Ронсаръ: „Institution pour l'adolescence du Roy Très-Chrestien Charles IX de ce nom“. Французскій поэтъ начинаетъ свое повѣствованіе упоминаніемъ о Хиронѣ и Ахиллѣ, котораго Фетида

..... de nuit l'emporta dans l'autre de Chiron,
Chiron noble centaure a fin de luy apprendre
Les plus rares vertus

Вѣрнѣе всего, что у обоихъ поэтовъ былъ общій первоисточникъ.

²⁾ См. „Przegląd polski“ sierpień 1884 г.

³⁾ Проф. Тарновскій считаетъ „Satyr“ Кохановскаго первой сатирой на польскомъ языкѣ, совершенно упуская изъ виду Рея и его стихотвореніе „Rostowa wojta z rapem a plebanem“.

.... Człowiek twarz wyniosłą niesie przed wszystkimi,
Patrząc w ozdobne niebo oczyma jasnimi.

ИЛИ:

Ale człeku, którego dusza poszła z nieba,
O tym czuć, o tym myśleć ustawicznie trzeba,
Jakoby się mógł wrócić na miejsca ojczyście,
Gdzie spólnie przebywają Duchy wiekuiste.

ИЛИ:

Bo tak wiedz, iż w człowieku są mocarki dziwne,
Nie tylko sobie różne, ale i przeciwne:
Jest bystra popędliwość, jest żądza nie syta,
Bojaźń mdła, żalność smutna, radość nie pokryta,
Nad którymi jest rozum, jako Hetman, który
Ma strzedz, aby z nich żadna nie mogła wziąć góry.

Последнее мѣсто весьма напоминаетъ слѣдующія слова отца Лоренцо во II актѣ „Ромео и Джульетты“¹⁾:

Лагеремъ вѣчно стоятъ въ челоуѣвѣ, какъ въ травкѣ,
Два супротивныхъ царя: благость и буйная воля,
И тамъ, гдѣ худшій изъ нихъ верхъ одержитъ, тамъ живо
Червь смерти поѣстъ все растеніе.

Очень можетъ быть, что эту мысль и Шекспиръ, и Кохановскій, почерпнули изъ одного источника.

Вѣроятно, не безъ цѣли выбралъ Кохановскій выразителемъ своихъ мыслей миѳическаго сатира. Дремучіе лѣса средневѣковья падаютъ въ Польшѣ подъ мощными ударами эпохи возрожденія и забытыя существа античной миѳологіи являютъ на свѣтъ провозвѣстниками гуманистическихъ идеаловъ, противъ которыхъ вооружаются новыя соціальныя порядки. Поэтому нельзя съ такой строгостью осуждать Кохановскаго за его противодѣйствіе торговлѣ и промышленности, которое было, съ одной стороны, данью гуманизму, съ другой, глубокимъ сознаниемъ необходимости улучшить военную организацію Рѣчи Посполитой. Другихъ воиновъ, кромѣ шляхты, не было въ Польшѣ. Слѣдовательно, извѣженность рыцарства и его занятія торговлей вредили цѣлямъ Кохановскаго. Какъ выраженіе его политическихъ убѣжденій, „Сатиръ“ имѣетъ такое же важное значеніе,

¹⁾ См. „Ромео и Юлія“ траг. В. Шекспира перев. П. А. Кускова. СПб. изд. Суворина (Деш. Библ.) 46 стр.

какъ „Zgoda“, но только въ немъ мысли поэта отличаются еще большей опредѣленностью. Здѣсь онъ также является сторонникомъ экзекуціи и повторяетъ, кромѣ того, нѣкоторыя мысли шляхетской партіи, выраженные въ привѣтственной рѣчи маршала Сѣнницяго, какъ, напримѣръ: *roszniej gład od siebie* и т. п.

Какъ извѣстно, „Сатиръ“ былъ посвященъ королю, которому едва ли могли прійтись по душѣ относящіеся къ нему нравоученія. Какъ видно изъ тона этого произведенія, Кохановскій былъ уже хорошо извѣстенъ Сигизмунду Августу, къ которому онъ обращается здѣсь даже съ нѣкоторой фамильярностью. Быть можетъ, подозрительный и скрытный король не обнаружилъ своего неудовольствія и только оплатилъ смѣлому поэту полнымъ равнодушіемъ въ теченіе всей его придворной службы, которая началась, во всякомъ случаѣ, послѣ написанія Кохановскимъ „Сатира“.

Мышковскій оцѣнилъ политическія способности молодого поэта и пригласилъ его занять должность королевскаго секретаря. Кохановскому такое мѣсто несомнѣнно должно было больше понравиться чѣмъ придворная жизнь у магнатовъ, и онъ охотно принялъ предложеніе Мышковскаго.

Не иначе, какъ признательностью къ послѣднему, нужно объяснить то обстоятельство, что посвященные ему стихотворенія Кохановскаго отличаются большей теплотой и задушевностью, чѣмъ элегіи и эпиграммы къ Паднѣвскому. Въ обществѣ Мышковскаго поэту пришлось провести очень долгое время, сопровождая его во всѣхъ путешествіяхъ. Такъ, напримѣръ, изъ двадцать пятой пѣсни первой книги¹⁾ видно, что Кохановскій былъ въ походѣ 1568 года съ королемъ и Мышковскимъ. Но и къ Паднѣвскому нашъ поэтъ относился съ большимъ расположеніемъ, насколько можно судить по привѣтственной элегіи²⁾ къ нему, когда послѣдній, вступалъ на епископскую кафедру, а также и эпитафіи.³⁾ Ихъ соединяла дружеская привязанность, такъ какъ поэтъ часто бывалъ въ домѣ епископа, гдѣ встрѣчался съ хорошими людьми, какъ, напримѣръ, докторъ Монтанусъ, часто упоминаемый въ „Фрашкахъ“. Паднѣвскаго нашъ поэтъ называетъ украшеніемъ и славой своей жизни, но не больше,

¹⁾ См. W. P. I. 299.

²⁾ См. W. P. III. 104.

³⁾ См. W. P. III. 240.

какъ какъ знакомство съ ученымъ и сенаторомъ дѣйствительно было для него честию. Умѣренной симпатіей къ нему дышетъ стихотвореніе „Ad Philippum Radneviu“¹⁾.

Къ Мышковскому пишетъ онъ веселыя и фамиллярныя стихотворенія, но въ нихъ, кромѣ того, сквозитъ признательность къ нему, искреннее желаніе быть всегда въ его обществѣ, высшая степень довѣрія и привязанности. Кохановскій считаетъ себя болѣе всего обязаннымъ Мышковскому, его услугъ поэтъ не забудетъ даже послѣ смерти. Дружба съ нимъ Кохановскаго не прекращалась и послѣ ихъ разлуки.

II.

Предложенія Кохановскому принять духовный санъ. Его отказъ. Эротическія произведенія этого періода. Отношеніе Кохановскаго къ Дудичу. Стихотвореніе „Ad Musas“. Желаніе оставить придворную службу. Carmen Masagonicum.

По свидѣтельству Старовольскаго²⁾, Кохановскому неоднократно предлагали принять духовный санъ. Объ этомъ, вѣроятно, особенно старались епископы Паднѣвскій и Мышковскій, въ особенности послѣдній, предложившій ему бенефицію съ познанскаго прихода, какъ подготовительную ступень къ рукоположенію. Какъ видно изъ „Carmen Masagonicum“, поэтъ долгое время колебался прежде чѣмъ дать рѣшительный отвѣтъ. Біографъ Кохановскаго выставляетъ причиной отказа то, что нашъ поэтъ не считалъ себя въ силахъ свято исполнять священническія обязанности и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не хотѣлъ быть плохимъ ксендзомъ. На нашъ взглядъ эта причина могла быть только приличной отговоркой, тогда какъ, въ сущности, Кохановскому въ данномъ случаѣ мѣшало глубокое убѣжденіе въ несостоятельности целибата католическаго духовенства, что онъ и выразилъ въ известныхъ намъ элегіяхъ и въ нѣкоторыхъ фразеахъ³⁾. Трудно допустить, чтобы его прежніе взгляды на этотъ вопросъ такъ рѣшительно измѣнились. Въ нихъ, по всей вѣроятности, должна была еще больше укрѣпить его присущая ему отъ природы влюбчивость.

¹⁾ См. W. P. III. 204.

²⁾ См. Przyborowski. Wiadomość o życiu i pismach Jana Kochanowskiego str. 49.

³⁾ См. Fraszki. ks. I. 21. 43, 49, 55. II 19, 20, 25. III. 15, 17, 56.

И при королевскомъ дворѣ Кохановскаго окружала та сама обстановка гуманизма и добрыхъ товарищей, какъ раньше, и здѣ ему приходилось переживать тѣ же самыя житейскія случайности успѣхи и неудачи. Здѣсь только онъ сталкивался съ новыми лицами и приобрѣталъ новыя симпатіи, которымъ онъ посвящалъ произведенія своей музы.

Вотъ на примѣръ IX пѣснь фрагментовъ¹⁾, въ которой онъ восторженно описываетъ красоту какой-то „рапі“, не называя ея имени. По словамъ поэта, она похожа на ангела; гдѣ она,—тамъ рай; гдѣ она ни станетъ, вездѣ вырастаютъ розы и лиліи. Ради нея деревья даютъ обильную тѣнь, умѣряя палящій лѣтній зной. Она такъ поражаетъ всѣхъ, привлекаетъ и властвуетъ, какъ солнце цвѣткомъ подсолнечника, или магнитъ желѣзомъ. Счастливы тотъ, кто любитъ эту „рапі“, красота которой превосходитъ прелести Елены и всѣхъ прежнихъ и будущихъ женщинъ.

Последнее выраженіе является, конечно, сильно натянутое преувеличеніемъ, тѣмъ не менѣе цѣлому стихотворенію нельзя отказать въ литературныхъ достоинствахъ. Образность, правда, не отличается въ немъ яркостью и новизной красокъ, но всетаки вполне отвѣтствуетъ чувству поэта. Приведенное стихотвореніе не вноситъ ни одной новой черты въ любовную лирику Кохановскаго.

Въ тѣ годы нашъ поэтъ не былъ занятъ исключительно своей собственной любовью. И чужое чувство иногда находило откликъ въ его сердцѣ.

Въ восьмой пѣснѣ фрагментовъ²⁾ Кохановскій рассказываетъ, какъ онъ, однажды, выйдя раннимъ утромъ на берегъ Вислы, увидѣлъ молодую женщину, сидѣвшую въ высокой башнѣ. Она съ грустью повѣдала ему, что имѣетъ мужа, противнаго ей, „какъ грѣхъ“, а тотъ, кого она любитъ, уѣхалъ далеко. Ее принудили выйти за немиллаго и она, вслѣдствіе этого, глубоко несчастна. Не имѣя ни въ комъ ни друга, ни помощи, ни утѣшенія. Мужъ не любитъ ея, чему она и не удивляется. Въ заключеніе она проситъ брата, чтобы онъ, по примѣру своего дяди, отомстилъ за ея обиду и за свое безчестіе, и о себѣ говоритъ:

¹⁾ См. W. P. II. 473.

²⁾ См. W. P. II. 472.

Jaś abo zdrowia w tym frasunku zbęde,

Abo nakoniec twoją żoną бęde.

Сюжетомъ для разбираемой пѣсни послужила общеизвѣстная въ XVI вѣкѣ романическая исторія Гальшки Острожской ¹⁾, которая, будучи влюблена въ князя Семена Слуцкаго, была противъ воли выдана замужъ за графа Лукаша Гурницкаго. Мужъ заключилъ ее въ свой замокъ въ Шамотулахъ на Вартѣ въ 1559 году, а въ 1560 году умеръ князь Семень Слуцкій.

Кохановскій, по своему обыкновенію, старательно сгладилъ всякія черты изъ дѣйствительности, опустилъ имена героев романа и Варту замѣнилъ Вислой. Въ первыхъ стихахъ заключительной строфы:

A ty mój bracie, wzorem struja twego

Pomści mej krzywdy i żelżenia swego.

нельзя видѣть никакого намека на дѣйствительное событіе, какъ это предполагаетъ проф. Тарновскій ²⁾. Здѣсь мы имѣемъ обыкновенный литературный приѣмъ Кохановскаго, состоящій въ маскировкѣ современнаго событія классической внѣшностью. Если ближе присмотрѣться къ данному выраженію, то оказывается, что, въ примѣненіи къ Семену Слуцкому и князю Острожской, оно не имѣетъ никакого значенія: у насъ совершенно нѣтъ фактическихъ данныхъ, что князь Слуцкій имѣлъ какого то дядю, который отомстилъ бы за свою обиду. При такомъ толкованіи этихъ словъ получается очевидная натяжка, такъ какъ даже эпитетъ „братъ“, по отношенію къ князю Семену, не можетъ имѣть того значенія, которое придаетъ ему Тарновскій. Здѣсь просто Кохановскій беретъ сюжетъ изъ VIII героиды Овидія о Герміонѣ и Орестѣ, которая во многомъ совпадаетъ съ произведеніемъ нашего поэта. Положеніе дѣйствующихъ лицъ въ ней такое же, какъ и въ пѣсни Кохановскаго: дочь Менелая и Елены, Герміона, была помолвлена съ Орестомъ. Ее похитилъ Пирръ-Неоптолемъ. Тогда Герміона обращается изъ своего заточенія къ брату (сыну Агамемнона) Оресту, съ просьбой отомстить за ея обиду, при чемъ она указываетъ ему на примѣръ его дяди Менелая, отомстившаго за похищеніе Елены. Иныя мѣста Кохановскій цѣликомъ взялъ у Овидія, какъ на примѣръ:

¹⁾ См. Beata und Halszka. eine polnisch-russische Geschichte aus dem XVI Jahrh. von I. Caro. Breslau 1883.

²⁾ Op. cit. 269 p.

Flere licet certe

Has (lacrimas) solas habeo semper, semperque profundo.

и:

Jedną mam wolność w swej ciężkiej niewoli,

Że się wzdry mogę napłakać do woli

I mnie nieszczęsnę łzy moje wydają,

Które mi z oczu płynąć nieprzestają.

или:

Per genus infelix juro.

Aut ego praemoriar primoque extinguar in aevo

Aut ego Tantalidae Tantalus uxor ero.

и:

Jać albo zdrowia w tym frasunku zbęde,

Albo na koniec twoją żoną będę.

Эта пьсь не лишена значительных литературных достоинств. Въ ней съ психологической вѣрностью изображено женское чувство. Какъ хорошо, наприжвръ, выражено оно въ слѣдующихъ словахъ:

Jedną mam wolność w swej ciężkiej niewoli,

Że się wzdry mogę napłakać do woli.

Съ какой трогательной беспомощностью говорить она, что и съ вѣмъ подѣлиться ей своимъ горемъ. Прекрасная душа должна была быть у этой женщины, если она, при всемъ отвращении къ своему мужу, говорить о немъ:

Ja go nie sądzę, ani mi przystoi.

Глубокой психологической правдой отличаются также слѣдующія слова ея о мужѣ:

Mił mi nie będzie, bych dziś umrzeć miała.

Къ ея сильной натурѣ, очевидно, не подходитъ господствующая во всѣ времена, банальная сентенція: „стерпится—слюбится“. Силу ея характера подтверждаетъ также слѣдующее выражение:

Ręce mógł związać, myśli niezniewoli.

Одиннадцатисложный стихъ прекрасно передаетъ жалобы несчастной женщины. По формѣ это стихотворение не оставляетъ желать ничего лучшаго. Въ немъ встрѣчается оборотъ, заимствованный Кохановскимъ, очевидно, изъ пословицы:

Trzeźwy w pijanych sprawę nieugodzi.

Кромѣ любовныхъ стихотворений въ этомъ періодѣ Кохановскій писалъ и другія. Изъ послѣднихъ интересна въ биографическомъ

ношеніи двадцать шестая фрашка второй книги¹⁾ къ Петру Кловскому, который собирался тогда ѣхать въ Италію. Это стихотвореніе, во первыхъ, показываетъ, что нашъ поэтъ не сразу отъяснялся отъ духовнаго сана, во вторыхъ, здѣсь Кохановскій говоритъ о своемъ нежеланіи вторично сопровождать границу Петра Кловскаго. Странно въ послѣднихъ словахъ видѣть указаніе на то, что нашъ поэтъ всего только одинъ разъ ѣздилъ въ Италію²⁾. Ихъ корѣе нужно понимать слѣдующимъ образомъ: совершенно не касаясь своей первой самостоятельной поѣздки, поэтъ говоритъ, что *уже сопровождалъ* Петра границу и лишь *вторично не хотѣлъ сопровождать*. Упоминаемымъ въ немъ Андреемъ былъ, во всякомъ случаѣ, не Нидецкій, который въ 1565 году, когда было написано это стихотвореніе, находился въ Польшѣ. Этимъ Андреемъ могъ быть и Дудычъ, съ которымъ также связывали Кохановскаго дружескія отношенія.

Въ 1565 году, вмѣстѣ съ Курцбахомъ, пріѣхалъ Дудычъ, во главѣ австрійскаго посольства, прибывшаго съ цѣлью склонить короля къ примиренію съ королевой Катериной и, вмѣстѣ съ тѣмъ, обезпечить польскую корону за австрійскимъ домомъ послѣ смерти бездѣтнаго Сигизмунда Августа. Молодого пріятеля—епископа Дудыча привѣтствуетъ Кохановскій стихотвореніемъ, въ которомъ высказываетъ, по поводу его неожиданнаго пріѣзда, живѣйшую радость. (Fogisoenia 63)³⁾ Не имѣя возможности видѣться съ нимъ, поэтъ посылаетъ ему свой портретъ, снятый съ него еще въ молодости, когда онъ не былъ до такой степени изможденъ тоской и работой.

Дудычъ, сложивши съ себя въ 1567 году епископскій санъ, женился. Кохановскій по этому поводу написалъ шестнадцатую элегію третьей книги.⁴⁾ Въ ней поэтъ сообщаетъ правдивую новость о бракѣ блестящаго императорскаго посла Дудыча. Одна изъ дѣвицъ завладѣла тѣмъ, чего многія пламенно, но тщетно добивались. Ни итальянки, ни нѣмки, ни французенки не могли покорить его сердца. Одной только сѣверной красавицѣ удалось это. Ради нея Андрей отрекся отъ епископской митры и всѣхъ богатствъ. Откуда такая страсть

¹⁾ См. W. P. II. 370.

²⁾ St. Tarnowski. Op. cit. p. 274.

³⁾ См. W. P. III. 220

⁴⁾ См. W. P. III. 140.

въ человѣческомъ сердцѣ? Или, можетъ быть, правдивъ старыи мифъ великанахъ, состоявшихъ изъ двухъ сросшихся между собой половинъ? Легенда повѣствуетъ, что разгнѣванный Юпитеръ за какіе-то ихъ проступки разсѣкъ каждаго изъ этихъ великановъ на двое. И стали съ тѣхъ поръ разрозненныя половины отыскивать по свѣту другъ друга. Этимъ поискамъ придава Венера особенную сладость и такимъ образомъ облагодѣтельствовала человѣческой родъ. Такъ произошла любовь. На землѣ каждый ищетъ своей половины. Ишедши свою, Дудычъ сталъ цѣлымъ человѣкомъ. Въ качествѣ друга поэтъ желаетъ ему вѣчнаго счастья. (Мифъ объ андрогинахъ заимствованъ Кохановскимъ изъ „Пира“ (Συμπόσιον) Платона).

Станиславъ Тарновскій, отстаивая правоту католическихъ убѣжденій нашего поэта, считаетъ эту элегію прямо неприличной и объясняетъ ее путаницей понятій того времени о религіозныхъ вопросахъ.¹⁾ По его словамъ, многіе католики XVI вѣка не были въ такой степени знакомы съ догматами своей вѣры, чтобы не считать брава послѣ таинства священства грѣхомъ противъ церковныхъ постановленій. Кромѣ того, Кохановскій могъ написать это стихотвореніе исключительно ради дружбы съ Дудычемъ.

Дѣло объясняется на нашъ взглядъ гораздо проще тѣмъ убѣжденіемъ Кохановскаго, которое помѣшало ему сдѣлаться священникомъ. Слѣдовательно, тутъ не при чемъ смѣшеніе понятій, прішедшее въ его время. Скорѣе можно допустить въ нашемъ поэтѣ сочувствіе нѣкоторымъ протестантскимъ убѣжденіямъ, чѣмъ ревностный католицизмъ. Какъ мы выше упоминали, даже нѣкоторые духовныя лица были тогда на сторонѣ реформаціи. Самъ Дудычъ, какъ видно, во первыхъ, изъ его женитьбы и, во вторыхъ, изъ латинскаго двустипшія, переведеннаго Кохановскимъ въ 43 фразкѣ первой книги²⁾ „Na świętego ojca“, склонялся на сторону протестантизма. Едва ли ревностный католикъ рѣшился бы писать или переводить насмѣшку надъ главой своей церкви, хотя бы и жившимъ въ прошломъ столѣтіи.

Не въ одной только элегій въ Дудычу отразилось знакомство нашего поэта съ философій Платона. Идеологія великаго греческаго мыслителя послужила канвой для шутиваго стихотворенія Коханов-

¹⁾ Op. cit. p. 275—280.

²⁾ См. W. P. II. 347.

каго „Broda“. ¹⁾ Содержаніе его состоитъ въ слѣдующемъ: гдѣ-то въ заоблачныхъ сферахъ идеальная, абсолютная борода, отраженіемъ которой служатъ всѣ земныя бороды, ведетъ безпрестанную борьбу съ такими-же усами. Послѣднимъ удается склонить на свою сторону юдіавальнаго Водолея, который чувствуетъ какую-то злобу противъ бороды и берется ее наказать.

Здѣсь, вѣроятно, скрыта какая-нибудь аллегорія или намекъ, значеніе которыхъ для насъ не понятно. Вслѣдствіе этого стихотвореніе теряетъ значительную долю остроумія и не производитъ на насъ вполне благопріятнаго впечатлѣнія.

Къ этому времени придворная служба начинаетъ тяготить Кохановскаго; ему хочется оставить дворъ и уѣхать въ Чернолѣсь, но Мышковскій удерживаетъ его. Основаніемъ для такого предположенія служитъ эпиграмма нашего поэта „Ad Musas“ (Foricoenia) ²⁾, гдѣ Кохановскій называетъ себя бѣглецомъ, измѣнникомъ по отношенію къ музамъ; но пусть онѣ не судятъ его за это слишкомъ строго, такъ какъ его не увлекла перспектива митры и богатства. Суровая добродѣтель Мышковскаго и расположеніе его, превышающее дѣйствительныя заслуги поэта, обязываетъ послѣдняго посвятить себя иной службѣ. Кохановскій считаетъ для себя недостойнымъ пользоваться досугомъ, когда его благодѣтель несетъ неуспѣшные труды. Тѣмъ не менѣе, poeta не оставляетъ надежда, что онъ, въ награду за свою дѣятельную жизнь, получить возможность вернуться, наконецъ, въ священныя роцци музъ, передъ лицомъ которыхъ ему хотѣлось бы и жить и умереть.

Къ тому же времени относится, вѣроятно, „Carmen Mасагонісш“ ³⁾. Это стихотвореніе очень важно въ біографическомъ отношеніи. Приводимъ его содержаніе.

Поэтъ, томимый лѣтнимъ зноемъ, направляется къ дубовому лѣсу, расположенному на берегу Вислы, около Кравова. Погрузившись въ размышленія о выборѣ для себя образа жизни и рода занятій, онъ замѣчаетъ приближающихся къ нему четырехъ мужей. Одинъ изъ нихъ одѣтъ въ сѣрую рясу, подпоясанную грубой веревкой, на головѣ его сіяла огромная лысина, а ноги были обуты въ

¹⁾ См. W. P. II. 210.

²⁾ См. W. P. III. 271.

³⁾ См. W. P. II. 481.

деревянные башмаки. На другомъ былъ длинный черный востокъ, доходившій до пятъ, собранный во множество складокъ. И у него была лысина, которую покрывалъ черный беретъ, съ нависшими, по итальянской модѣ, краями. Третій былъ одѣтъ въ широкій бархатный плащъ, желтый кафтанъ и кожанные рейтузы, желтый козетъ сапоги, шпагу и беретъ съ перьями; на шеѣ у него была золотая цѣпь, такъ что все на немъ было желтаго цвѣта. Четвертый носилъ одежду маховаго цвѣта, сшитую просто и украшенную только парой серебряныхъ застѣжекъ и двѣнадцатю пуговицами, цѣнной работою по шести въ каждомъ ряду. Встрѣтившись съ поэтомъ, всѣ они подоровались съ нимъ. Первымъ обратился къ нему тотъ, что былъ опоясанъ веревкой: „по твоему лицу я вижу, сынъ мой, что у тебя есть какая-то забота. Повѣдай мнѣ ее, можетъ быть, благой советъ найдется у меня подъ сѣрой рясой“. Поэтъ отвѣчаетъ ему: „не мучить меня ни жажда къ наживѣ, ни честолюбіе; не хочу я епископской митры. Я не имѣю долговъ и возлюбленная не завладѣла моимъ умомъ. Благодаря Бога, отъ всего этого свободно мое сердце. Меня безпокоитъ одна только мысль, какъ устроить свою жизнь. Если ты такъ добръ, дай мнѣ хорошій советъ“.

Монахъ отвѣчаетъ ему: „счастье твое, молодой человекъ, что ты не полагаешься на слѣпую судьбу и рѣшаешься дѣйствовать по собственному размышленію и по доброму совету. Слушай и сохрани мои слова въ глубинѣ твоей души. Видишь, какъ вѣтеръ вырываетъ съ корнемъ громадныя дубы? Такъ, сынъ мой, бываетъ и въ людскихъ дѣлахъ: кто стремится къ высокимъ почестямъ, тотъ подвергается суровымъ ударамъ судьбы, а кто держится ближе къ землѣ, тому они не опасны. И я также, будучи лѣтъ пятнадцати отъ роду, пережилъ такія же заботы, какъ и ты. Можетъ быть, я и согрѣшилъ бы, такъ какъ людскіе помыслы не мудры. Уже лукавый искушалъ меня женитьбой или придворной службой. Но во снѣ мнѣ явился св. Бернадъ и склонилъ меня къ поступленію въ монастырь его ордена. То же слѣдуетъ сдѣлать и тебѣ, мой сынъ, если ты не хочешь знать скверны міра сего и желаешь сподобиться сладости будущей жизни. Но напрасно не жди, чтобы тебѣ явился во снѣ св. Бернадъ, или добрыя божества. Такъ бывало прежде, но не теперь, когда ни постовъ не соблюдаютъ, ни мша уже не пользуется уваженіемъ“.

Послѣ монаха говоритъ всендзъ. Смыслъ его рѣчи состоитъ въ томъ, что монахи и всендзы, совершая однѣ и тѣ же службы, нахо-

дятся въ одинаковой близости къ небу; въ остальномъ же послѣдніе имѣютъ то преимущество надъ монахами, что могутъ принимать участіе въ веселыхъ бесѣдахъ и пользоваться услугами молодыхъ кухарокъ.

Придворный выражаетъ нежеланіе видѣть молодого человѣка ни въ монашеской, ни въ священнической рясѣ, такъ какъ теперь наибольшую ненависть вызываютъ въ себѣ ксендзы, а монахи возбуждаютъ отвращеніе. Даже епископовъ не охраняютъ отъ этого ихъ святительскія облаченія. Проклятыя потеряли свою силу, и сами діаволы уже не боятся креста. Поэтому онъ не совѣтуетъ молодому человѣку гнаться за духовнымъ хлѣбомъ, когда есть еще иной путь, на которомъ, будучи полезнымъ себѣ и своимъ ближнимъ, можно не подвергаться ненависти и людскимъ насмѣшкамъ.

Землевладѣлецъ, отдавая должное каждому изъ вышеупомянутыхъ званій, говоритъ о необходимости выбрать себѣ родъ жизни исключительно по внутреннему влеченію. Кто можетъ сдержать клятву и вести чистую жизнь, пусть дѣлается священникомъ. Въ противномъ случаѣ, незачѣмъ подвергать себя опасности мщенія разгнѣванныхъ боговъ. Мы всѣ люди, для насъ не грѣхъ жениться, однимъ только священникамъ это запрещено. Хотя нужно удивляться, почему для нихъ грѣшно имѣть добродѣтельную жену, а „..... showare kucharkam“ не грѣхъ. Довольно объ этомъ. Подобная загадка не по нашему разуму. Скорѣе нужно разрѣшить, на какомъ родѣ жизни лучше остановиться: на придворной ли службѣ, или на цоприщѣ землевладѣльца. Достаточно присмотрѣться къ тому, что дворяне дѣлаютъ, а не къ тому, что говорятъ. Они, правда, хвалятъ свою жизнь, но, довольствываясь королевской милости, въ концѣ концовъ возвращаются къ плугу. Ничего нѣтъ лучше собственнаго угла: „ни передъ кѣмъ я не сгибаю колѣнъ, я свободенъ, никому не служу, тѣшусь своей вольностью и покоемъ. Нѣтъ у меня большого богатства, но я и не стремлюсь къ нему. Довольный судьбою, я обрабатываю своими волами собственную землю, которая поддерживаетъ и кормитъ меня. Мои дѣти вмѣстѣ съ добродѣтельной женою, которая готова переносить со мною вмѣстѣ все, что только принесетъ намъ счастье, прислуживаютъ мнѣ у стола. Вдали отъ меня зависть, сплю я безмятежнымъ сномъ и живу для себя. Мнѣ вается, что скорѣе такъ жили люди въ золотомъ вѣкѣ, чѣмъ наслаждаясь молочными рѣками и медоносными деревьями“. Пусть эти нѣсколько словъ послужатъ въ

похвалу сельской жизни, а если кто-нибудь станет отговаривать от нея молодого человѣка, тотъ совершенно не желаетъ ему счастья.

Все это стихотвореніе представляетъ мѣткую сатиру на духовенство и придворныхъ. Поэтъ въ рѣчи монаха подчеркиваетъ въ особенности праздность этого сословія и банальныя, стереотипныя нравоученія, съ которыми они обращаются къ каждому. Въ сценахъ онъ порицаетъ ихъ излишнюю свѣтскость, лицемеріе и распутную жизнь. Проникнутыя горечью слова о прелестяхъ придворной похлебки доказываютъ, что жизнь при дворѣ начинала уже тогда сильно тяготить Кохановскаго. Еще меньше привлекалъ его священническій санъ, который, вопреки всякимъ нравственнымъ законамъ не позволялъ „*spotliwam ducere zonam*“. Необходимо отмѣтить здѣсь легкую иронию надъ чудесами, когда поэтъ словами монаха описываетъ явленіе св. Бернарда и говоритъ о невозможности такихъ фатовъ въ нашъ нечестивый вѣкъ. Разобранное стихотвореніе названъ макароническимъ въ подражаніе изобрѣтателю этой литературной формы, распространенной во всей Европѣ того времени¹⁾, итальянцу Теофило Фоленго. „*Ars ista poetica nuncupatur ars macaronica a macaronibus derivata, qui macarones sunt quoddam pulmentum farina caseo, butyro compaginatam, grossum, rude et rusticatum*“. Она состоитъ въ смѣшеніи латинскихъ словъ съ латинизированными иродными.

Всѣ симпатіи нашего поэта уже склоняются къ сельской жизни, которую онъ рисуетъ самыми привлекательными чертами. Въ этомъ стихотвореніи ясно выражается та житейская философія умѣренности, которая видитъ счастье въ спокойной и беззаботной жизни, отсутствіи тяжелыхъ обязанностей и въ полной свободѣ.

¹⁾ Примѣромъ макароническаго стиха могутъ служить нѣкоторые стихи изъ „Энеиды“ Котляревскаго.

III.

Прямота и нелицеприятіе Кохановскаго. Стихотвореніе „O powych fraszkach“. Неприязнь къ Кохановскому со стороны придворныхъ. Мелкіе уколы его самолюбія и обиды. Оставленіе поэтомъ королевской канцеляріи вмѣстѣ съ Мышковскимъ. Гипотезы Бронислава Хлѣбовскаго и Станислава Тарновскаго о причинѣ этого событія. 15 элегія III книги и 13 той же книги, какъ программа сельской жизни Кохановскаго.

Не лицамъ служилъ Кохановскій, когда онъ писалъ свой „Satyr“, „Zgode“ и другія политическія произведенія, въ которыхъ онъ смѣло высказывалъ свои убѣжденія, и глубоко скорбѣлъ о внутреннихъ неурядицахъ Рѣчи Посполитой. Мы уже видѣли, какія мѣры предлагалъ онъ для ихъ устраненія, открыто бичуя свободнымъ и искреннимъ словомъ различные недостатки своихъ современниковъ. Въ этомъ отношеніи нашего поэта не стѣсняла ни знатность происхождения тѣхъ, противъ кого онъ вооружался, ни ихъ общественное положеніе, ни богатство. Даже королю высказывалъ Кохановскій горькія истины:

Pocznisz rząd sam od siebie, a uskrom chciwości,
Niechaj będą posłuszne rozumnej zwierzchności. . .

W przyjacielu się kochaj i każdą przestrogę
Wdzięcznie od niego przyjmuj: bo śmieie rzecz mogę,
Królowie inszych rzeczy wszzech obfitość mają,
Samej prawdy tam do nich namniej przynaszają.
Przeto niechaj nie lubi ucho tve cnotliwe
Pochlebstwa, które, jako zwierciadło fałszywe,
Rozną twarz twych postępków tobie ukazuje... ¹⁾

Прекрасно сознавая призрачность королевской власти при господствовавшей тогда анархіи, Кохановскій пишетъ смѣлую и въ высшей степени остроумную эпиграмму „O powych fraszkach“, подъ которыми онъ подразумѣваетъ королевскія привилегіи:

Nie teraz po mych fraszkach, bo insze nastały,
Krórych poczet na każdy dzień widzę niemały.
Więc je na pergaminie nadobnie pisano,

¹⁾ См. W. P. t. II str. 56—57.

A niektóre i złotym prochem posypano.
 U każdej orzeł i pstra czysta sznura długa,
 Spytaj że Aristarcha: fraszka jako druga ¹⁾.

Такия смѣлыя слова въ устахъ бѣднаго, неродовитаго шляхтича весьма естественно не могли нравиться блестящимъ царедворцамъ, въ средѣ которыхъ вращался поэтъ въ качествѣ королевскаго секретаря. Ни почетная должность, ни покровительство Мышковскаго не могли спасти Кохановскаго отъ мелкихъ, но тѣмъ не менѣе весьма чувствительныхъ укуловъ самолюбія, которымъ подвергали его на каждомъ шагу задѣтые имъ за живое знатные магнаты. Нерѣдко случилось поэту обивать пороги какого-то Павла, тщетно пытаясь застать его дома ²⁾. Нерѣдко приглашали Кохановскаго на ужинъ и совершенно забывали объ этомъ, отпуская его домой не солоно хлѣбавши ³⁾.

Бѣднаго королевскаго секретаря не разъ обходили приглашеніями на что онъ горько жалуется въ своей эпиграммѣ „Ad lectorem“ ⁴⁾

Si quid in hoc, lector, dependes forte libello,
 Naturam tituli non redolere sui,
 Non haec culpa mea est, qui nullo segnior adsum,
 Ad coenam si quis me sibi forte vocet.
 Sed magis accusandi ii sunt, qui saepe vocari
 Quaerentem medio praeteriere foro.
 Nam coenare domi et foricoenia scribere tantum est,
 Ac si ad aquae cyathos ebria verba sones.

Не лучше бывало поэту, когда случалось ему попадать на пышную трапезу какого-нибудь важнаго магната. Здѣсь относились къ бѣдному Яну съ пренебрежительнымъ невниманіемъ, какъ видно изъ слѣдующихъ строкъ:

Ad coenam invitas me, Firleu, deinde *sopori*
Te das; haec dubia est coena procul dubio.

Все это мелочи, на которыя, какъ-будто, и вниманія обращать не стоитъ. Но если онѣ повторялись на каждомъ шагу, если онѣ демонстративно подчеркивали разницу въ общественномъ положеніи бѣднаго шляхтича—поэта и знатныхъ вельможъ, то этого было

¹⁾ См. W. P. t. II. str. 390

²⁾ См. W. P. t. II. str. 421, fr. 42

³⁾ См. W. P. t. III, str. 216 и t. II, str. 349, fr. 51

⁴⁾ См. W. P. t. III, str. 223.

вполнѣ достаточно, чтобы глубоко оскорбить и не такую чуткую натуру, какая была у Кохановскаго. И дѣйствительно, тяжело жилось нашему поэту въ этой холодной обстановкѣ напыщенности и чванства, среди вельможъ, гордыхъ своимъ богатствомъ и знатностью, и убогихъ по уму и нравственнымъ качествамъ, себялюбивыхъ, преданныхъ личнымъ интересамъ, а не служенію родинѣ, за судьбы которой болѣла душа Кохановскаго. Называя свои придворныя эпиграммы холодными, съ горькимъ чувствомъ говоритъ поэтъ Яну Фирлеу:

Nos ego versiculos feci, sed sub Iove, Firleu,
Si frigent, non plus ipse poeta calet. ¹⁾

Можетъ быть и болѣе крупныя огорченія приходилось переживать Кохановскому при королевскомъ дворѣ. Въ нѣкоторыхъ его произведеніяхъ можно видѣть ясныя намеки на это.

Вотъ, на примѣръ, въ 20 фразкѣ III книги „Do Jana“ ²⁾ (къ самому себѣ) поэтъ утѣшаетъ себя той мыслью, что злымъ людямъ будетъ отомщена его обида, которую онъ потерпѣлъ за свое расположеніе къ нимъ, какъ-будто бы не зналъ людей и думалъ, что отъ терновника можно ожидать иныхъ плодовъ, кромѣ колючихъ терній. Обиду эту поэтъ хочетъ скрыть отъ свѣта. Хорошо бы было совершенно забыть ее, чтобы она не удручала сердца тяжелой скорбью. Нужно быть мужественнымъ и не обращать вниманія на соболѣзнованія и крокодиловыя слезы обидчиковъ.

Это стихотвореніе написано очевидно послѣ того, какъ поэтъ нѣсколько охладѣлъ уже къ своему горю, но оно всетаки дышетъ болью и показываетъ, что какая-то обида дѣйствительно была кѣмъ то нанесена Кохановскому.

Очень можетъ быть, что поэта огорчила чья-либо неблагодарность или зависть, какъ можно судить на основаніи тридцать второй фразки первой книги „O zazdrości“ ³⁾. Ни друзья, ни золото, ни добродѣтель не спасутъ чловека отъ несчастья:

Przekłęta zazdrość dziwnie się frasuje,,
Kiedy u kogoś nad ludźmi czuje.

Если ей не удастся укусить, она лаетъ. Ее легко можно перехитрить, ничего не относя къ себѣ и твердо выдерживая всѣ ея на-

¹⁾ См. W. P. t. III, str. 243.

²⁾ См. W. P. t. II, str. 411.

³⁾ См. W. P. t. II, str. 344.

падки. Последняя мысль связывает эту фразу съ предыдущей „Do Japa“.

Въ 1569 году Мышковскій покидаетъ Краковъ, будучи назначенъ епископомъ на Плоцкую кафедру. Такимъ образомъ Кохановскій остался безъ могущественнаго покровителя одинъ среди чуждыхъ ему по духу людей, всецѣло предоставленный ихъ насмѣшкамъ и оскорбленіямъ. Естественнымъ выходомъ изъ такого положенія было оставленіе нашимъ поэтомъ королевской канцеляріи, что онъ и замедлил сдѣлать, распрощавшись съ придворной службой и отправившись къ себѣ въ Чернолѣсъ.

Здѣсь мы позволимъ себѣ сдѣлать маленькое отступленіе по поводу мнѣнія Бронислава Хлѣбовскаго¹⁾ и его послѣдователя въ данномъ вопросѣ Станислава Тарновскаго²⁾, которые считаютъ одной изъ главнѣйшихъ причинъ оставленія Кохановскимъ двора неудачную любовь нашего поэта къ какой-то дѣвушкѣ (Хлѣбовскій прямо называетъ Ганну Тарновскую). По нашему мнѣнію, съ этимъ едва можно согласиться, во-первыхъ, потому что Кохановскій, будучи истиннымъ патриотомъ и имѣя возможность вслѣдствіе близости къ королю оказывать непосредственное вліяніе на политическія судьбы своей родины, никогда не пожертвовалъ бы общественнымъ благомъ ради личнаго чувства. Во-вторыхъ, эротическія стихотворенія, которыя *литературно* могутъ быть отнесены къ занимающему насъ періоду жизни Кохановскаго (9 фр. III кн., 11, III, 13. III, 3 ал. III кн., 30 фр. III кн.) вовсе не отличаются большей силой и индивидуальностью, чѣмъ разобранныя нами произведенія, посвященныя Лидіи. Слѣдовательно, свою новую избранницу поэтъ любилъ (если только это было въ действительности) ничуть не сильнѣе, чѣмъ Лидію, къ которой онъ питалъ своей *первой* юношеской страстью. Если тогда въ Падубѣ, потерпѣвши въ своемъ чувствѣ неудачу, поэтъ не бросилъ своихъ научныхъ занятій, чтобы забыться отъ своего горя въ сельской глуши, то тѣмъ менѣе основаній поступить такимъ образомъ имѣлъ онъ теперь, обладая вполне сложившимся характеромъ и принимая непосредственное участіе въ государственныхъ дѣлахъ своей родины.

По вопросу о причинѣ оставленія Кохановскимъ двора мы можемъ высказать слѣдующее предположеніе: лишившись своего непо-

¹⁾ См. Bronislaw Chlebowski. Jan Kochanowski w świetle własnych utworów, str. 94.

²⁾ Op. cit. p. 289.

Средственнаго покровителя Мышковскаго, изъ устъ котораго онъ получалъ инструкціи для составленія политическихъ памфлетовъ въ родѣ „Сатира“, нашъ поэтъ очутился не у дѣль, такъ-какъ не могъ рассчитывать на поддержку со стороны своихъ богатыхъ и знатныхъ сослуживцевъ, отношеніе которыхъ къ Яну ясно видно изъ выше-приведенныхъ стихотвореній. Въ виду этого онъ никогда не могъ рассчитывать на успѣхъ, если бы, оставаясь при дворѣ, онъ вздумалъ высказывать въ стихотвореніяхъ свои собственные политическіе идеалы, не утвержденные санеціей болѣе сильнаго авторитета, чѣмъ званіе королевскаго секретаря и слава поэта при незнатности происхожденія и имущественной бѣдности. Такимъ образомъ намъ кажется что Кохановскій оставилъ дворъ, чувствуя себя здѣсь совершенно лишнимъ человѣкомъ.

Вскорѣ послѣ оставленія королевской канцеляріи поэтъ уже въ Чернолѣсѣ пишетъ 15 элегію III кн. ¹⁾, гдѣ слѣдующими чертами рисуетъ прелести придворной службы:

Patria rura colo, nunc fallax aula manebis.

*Hic ego nec nutum alterius, nec limina servo
Infrigens duris molle latus foribus.*

*Nec votis exopto famen incoenatus herilem,
Nec cuiquam in turba pugno aperire viam.*

Далѣе слѣдуетъ красивое описаніе радостей свободной деревенской жизни, посвященной наукамъ, земледѣлію и скотоводству. Поэтъ разсматриваетъ всѣ отрасли сельскаго хозяйства и въ заключеніе совѣтуетъ продавать плоды своихъ трудовъ, строя корабли и сплавляя на нихъ пшеницу и другіе хлѣба внизъ по теченію Вислы для продажи. Здѣсь особенно любопытны слѣдующія строки:

*Materiam silvis fabricandae convehe navi
Irato Satyrus frendeat ore licet.*

Очевидно подъ вліяніемъ чисто практическихъ соображеній Кохановскій въ данномъ случаѣ отказался отъ высказаннаго имъ раньше въ „Сатирѣ“ отрицательнаго отношенія къ вырубкѣ лѣсовъ.

Слѣдовательно, нашъ поэтъ не былъ узкимъ доктринеромъ, а всегда считался съ требованіями живой дѣйствительности

¹⁾ См. W. P. t. III, str 136.

Нѣсколько раньше этой элегии, еще до приѣзда въ Чернолѣсъ Кохановскій пишетъ тринадцатую элегію третьей книги³⁾, гдѣ онъ начертываетъ программу своей будущей деревенской жизни. Мышковскій совѣтывалъ ему оставить латинскія стихотворенія и заняться преимущественно польскими. Объ этомъ повѣствуетъ начало вышеупомянутой элегии, гдѣ поэтъ говоритъ музамъ о своемъ намѣреніи поигнать красивыя берега Аніена, перенестись къ Карпатскимъ вершинамъ и роднымъ стихомъ, если онъ только въ силахъ, украсить Сарматіи.

Nec primus rupes illas peto: Reius eandem
 Institit ante viam, nec renuente Deo.
 Et meruit laudem, seu parvum fleret Ioseph
 Leto fraterna pene datum invidia.
 Sive Palingenii exemplum Musamque secutus,
 Quid deceat caneret, dedecetque viros.
 Concinit acceptos superis Tricesius hymnos,
 Linguarum praestans cognitione trium
 Et quae dè mundi perscripsit origine Moses,
 Ignota esse suae non patitur patriae.
 Laude sua neque Gornicium fraudavero; namque hic
 Orphaea fingit carmina digna lyra,
 Germanosque canit magno certamine victos,
 Commitens lyricis Martia bella modis.

По ихъ слѣдамъ и онъ хочетъ стать народнымъ поэтомъ, къ чему его побуждаетъ „patriae dulcis amor“. Далѣе онъ проситъ Мышковскаго, чтобы послѣдній позволилъ ему провести остатокъ дней своихъ съ музами и Сократомъ. У поэта явилась потребность изслѣдовать причины всего, что происходитъ въ природѣ и, наконецъ, что дѣлаютъ и гдѣ находятся души послѣ ихъ разлуки съ тѣломъ. Къ разрѣшенію этихъ вопросовъ склоняютъ его примѣры гуманистовъ, древнихъ и новыхъ философовъ и поэтовъ, по стопамъ которыхъ и Кохановскій хочетъ попытаться ближе подойти къ невѣдомой истинѣ. Ниже мы увидимъ, привелъ ли онъ въ исполненіе свои намѣренія, думая воспользоваться для этого свободнымъ, независимымъ положеніемъ небогатаго землевладѣльца и спокойнымъ идиллическимъ уединеніемъ въ глуши родимаго Чернолѣса.

³⁾ См. W. P. t. III, str. 130.

ЯНЪ КОХАНОВСКІЙ

И ЕГО ЗНАЧЕНІЕ ВЪ ИСТОРИИ ПОЛЬСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ XVI ВѢКА.

ГЛАВА V.

Сельская жизнь Кохановскаго до его брака.

I.

Состояніе духа Кохановскаго въ теченіе перваго времени его деревенской жизни. Остатки прежняго горькаго чувства и ихъ выраженіе. 17 пѣснь второй книги. Одиннадцатая той же книги. Третья, девятнадцатая, девятая той же книги. Желаніе заглушить свое горе въ веселой компаніи. Девятая пѣснь первой книги. Двадцать четвертая той же книги. Возвращеніе къ спокойствію духа. Вторая пѣснь первой книги и шестнадцатая той же книги. Третья элегія четвертой книги. V ода. Пѣснь „Patrzaj jako śnieg“. XI ода. Стихотвореніе къ Музѣ и 24 пѣснь II книги.

Почувствовавъ себя лишнимъ и принужденный оставить дѣятельность, которой онъ думалъ сначала посвятить всѣ свои силы, Кохановскій несомнѣнно перенесъ душевное потрясеніе, которое не могло безслѣдно пройти для его нѣжной и чуткой натуры. Долгое время испытывалъ онъ горькое состояніе обиженнаго человѣка; сознаніе несправедливости и обманутыхъ надеждъ угнетало его. Даже спокойная уединенная жизнь въ тиши родимаго Чернолѣса, подъ сѣнью развѣсистой липы, вдали отъ бурь и тревоженій суетнаго свѣта, не приносила ему сразу желаемаго облегченія.

Семнадцатая пѣснь второй книги¹⁾ выражаетъ горячее негодованіе на шумный свѣтъ. Ни одинъ разумный человѣкъ не долженъ

¹⁾ См. W. P. t I, str. 323.

ставить свою судьбу въ зависимость отъ него, такъ какъ въ немъ не на что разсчитывать навѣрняка. Жизнь измѣнчива, какъ море, и только обладающій компасомъ спасается отъ гибели во время бури. „Добродѣтель мой компасъ“, восклицаетъ поэтъ: „она указываетъ мнѣ умѣренность, какъ единственное условіе безмятежнаго счастья.“

Въ одиннадцатой пѣсни II книги ¹⁾, написанной въ подражаніе третьей одѣ II кн. Горация, поэтъ совѣтуетъ сохранять твердость въ несчастіи, утѣшаться тѣмъ, что даетъ настоящее, и не заботиться о будущемъ. Даже въ веселыя мгновенія не нужно забывать, что человекъ—вѣчный скиталецъ на землѣ и долженъ готовиться къ смерти. Здѣсь мысль о смерти соединяется съ призывомъ къ наслажденію, что производитъ въ высшей степени сильное впечатлѣніе и показываетъ, что сердце поэта переболѣло, ему хочется заглушить отзвуки пережитой боли, но они въ минуты искусственнаго веселья еще громче заявляютъ о себѣ и, какъ огненная надпись на пиру Вальтара, служатъ грознымъ предзнаменованіемъ бренности земныхъ утѣхъ и радостей.

Въ третьей пѣсни второй книги ²⁾ поэтъ также совѣтуетъ не вѣрить судьбѣ, такъ какъ несчастье царитъ надъ всѣмъ. Одна только добродѣтель представляетъ вѣчное сокровище, котораго ничто не можетъ отнять у человека. Какъ бы продолженіемъ и развитіемъ этой мысли служить девятнадцатая пѣснь второй книги ³⁾, которая совѣтуетъ къ концу жизни позаботиться о доброй славѣ, объ оставленіи послѣ себя добраго имени и придерживаться достойнаго заобра мыслей:

Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie,
не жить, какъ безсловесныя твари, отъ которыхъ Богъ отличалъ людей разумомъ, а всюду распространять добрыя нравы, водворять порядокъ, уничтожать раздоры, охранять законы и, кто чувствуетъ себя въ силахъ, сражаться съ врагами. Мысль о высокомъ назначеніи человека мы встрѣчали почти въ тѣхъ-же самыхъ словахъ въ поученіи Хирона въ „Сатирѣ“. Съ этой прекрасной пѣсни поэтъ начинаетъ уже постепенно успокаиваться; энергія и жажда жизни

¹⁾ См. W. P. t. I, str. 317.

²⁾ См. W. P. t. I, str. 307.

³⁾ См. W. P. t. I, str 326

возвращаются къ нему; взгляды на жизнь становятся шире. Еще болѣе яснымъ выраженіемъ перемѣны въ состояніи духа нашего поэта служить девятая пѣснь второй книги¹⁾). Поэтъ предлагаетъ въ ней всѣмъ, кто только упалъ духомъ, не терять надежды, такъ какъ солнце заходитъ не въ послѣдній разъ и на смѣну холодной зимѣ придетъ благодатная весна²⁾). Можетъ быть, къ добру челоуѣку приходится испытывать горе, такъ какъ въ счастья его одолеваетъ гордость. (Здѣсь невольно бросается въ глаза сходство съ мыслью изъ Премудрости Соломона: „егоже аще любитъ Господь,—наказуетъ.“) Затѣмъ Кохановскій приводитъ положеніе древнихъ философовъ объ одинаковомъ отношеніи ко всѣмъ превратностямъ судьбы и заканчиваетъ свою пѣснь чисто христіанскимъ упованіемъ на милость Божію:

SiŃa Bóg moŃe wyrócić w godzinie,
A kto mu kolwiek ufa, nie zaginie,

Послѣдняя строка очень похожа на окончаніе знаменитой хвалебной пѣсни св. Амвросія, епископа Медиоланскаго: „на Тя, Господи, уповахомъ, да не постыдимся во вѣки.“

Въ стихотвореніи этомъ виденъ челоуѣкъ, уже совершенно успокоившійся послѣ пережитыхъ душевныхъ тревогъ и печалей, успѣвшій отдохнуть отъ волненій и примириться со своею судьбой.

Глядя на эти стихотворенія, можно подумать, что процессъ возстановленія равновѣсія въ душѣ поэта и примиренія его съ жизнью произошелъ постепенно, путемъ послѣдовательныхъ размышленій, безъ особенной борьбы и уклоненій въ обратную сторону. Но противъ этого говоритъ другая группа стихотвореній, въ которыхъ подъ шумнымъ весельемъ скрывается такая горечь, какъ будто несчастный поэтъ, въ порывѣ безнадежнаго отчаянія, очертя голову, бросался въ пучину бурныхъ утѣхъ и наслажденій, съ однимъ только желаніемъ, хотъ какъ-нибудь забыться отъ гнетущаго горя, отъ котораго надрывалось его бѣдное сердце. Такова, на примѣръ, девятая пѣснь первой книги³⁾), повидимому, вся проникнутая жаждой разгула

¹⁾ См. W. P. t. I, str. 315.

²⁾ Эта мысль близко напоминаетъ одну изъ стихиръ Іоанна Дамаскина, приведенную въ Трїоди Цвѣтной. Она звучитъ слѣдующимъ образомъ: „страстей напасть и помысленій буря тако да отженется, и да процвѣтетъ весна вѣры“.

³⁾ См. W. P. t. I, str. 278.

и пьянства. Между тѣмъ, сомнѣнiе во всемъ и отвращенiе къ жизни сквозятъ въ каждомъ ея словѣ: „кто знаетъ, что намъ готовить завтрашнiй день? Самъ Богъ смѣется при видѣ челоуѣка, погруженнаго въ заботы больше, чѣмъ слѣдуетъ. Напрасны стремленiя тѣхъ, которые хотятъ до всего дойти своимъ разумомъ, напрасны усилiя смертныхъ разрѣшить вѣчные вопросы“. Эти слова дышатъ горькимъ скептицизмомъ, который былъ бы въ пору даже Гамлету или Фаусту. Здѣсь нѣтъ мѣста для обращенiя къ Богу, Который смѣется надъ челоуѣческой слабостью и несовершенствомъ. Гдѣ тутъ

Krzyszem radać i świętych przerajdować dağu,

съ горькой иронiей восклицаетъ поэтъ. Одна только стоическая философія, равнодушная къ переменамъ судьбы, можетъ прийти на помощь къ извѣрившемуся во всемъ челоуѣку. Она успокоитъ совѣтомъ окружить себя непреступной стѣною своей добродѣтели, ограничиться скромнымъ достаткомъ, не стремиться къ большому и наслаждаться вѣрнымъ счастьемъ, если-бы даже оно и не было вѣчнымъ.

Вторая, восьмая и десятая строфа этой пѣсни представляютъ почти дословный переводъ 29—32, 53—56, 57—64 стиховъ двадцать девятой оды третьей книги Горация.

Почти такимъ же скептицизмомъ проникнута двадцать четвертая пѣснь первой книги ¹⁾. „Ustap melankolia“, такъ какъ не стоитъ грустить, ни въ чему это не ведетъ. „Для Бога каждый челоуѣкъ—глупецъ“. Челоуѣкъ—игрушка въ Божьихъ рукахъ, всѣ мысли наши и стремленiя—*ta jawne błędy*“. Лучше пусть принесутъ намъ вина, отъ котораго рождаются хорошія мысли,

A frasunek podłany

Taje, by śnieg zagrzany.

Всякое самое глубокое горе и отчаянiе должны имѣть свой конецъ. Исцѣляющая рука времени сглаживаетъ, воспоминанiя о нѣкогда пережитыхъ мукахъ и душевныхъ потрясенiяхъ. И эти бурныя проявленiя отчаянiя, о которыхъ мы только что говорили, постепенно уступали мѣсто болѣе спокойнымъ размышленiямъ, расхоловшiяся страсти улеглись и въ мятежной душѣ поэта воцарился тотъ желанный покой, ради котораго онъ удалился въ сельское уединенiе своей

¹⁾ См. W. P. t. I, str. 298.

Чернолѣсской усадьбы. Первое дыханіе весны оживило окрестныя поля, разбудило дремучіе лѣса и покрыло нивы зеленой озимью. И въ душѣ поэта отразилось пробужденіе природы.

Во второй пѣсни первой книги ¹⁾ съ радостью смотритъ онъ на свѣжую зелень окрестныхъ полей и лѣсовъ, на дунѣ у него ясно, сердце свободно отъ бывшей тоски, и такъ ему становится хорошо что веселая шутка срывается съ его устъ. Онъ проситъ благодушіе, (*dobrą myśl*), которое служить основой его счастья и не пренебрегаетъ его скромной бесѣдкой, чтобы оно всегда было при немъ, трезвъ ли онъ или пьянъ.

Такой-же искренней веселостью отличается двадцатая пѣснь первой книги ²⁾, которая смѣется надъ церемонностью и приглашаетъ слугу сѣсть около своего господина. „Будь сегодня весель“, говорить поэтъ: „потому что о завтрашнемъ днѣ не стоитъ думать, такъ какъ судьба его уже давно предрѣшена Богомъ на небесахъ, и въ Его совѣту не допускать смертнаго“. Тамъ разсуждаетъ поэтъ, сидя за столомъ въ кругу веселыхъ товарищей, которые, слушая его, забираютъ поднимать ему вина. Онъ шутливо сердится на нихъ за это и спрашиваетъ:

Znał kto kiedy poetę trzeźwego?

Nie uczyni taki nic dobrego.

Изъ послѣднихъ словъ, однако, не слѣдуетъ дѣлать заключенія, что Кохановскій въ веселой компаніи забывалъ мѣру и напивался до излишества. Противъ этого свидѣтельствуемъ самый складъ его характера, деликатный, умѣренный. Во многихъ своихъ произведеніяхъ онъ вооружается противъ пьянства, какъ, на примѣръ, въ восемнадцатой пѣсни первой книги ³⁾, которая написана въ это время, насколько можно судить по изображеннымъ тамъ картинамъ сельской жизни.

Серіознымъ выраженіемъ спокойствія и душевнаго равновѣсія, достигнутаго, наконецъ, поэтось, служитъ шестнадцатая пѣснь первой книги ⁴⁾, представляющая вольный переводъ Горация, мысли

¹⁾ См. W. P. t. I, str. 27.

²⁾ См. W. P. t. I, str. 293.

³⁾ См. W. P. t. I, str. 289.

⁴⁾ См. W. P. t. I, str 286.

котораго, вѣроятно, совпали со взглядами Кохановскаго въ этотъ періодъ его жизни и онъ воспользовался ими, нѣсколько приспособивши ихъ къ своему положенію. Жажда спокойствія и уединенія, которая много разъ томила нашего поэта во время его придворной службы, осуществилась и перешла въ убѣжденіе, въ руководящій жизненный принципъ, правда, заимствованный у другихъ, но въ достаточной степени передѣланный и приспособленный къ его потребностямъ. Въ тринадцатой элегіи третьей книги, обращаясь къ Мышковскому, поэтъ начертилъ ему планъ своей сельской жизни, въ который, между прочимъ, входили размышленія о началѣ мірозданія, о его законахъ, о вѣчной загадкѣ человѣческаго рожденія и смерти. Въ сельскомъ уединеніи своего Чернолѣса, съ однимъ изъ Фирлеевъ вель поэтъ бесѣды объ этихъ вопросахъ. Содержаніе ихъ изложено имъ въ третьей элегіи четвертой книги ¹⁾. Поэтъ выражаетъ въ ней свои установившіяся философскія убѣжденія, въ которыхъ мысли мудрецовъ древняго міра согласуются съ христіанскими идеями. На всѣ вопросы у поэта имѣется готовый отвѣтъ. Элегія эта представляетъ подробнѣйшее выраженіе философскихъ идей Кохановскаго.

Простымъ спокойнымъ тономъ говорить онъ сначала о чудесныхъ явленіяхъ природы на землѣ и на небѣ. Затѣмъ переходитъ къ чудесамъ въ физической и нравственной природѣ человѣка, въ безконечномъ разнообразіи ея характеровъ и стремленій; далѣе онъ говоритъ о различіи человѣка отъ животныхъ, о превосходствѣ его надъ ними. Все это приводитъ Кохановскаго къ вопросу: для человѣка ли сотворенъ міръ и если не для него, то для кого или для чего? Антропоцентрическая точка зрѣнія противорѣчитъ разуму: животныя имѣютъ одинаковое съ человѣкомъ происхожденіе и потребности и если онъ превосходитъ ихъ по своимъ умственнымъ дарованіямъ, то опять таки неизмѣримо выше, чѣмъ онъ, стоятъ въ этомъ отношеніи небесные духи. Если Богъ создалъ вселенную для человѣка, то почему существуютъ въ ней дикіе звѣри, вредные для людей? Для чего зной, стужа, ливни, бесплодная почва и тому подобныя явленія, затрудняющія человѣческое существованіе? Для чего голодъ, моровыя повѣтрія и, наконецъ, смерть, не щадящая даже новорожденныхъ младенцевъ? Въ отвѣтъ на эти вопросы Коханов-

¹⁾ См. W. P. t. III, str. 171.

свій сходится съ мыслями, выраженными Цицерономъ въ „Тускуланскихъ бесѣдахъ“. Поэтъ считаетъ слишкомъ себялюбивымъ того, кто думаетъ, что міръ созданъ для человѣка. Ближе къ истинѣ стоитъ тотъ, кто полагаетъ, что самодовлѣющій Промыслитель и Создатель міра въ данномъ случаѣ смотрѣлъ на Себя и хотѣлъ осуществить Свою цѣль. Всю эту неизмѣримую громаду сотворилъ Онъ такъ, чтобы созданіе было достойно Творца, отличалось такой же безконечной красотой, силой и мудростью, какими обладаетъ Онъ Самъ. Думая, что вся вселенная принадлежитъ намъ, мы поступаемъ какъ богачъ, который украсилъ свой домъ всевозможною роскошью и тѣшитса своимъ достояніемъ, а смерть готова указать ему, что онъ не будетъ вѣчно владѣть этими благами, что наслѣдникъ уже смѣется надъ нимъ. Раздутое болѣзненное себялюбіе заставляетъ людей думать, что міръ существуетъ для нихъ. Для Себя создалъ Богъ этотъ необозримый храмъ, а мы, люди, только благороднѣйшіе изъ рабовъ нашего Господа. По Его повелѣнію высшіе духи правятъ высшими сферами, люди господствуютъ на землѣ и, какъ руда, каждый изъ нихъ созданъ для своего предназначенія, для особой цѣли. Кто надлежащимъ образомъ исполняетъ свое призваніе, украшаетъ свою родину, какъ можетъ, и повинуется богамъ, тотъ въ правѣ надѣяться, по совлеченіи земного тѣла, быть вознесеннымъ выше. Кто пренебрежетъ полученными дарованіями, ничѣмъ не послужитъ своей родинѣ и будетъ жить какъ трутень между пчелами, тотъ послѣ смерти, какъ свидѣтельствуешь Пизагоръ, поселится между свиньями и жабами, или будетъ подвергаться бичеваніямъ Эринній. Хотя есть мудрецы, отрицающіе безсмертіе души, однако больше тѣхъ, которые признаютъ его. Несмотря на Божью справедливость, въ этомъ мірѣ хорошіе люди страдаютъ, а дурнымъ все удается. Значитъ, или Богъ несправедливъ, чего не можетъ быть, или душа должна быть безсмертной.

Эти аргументы и даже общее теченіе мысли взято у древнихъ мудрецовъ, но идеи ихъ приближены къ христіанству. По тону и стилю эта элегія очень напоминаетъ Лукрецію. Она отличается очень красивымъ изложеніемъ и возвышеннымъ характеромъ.

Къ тому же періоду жизни нашего поэта относится, вѣроятно, V ода къ Фирлею¹⁾, одно изъ лучшихъ произведеній нашего поэта,

¹⁾ См. W. P. III. 266.

написанных на латинскомъ языкѣ. Кохановскій начинаетъ свое стихотвореніе описаніемъ лѣтняго зноя:

Agros et silvas dira premit sitis,
Auratumque silent' fiabra fugacium;
Solis densa cicadis
Arbusta undique personant.

Для спасенія отъ палящихъ лучей лѣтняго солнца поэтъ приглашаетъ Фирлея отдохнуть въ густой тѣни развѣсистаго явора, усѣвшись на землѣ, среди алыхъ розъ и бѣлыхъ лилій, съ кубками стараго вина, наливаемого изъ покрытыхъ мхомъ сосудовъ. Послѣ благородныхъ даровъ Вакха заботы о государственныхъ обязанностяхъ уступая мѣсто желанію танцевъ, пѣсенъ и любви. Такъ совѣтуетъ Кохановскій своему гостю провести день наванунѣ приготовленій къ войнѣ¹⁾. При всѣхъ своихъ литературныхъ достоинствахъ эта ода носитъ явные слѣды реминисценцій изъ Горация, у котораго часто встрѣчается покрытый мхомъ кувшинъ стараго вина. Самое имя Хлои взято у него же. Въ это же время, по всей вѣроятности, написано было Кохановскимъ стихотвореніе „Partzaj jako śnieg“²⁾.

Начинается оно прекрасной зимней картиной:

Patrzaj, jako śnieg po górach się bieli,
Wiatry z północy wstają,
Jeziora się ścinają,
Zórawie czując zimę precz lecieli.

Поэтъ приказываетъ принести дровъ для камина и на столъ поставить вино, говоря, что не слѣдуетъ заботиться о будущемъ. Лучше молчать настоящимъ:

Nam, gdy raz młodość minie,
Już na wiek wiekom ginie,
A zawsze gorsze lata przypadają.

Все стихотвореніе состоитъ изъ пяти строфъ, по четыре строки въ каждой, при чемъ первый и четвертый стихъ состоятъ изъ одинад-

¹⁾ Въ польской литературѣ существуетъ прекрасный переводъ этой оды, принадлежащій перу Сырокомли (Кондратовича).

²⁾ См. W. P. I. 284.

цати слоговъ, съ цезурой послѣ пятаго, а второй и третій изъ семи безъ всякой цезуры.

Тогда же написана ода „Къ коню“ ¹⁾, въ которой поэтъ повѣствуетъ, какъ благородный конь свалилъ своего господина и чуть-чуть не отправилъ его на берега Стикса, гдѣ онъ могъ бы встрѣтиться съ Ипполитомъ, Фаэтономъ и другими потерпѣвшими отъ лошадей. Надъ этой случайностью поэтъ уже смѣется и угрожаетъ коню отдать его въ упряжку для тяжелыхъ и безславныхъ работъ.

Къ тому же времени нужно отнести стихотвореніе „Къ музѣ“ ²⁾, въ которомъ поэтъ говоритъ, что пѣснь его звучитъ вмѣстѣ съ стрекотаніемъ полевыхъ кузнечиковъ, другихъ слушателей у него нѣтъ. Вѣроятно, поэту пришлось испытать какую-нибудь неприятность, такъ какъ онъ даетъ музамъ обѣтъ въ вѣрности и выражаетъ надежду, что потомство лучше оцѣнитъ его, чѣмъ современники. Это мѣсто отличается силою, смѣлостью и правдой, безъ всякихъ преувеличеній: естественно было и психологически вѣрно узнать себя цѣну въ уединеніи.

Сюда же относится 24 пѣснь II книги ³⁾. Кокановскій говоритъ въ этомъ стихотвореніи о двойственной природѣ поэта, одна часть которой не подвержена смерти. Обращаясь къ Мышковскому, нашъ поэтъ сулитъ себѣ вѣчную славу; онъ чувствуетъ уже, какъ у него вырастаютъ крылья:

Już mi skóra chropawa padnie na goleni,
Już mi w ptaka białego wierzch się głowy mieni;
Po palcach wszędy nowe piórka się puszczają,
A z ramion sążeniste skrzydła wyrastają.

Тогда, подобно Икару, несомый быстрыми крылами, поэтъ навѣститъ пустынные берега Босфора и Киренейскіе холмы, посвященные музамъ и холодныя сѣверныя страны:

O mnie Moskwa i będą wiedzieć Tatarowie
I różnego mieszkańcy świata, Anglikowie,
Mnie Niemiec i waleczny Hiszpan, mnie poznają,
Którzy głęboki strumień Tybrowy pijają.

¹⁾ См. W. P. III. 276.

²⁾ См. W. P. II. 28.

³⁾ См. W. P. I. 330.

Въ заключительной строфѣ поэтъ проситъ, чтобы при его погребеніи не было напрасныхъ выраженій горя и траурныхъ богослуженій:

Niech przy próżnym pogrzebie żadne narzekanie,
Żaden lament ne będzie, ani uskarżanie;
Świec i dzwonów zaniechaj i mar drogo słanych
I głosem żałobliwym żołtarzów śpiewanych.

По мысли эта пѣснь является подражаніемъ извѣстной одѣ Горация „Elegi monumentum“. Здѣсь мы встрѣчаемъ интересную особенность, рисующую Кохановскаго, какъ истаго платоника: онъ говоритъ о перьяхъ, которыя вырастаютъ на немъ. Эта мысль цѣликомъ взята изъ ученія великаго греческаго мыслителя о томъ, что душа философа получаетъ опереніе и крылья, чтобы вознестись въ заоблачныя сферы, гдѣ царитъ идея вѣчной красоты и блага. Послѣдняя строфа кажется намъ проникнутой протестантскими убѣжденіями, которыя, какъ извѣстно, отрицаютъ заупокойное богослуженіе. Изъ всѣхъ этихъ стихотвореній мы видимъ, что въ душѣ Кохановскаго водарилося полное равновѣсіе и проснулись свѣжія творческія силы. Не чувствуя губительнаго дыханія людской зависти и злобы, нашъ поэтъ подъ сѣнью своей развѣсистой липы поетъ, какъ вольный соловей, поетъ и самъ любитъ своими пѣснями, вѣщимъ окомъ предвидя ихъ грядущую славу и безсмертіе своего имени въ памяти народа.

II.

Политическія событія въ Польшѣ отъ 1569—1574 гг. и отношеніе къ нимъ Кохановскаго. „Prorogzec“. „Omen“. „Wgóźki“. Начало перевода „Псалтыри“. Смерть Сигизмунда-Августа. Первое безкорольеве. Стихотворенія къ королю Генриху Валуа. „Marszałek“.

Поселившись въ Чернолѣсѣ, Кохановскій не жилъ тамъ безвыѣдно; онъ не оставался въ сторонѣ отъ выдающихся явленій политической и общественной жизни, которыя волновали въ то время всю Польшу.

На сеймѣ 1569 года въ Люблинѣ, гдѣ присутствовалъ и нашъ поэтъ, состоялась унія Литвы съ Коропой и тогда же была дана ленная присяга герцога Прускаго въ вѣрности польскому королю.

Можно было ожидать, что первое событіе произведетъ большее впечатлѣніе на Кохановскаго, благодаря своему важному историческому значенію, между тѣмъ въ его произведеніяхъ отразилось гораздо ярче и сильнѣе послѣднее, которому онъ посвящаетъ стихотвореніе, подъ заглавіемъ „Prorogzes“¹⁾.

Вступленіе къ этому произведенію очень удачно и красиво написано; оно отличается торжественнымъ тономъ и вполнѣ передаетъ чувства тогдашняго поляка при видѣ ленной присяги, даваемой чужимъ государемъ его королю. „Prorogzes“ служитъ выраженіемъ спокойнаго, счастливаго, гордаго собою польскаго патріотизма. Но изъ возвышеннаго лирическаго тона, въ которомъ это стихотвореніе должно было бы продолжаться до конца и влѣдствіе этого имѣть болѣе сжатую форму, поэтъ впадаетъ въ растянutosть, давая подробное и сухое описаніе знамени Прусскаго герцога. Въ изображеніи Кохановскаго это знамя представляетъ чуть ли не цѣлую географическую карту Пруссіи и ея исторію въ картинахъ: теченіе Вислы и всѣ важнѣйшія битвы съ крестоносцами. Здѣсь, очевидно, нашъ поэтъ хотѣлъ подражать Гомеру и изобразить знамя по образцу описанія щита Ахиллеса. Въ художественномъ отношеніи эта часть стихотворенія вышла слабой, но съ исторической стороны она представляетъ большой интересъ. Въ заключеніи помѣщена политическая мораль, ради которой, можетъ быть, было написано цѣлое стихотвореніе. Кохановскій хочетъ, чтобы унія вошла въ сознаніе народа, а не оставалась только на бумагахъ, потому что это единеніе въ высшей степени необходимо какъ для Польши, такъ и для Литвы:

Bo co waży pargamin i gęste pieczęci,
Przy piśmie zawieszzone, jeśli niemasz chęci?
Co tedy prawem inszy, co nas przysięgami
Wiązali, ty nas sercem zepni i myślami.
A niechaj już Uniej w skrzyniach nie chowamy,
Ale ją w pewny zamek do serca podamy,
Gdzie jej ani mól ruszy, ani pleśń dosięże,
Ani wiek wsztykokrotny starością dolęże,
Ale, synóm od ojców przez ręce podana,
Nieogarnione lata przetrwa niestargana.

¹⁾ См. W. P. II. 242.

Ихъ согласіе во время Ягеллы положило конецъ могуществу крестоносцевъ. Къ этому же средству нужно прибѣгнуть и теперь, чтобы одолѣть враговъ. Изъ внѣшнихъ непріятелей больше всѣхъ страшитъ поэта Московское государство, изъ внутреннихъ—разладъ.

Подобные политическіе взгляды, какъ видно изъ писемъ Мышковскаго, были распространены въ королевской канцеляріи при Сигизмундѣ Августѣ. Политическая теорія Кохановскаго заимствована у Цицерона, у котораго онъ беретъ иногда цѣликомъ отдѣльныя мысли, какъ, напримѣръ, слѣдующая (изъ „Somnium Scipionis“):

. . . . porządne rzeczypospolite
Nad co ku zachowaniu ludzkiej spółeczności
Nie ma świat nic lepszego z boskiej opatrności.

На практикѣ, примѣнительно къ Польшѣ, Кохановскій проповѣдуетъ для безопасности единство вѣры и короля:

A ludzi jednej wiary i pana jednego
Przywiedz do związku węzła nieroztargnionego.
Tem nieprzyjacielowi serce masz zepsować
A rzeczypospolitej pokój ugruntować.

„Прогорзес“ интересенъ, какъ единственное современное непосредственное литературное отраженіе Люблинской уніи.

Еще болѣе горячимъ патриотизмомъ проникнуть „Omen“¹⁾ Кохановскаго, написанный, насколько можно судить по увѣренности въ политическомъ могуществѣ Польши, одновременно съ предыдущимъ стихотвореніемъ.

Gdzieś to piękne boginie tak łaskawe były,
Żebych ja ile chęci, tyle miał i siły
Służyć ojczyźnie miłej a jej sprawom sławnym,
Nie dopuszczał zamierzknać w ciemnym wieku dawnym.

Такими словами, полными самой искренней любви къ отечеству, начинается поэтъ свой „Omen“. Всюду, куда онъ не взглянетъ, видны памятники польской силы:

Tu do Czarnego morza jeszcze świeże szlaki,
Tu droga znakomita przez śnieżne Bałchany,
Tu Psie Pola a sam brzeg pruski zwojowany.

¹⁾ См. W. P. II. 301.

По поводу этого Кохановский вспоминает о великомъ прошломъ славянскаго народа, который господствовалъ отъ Сѣвернаго моря до Адриатики. Въ послѣднихъ словахъ устами нашего поэта говорить не одинъ только польскій патриотизмъ: въ нихъ видна горячая вѣра въ могущество всего славянскаго міра. Здѣсь Кохановскій выступаетъ въ качествѣ перваго польскаго поэта съ національнымъ славянскимъ самосознаніемъ. Заключительныя слова этого стихотворенія должны служить лозунгомъ для истинныхъ поборниковъ всеславянской идеи, которая должна осуществиться, должна привести къ тому, чтобы

. . . .od zmarzłego morza po brzeg Adryański
Wszystko był opranował sny naród słowiański.

Однако патриотизмъ не ослѣплялъ поэта, который прекрасно видѣлъ всѣ недостатки своей родины и указывалъ на нихъ въ своихъ произведеніяхъ.

Таковы, напримѣръ, его „Wróźki“¹⁾ (Предсказанія), написанныя въ это же время, такъ какъ въ нихъ упоминается Сигизмундъ Августъ и говорится объ уніи, какъ о совершившемся фактѣ.

Это небольшое прозаическое произведеніе написано въ излюбленной тогда діалогической формѣ. Содержаніе его отчасти совпадаетъ съ нѣкоторыми мыслями Ожеховскаго, Моджевскаго и Рея. Предсказываетъ оно очень грустныя событія: упадокъ Польши и гибель ея независимости.

Землевладѣлецъ спрашиваетъ своего приходскаго священника: отчего послѣдній возлагаетъ такъ мало надеждъ на Польское государство? Священникъ отвѣчаетъ, что всѣ государства приходятъ въ упадокъ такъ же, какъ и всѣ вещи, отъ двоякаго рода причинъ: внутреннихъ и внѣшнихъ. Къ послѣднимъ нужно отнести насиліе или вторженіе непріятелей, а первыхъ значительно больше, но всѣ онѣ, какъ ручки къ главной рѣвѣ, приводятъ къ несогласіямъ, благодаря которымъ государства разрушаются. У насъ есть сосѣди, которые подстерегаютъ нашу гибель (здѣсь Кохановскій подразумѣваетъ турокъ), а другихъ доброжелательныхъ къ намъ мы не цѣнимъ должнымъ образомъ. (Можетъ быть рѣчь идетъ объ Австріи, такъ какъ на выборахъ Генриха нашъ поэтъ былъ на сторонѣ австрійскаго претендента на польскій престолъ). Внутри же, различными вѣрами и

¹⁾ См. W. P. II. 257.

разнообразнымъ толкованіемъ общихъ законовъ, мы пошатнули самое основаніе Рѣчи Посполитой. Нѣтъ болѣе опасной вещи для государства, какъ религіозныя несогласія: они часто приводятъ къ междоусобнымъ войнамъ и поддаются усмиренію съ большимъ трудомъ. Примѣромъ въ данномъ случаѣ можетъ служить Франція. Кто нарушаетъ единство вѣры въ государствѣ, тотъ подкапывается подъ самыя его основы. Не меньшимъ зломъ является порча нравовъ. (*Moribus antiquis stat res Romana virisque*). Наши нравы и люди таковы, что мы только кажущимся образомъ поддерживаемъ Польшу, которая въ дѣйствительности уже погибла, потому что, гдѣ порокъ остается безнаказаннымъ, тамъ несомнѣнно должны господствовать распущенность и произволь; если лучшія государственныя должности достаются за деньги, то нѣтъ ничего удивительнаго въ распространении среди общества жадности и любостыжанія; гдѣ молодежь не получаетъ воспитанія, тамъ, вслѣдствіе праздности, возрастаетъ роскошь и расточительность; гдѣ добродѣтель не получаетъ награды, тамъ гаснетъ любовь къ отечеству. Въ такихъ случаяхъ испорченные и разнузданные нравы приводятъ государство къ гибели. Они влекутъ за собою небрежность въ общественному достоянію; вслѣдствіе этого войско остается безъ вознагражденія, границы лишены обороны, законы не исполняются, король не имѣетъ наслѣдника, а мы не хотимъ выработать порядка избранія новаго короля, и дѣло кончится тѣмъ, что на выборахъ мы будемъ уже имѣть нѣсколькихъ королей (т. е. Кохановскій хочетъ сказать, что сосѣднія державы, пользуясь смутами во время выборовъ, раздѣляютъ Польшу между собою на части. Правда, опасенія его сначала оказались совершенно напрасными. Однако, за нимъ нужно признать удачное выясненіе опасности при существовавшей въ его время системѣ выборовъ). Хорошо ознакомившись заграничей съ крѣпкимъ монархическимъ строемъ сосѣднихъ государствъ, Кахановскій является противникомъ польскихъ сеймовъ, чему въ значительной степени способствовали политическія теоріи древнихъ мыслителей, большинство которыхъ выступало въ защиту монархическаго принципа. „Худо, гдѣ многіе принимаютъ участіе въ управленіи; пусть будетъ одинъ король“, говоритъ онъ и прибавляетъ, что о Польшѣ когда-нибудь скажутъ: *multitudo medicorum occidit principem*. Противъ сеймовъ онъ приводитъ выдержку изъ какой-то римской комедіи:

—*Quomodo rempublicam vestram amisistis?*

—*Proveniebant oratores novi, stulti, adolescentuli.*

Здѣсь Кохановскій удачно попалъ въ самое больное мѣсто поляковъ, изъ которыхъ каждый стремился выступить въ качествѣ оратора и разсуждалъ о государственныхъ вопросахъ, не имѣя никакой политической опытности. Эти слова не должны были нравиться его современникамъ, благодаря своей горькой правдѣ. Къ числу опасныхъ для государственной жизни явленій Кохановскій относитъ также перемѣну, происшедшую въ музыкѣ, которая прежде носила серіозный характеръ и была приспособлена въ костелахъ для богослуженія. За послѣднее время она сдѣлалась легче, ушла изъ подъ вліянія костела, стала служить для увеселенія и танцевъ. Музыка является какъ бы руководительницей нашихъ мыслей и если она измѣнится, то это легко можетъ повлечь за собою упадокъ нравственности и законности. Подобное опасеніе Кохановскаго, конечно, не должно считаться серіознымъ съ нашей точки зрѣнія, но для гуманиста, какимъ былъ онъ, насквозь проникнутаго идеями Пифагора и Платона, ставившихъ музыку краеугольнымъ камнемъ воспитанія, мысль эта имѣла первостепенную важность.

Въ заключеніи своей брошюры самъ авторъ обнаруживаетъ наиболѣе слабое ея мѣсто. Землевладѣлецъ ставитъ священнику въ упрекъ, что онъ умѣетъ только порицать, а положительныхъ мѣръ для исправленія всѣхъ этихъ недостатковъ не указываетъ¹⁾. Священникъ отвѣчаетъ, что это не его ума дѣло, но все таки онъ, какъ сумѣетъ, въ другой разъ поговоритъ объ этомъ. Неизвѣстно, дѣйствительно ли Кохановскій думалъ продолжить эту брошюру, или такое окончаніе было простымъ литературнымъ приемомъ, только продолженіе ея никогда на свѣтъ не являлось. Въ этомъ произведеніи Кохановскій показалъ много политической опытности при глубокомъ знаніи положенія своей родины. Въ немъ видна также дальновидность, которая рѣдко встрѣчается у артистическихъ натуръ.

Въ 1571 году пишетъ нашъ поэтъ письмо къ Станиславу Фогельведеру, въ которомъ, между прочимъ, сообщаетъ, что у него есть уже тридцать переведенныхъ псалмовъ. Въ этомъ же письмѣ Коха-

¹⁾ Этимъ страдаетъ большинство морально-политическихъ сочиненій того времени.

новскій о чемъ то просить своего пріятеля, но такъ скромно, что нужно предположить въ немъ очень деликатную и самолюбивую натуру. Такимъ же характеромъ, деликатнымъ и скромнымъ, отличается одиннадцатая элегія третьей книги¹⁾, касающаяся того же самаго дѣла и, слѣдовательно, написанная въ то же время, какъ и письмо. Поэтъ ожидаетъ чего-то отъ короля. Станиславъ (Фогельведеръ) долженъ просить Сигизмунда Августа о чемъ-то, или, по крайней мѣрѣ, узнать, стоитъ-ли просить. Желанія поэта въ высшей степени умѣренны и скромны:

*Tu mentem indaga regis, sensusque latentes,
Non mihi nil dederit, si citus abnuerit,*

Вѣроятно, дѣло это имѣетъ для поэта громадное значеніе, потому что онъ ждетъ отвѣта съ нетерпѣніемъ влюбленного, подруга котораго долго не приходитъ на условленное свиданіе. Это удачное сравненіе сдѣлано имъ въ шутиломъ и нѣсколько патетическомъ тонѣ, въ которомъ написано и все стихотвореніе. Здѣсь поэтъ вспоминаетъ придворную жизнь, съ ея непріятными случайностями и спасительными средствами, въ родѣ займа у еврея, къ которому нерѣдко прибѣгаетъ Фогельведеръ:

*Intempestive forsan jocos, et tibi Moses
Quispiam ad oclusas excubat usque fores,
Nescio quid secretam instillaturus in aurem,
Quin tu te auritas dicis habere manus?*

Шутиливый тонъ, когда дѣло идетъ о какой то нуждѣ поэта, доказываетъ, что онъ и при просьбѣ не потерялъ ни юмора, ни чувства собственнаго достоинства, ни расположенія къ другимъ. Неизвѣстно, была ли исполнена просьба поэта, или нѣтъ.

Въ 1573 году умеръ Сигизмундъ Августъ. Удивительно, что объ его смерти Кохановскій упорно молчитъ въ своихъ произведеніяхъ. Этотъ фактъ рѣшительно не поддается никакому объясненію. Опасенія поэта относительно смуть при безкоролевѣ оказались пока напрасными. Все осталось въ прежнемъ положеніи съ самыми незначительными измѣненіями. Избраніе королемъ Генриха Валуа должно было обрадовать спокойную натуру поэта, во первыхъ, потому что все такимъ обра-

¹⁾ См. W. P. III. 124.

зомъ благополучно закончилось и нашелся хорошій исходъ для труднаго положенія государства, во вторыхъ, личность молодого короля, какъ представителя европейской образованности, горячимъ сторонникомъ которой былъ нашъ поэтъ, должна была быть ему симпатичной. За королемъ выѣхало блестящее посольство, которое долго не возвращалось. Въ ожиданіи изъ далекихъ краевъ короля, такъ много общающаго для Польши, Кохановскій пишетъ прекрасную первую оду „Ad Henricum Valesium morantem“ ¹⁾. „Pelle procul moram“, говоритъ ему поэтъ:

Et te parentis sollicitae pio
 Evolve complexu anxiarum et
 Falle fuga lacrimas sororum

и спѣши за двойной короной. Полякъ и литвинъ тоскуютъ по тебѣ. Молва о твоёмъ приѣздѣ смирила Москву и татаръ; садись на воя и веди свое войско. Когда я увижу тебя, съ триумфомъ въѣзжающаго въ Польшу, меня не превзойдутъ тогда своимъ пѣніемъ ни Линъ, ни Орфей.

Tum me nec Orpheus, nec fidicen Linus
 Vincat canendo, saxa licet lyra
 Uterque dicatur canora
 Et rigidas agitasse quercus.“

Тѣмъ же чувствомъ довольства избраннымъ королемъ проникнута 69 фразка III кн. ²⁾ къ Конарскому, епископу познанскому, который ѣздилъ въ Парижъ съ посольствомъ за королемъ. Въ этомъ стихотвореніи поэтъ перечисляетъ всѣ заслуги епископа и его предковъ, хвалитъ безкорыстную любовь Конарскаго къ отечеству. О посольствѣ его во Францію Кохановскій такъ говоритъ:

Świeżo (ciebie słucał) i król Francuski sławny, z której
 strony
 Przywiódlęś nam Monarchę pod zimne Triony.

Когда Генрихъ прибылъ въ Польшу, Кохановскій написалъ два стихотворенія: „Ad regem Cracoviam venientem“ ³⁾ и „In Aquilam“ ⁴⁾.

¹⁾ См. W. P. III. 257.

²⁾ См. W. P. II. 429.

³⁾ См. W. P. III. 241.

⁴⁾ Ibidem.

Въ первомъ изъ нихъ поэтъ, обращаясь къ королю, говорить:
„цѣлый городъ вышелъ тебѣ навстрѣчу, народъ и сенатъ привѣт-
ствуютъ тебя радостными вликами“.

Spectaclo delectatus per inane volantes
Igneus auricomos Sol inhibebat equos;
Nox non passa moram puro se effudit Olympo,
Ut te mille oculis ipsa quoque aspiceret.

Во второмъ „На орла“, который, вѣроятно, украшалъ триумфальныя
ворота при въѣздѣ Генриха, поэтъ въ лиліяхъ герба дома Валуа ви-
дѣть предзнаменованіе расцвѣта Польши.

Неизвѣстно, былъ ли Кохановскій лично знакомъ съ королемъ
Генрихомъ, или нѣтъ. Если ему и приходилось являться во дворѣ,
то, во всякомъ случаѣ, онъ не оставался тамъ долго, какъ видно изъ
стихотворенія „Marszałek“¹⁾:

Odpuść prze Bóg, marszałku, a swego urzędu
Nie rozciągaj nademną dla mojego błędu.
Nie śmiechem ci to czynię, że się nie ukazę
Tak długo

Можетъ быть, его вызывали туда, или онъ по собственному побуж-
денію оправдываетъ свое отсутствіе, въ точности неизвѣстно. Одно
только ясно: должность или обычай обязываютъ его быть при дворѣ,
а онъ сидитъ себѣ дома. Въ заключеніе онъ еще разъ проситъ мар-
шалка оправдать какъ-нибудь его отсутствіе. (Надворнымъ маршал-
комъ былъ тогда Андрей Зборовскій). Стихотвореніе это, кажется, го-
воритъ о принесеніи королю „бенефицій“, которое происходило именно
тогда въ 1574 году. Поэтъ объясняетъ свое отсутствіе различными
занятіями:

Ale mniemasz podobno, żeby tylko rymy
Poetowie tworzyli: nie wierz temu. I my
Króla musim obierać i my rozkazywać.
I my na okazyą musim się gotować.

Придворныя обязанности кажутся ему тягостью, за исполненіе кото-
рыхъ онъ берется весьма неохотно:

1) См. W. P. II. 215.

. . . . to człowiek przyrodzeniu swemu
 Nie czyni k'woli, ale powodzią porwany
 Płynie tam gdzie go niosą pienne bałwany.

По словамъ поэта, каждому опредѣлено свое призваніе. О себѣ онъ говоритъ:

Ani ja dbam o pomrę, ani o infuły:
 Uczciwe wychowanie to moje tytuły.

Въ деревнѣ поэта удерживаетъ хозяйство: человѣкъ не живетъ жемудрами и, какъ бы ни были скромны его потребности, онъ долженъ, какъ Тибуллъ, ходить за плугомъ. Кромѣ этихъ у Кохановскаго есть и болѣе серіозныя основанія:

. . . . a bych ci miał wyliczać i głębsze przyczyny,
 Pierwiej by w morzu zagasł krąg lotnego słońca,
 Niźbych ja w swej powieści przebił się do końca.

Послѣднее стихотвореніе показываетъ, какъ неохотно выѣзжалъ Кохановскій изъ своего Чернолѣса, гдѣ удерживали его не однѣ только хозяйственныя заботы, но и гораздо болѣе важныя и дорогія для него предметы. Тамъ, какъ мы уже видѣли, онъ на свободѣ всецѣло отдавался своей поэтической дѣятельности и писалъ о томъ, что волновало его чуткое сердце.

III.

Мысли Кохановскаго о бракѣ. „Dziwosłab“. Дорота Подлѣдовская. Стихотворенія къ ней. Вторая пѣснь второй книги. Шестая пѣснь фрагментовъ. Первая элегія третьей книги. „Pieśń świętojańska o Sobótce“.

Еще въ „Сатирѣ“ Кохановскій выразился: „spotę miłuj i godność, bo tym państwa stoją“. Та добродѣтель, которая необходима для поддержки государственнаго порядка, играетъ также не послѣднюю роль и въ семейной жизни. Безъ нея семья не можетъ правильно исполнять своихъ обязанностей по отношенію къ обществу, что, несомнѣнно, должно самымъ губительнымъ образомъ отразиться и на государствѣ. Слѣдовательно, нашъ поэтъ, ставя своей задачей проповѣдь нравственной чистоты и совершенства, не могъ обойти недостатковъ семейной жизни своихъ современниковъ. Онъ видѣлъ, какъ

мало заботятся они о духовныхъ качествахъ своихъ женъ, какъ матеріальные интересы заглушаютъ передъ ними внутреннія достоинства женщинъ. Достаточно вспомнить распространенныя тогда поговорки: „posagu teraz pytają, a o snotę mało dbają“ или: „żony co teraz szukają: „co z nią dadzą?“ wprzód pytają“, чтобы убѣдиться, какъ глубоко былъ правъ Кохановскій, вооружившись противъ существующихъ на этотъ счетъ порядковъ своимъ сатирическимъ стихотвореніемъ „Dziewosłab“¹⁾.

Начинается оно какъ бы продолженіемъ прерваннаго разговора:

A ja zaś tak rozumiem, że do ożenienia
Ni stanu wysokiego, nie dobrego mienia,
Nawet ani gładkości tak wam szukać trzeba,
Jako wstydu a snoty, darów przednich z nieba.

Ни одно изъ внѣшнихъ достоинствъ не можетъ сравниться съ добродѣтелью:

. . . . snoty nieszczęście żadne nie zhołduje,
Ani wiek zazdrościwy jej kraszy ujmuje.
Kto tę ma, tego dobrym człowiekiem mianują,
W tym jednym źli z dobremi spółku nie najdują.

Въ доказательство того, что красота и знатное происхождение недостаточны для семейнаго счастья, поэтъ приводитъ въ примѣръ измѣну Елены Менелаю. Выставляя добродѣтель въ противувѣсъ такому губительному примѣру, поэтъ снова перечисляетъ всѣ ея преимущества надъ внѣшними благами, приобрѣтеніе которыхъ зависитъ отъ случая, тогда какъ добродѣтель нужно считать врожденнымъ качествомъ и ставить даже выше добраго имени, такъ цѣнимаго, обыкновенно, всѣми.

Въ подтвержденіе суетности богатства сравнительно съ нею поэтъ приводитъ общеизвѣстный мифъ и Мидасъ. По поводу приданнаго Кохановскій указываетъ на законъ Ликурга, заставлявшій отца невѣсты платить за нее, а не наоборотъ. Признавая могущество любви, поэтъ обращается къ ней съ мольбою избавить его отъ неудачнаго выбора:

¹⁾ См. W. P. II. 153.

. do ciebie, miłości,
 Przystępuję, która masz siła ząd zazdrości,
 Ze ludzióm snać źle radzisz. Ale iż i w niebie
 I na ziemi nikt nie jest bezpieczen od ciebie,
 A twym strzałóm trudno się pawęzą zasłonić,
 Ani uciekać, abo rozumem się bronić.
 Proszę cię, miało li by kiedy przyść do tego,
 Niechaj nic nie miłuję, co jest szkaradnego.
 Ostatek na twą łaskę puszczam.

Нѣтъ ничего хуже, какъ измѣна со стороны жены. Въ образецъ супружеской вѣрности Кохановскій ставитъ Дидону, не пожелавшую принадлежать Гарбу послѣ смерти своего мужа. Для взаимнаго равенства поэтъ, вмѣстѣ съ Марціаломъ, рекомендуетъ брать себѣ въ жены дѣвушку болѣе низкаго происхожденія, чѣмъ самъ женихъ:

Podlejszą żonę rójmi, tak ja radzę tobie,
 Bowiem inaczej gówni niebędziecie sobie.

Въ такомъ случаѣ у жены устраняется возможность противорѣчить своему мужу. По этому поводу Кохановскій намекаетъ на распространенную польскую побасенку о сварливой женѣ. Въ остальномъ онъ совѣтуетъ положиться на Бога и заканчиваетъ свое стихотвореніе слѣдующими словами:

Tom ja pisał na siostry swej miłej żądanie,
 Które u mnie tak ważne, jako rozkazanie
 I sama się do tego dobrze przyłożyła,
 Należé rym, to nawietsza moja praca była.

Это живое и мѣстами весьма остроумное стихотвореніе показываетъ, что поэтъ и самъ не прочь былъ, не смотря на свои 44 года, найти себѣ достойную подругу жизни и оживить семейнымъ счастьемъ одиночество своего Чернолѣса. Вѣроятно, въ данномъ случаѣ дѣло не обошлось безъ различныхъ совѣтовъ, предложеній и разговоровъ на тему о бракѣ между Кохановскимъ и его сестрами. Должно быть, одна изъ нихъ особенно настаивала на женитьбѣ поэта, и онъ облекъ всѣ эти бесѣды въ стихотворную форму, результатомъ чего явился „Dziwosłab“. Какъ бы то ни было, въ этомъ произведеніи мы видимъ собственные взгляды Кохановскаго на бракъ и въ данномъ случаѣ оно представляетъ для насъ значительный интересъ не только съ

литературной точки зрѣнія, но и какъ матеріалъ для біографіи поэта.

Здѣсь Кохановскій высказываетъ трезвыя, практическія мысли, полныя житейской мудрости. Ему не нужно страстной романической любви, которую онъ уже пережилъ; онъ довольствуется крѣпкой привязанностью, хорошей хозяйкой и дѣтьми для полноты семейнаго счастья. Мысли нашего поэта о бракѣ основаны на его философскихъ взглядахъ, главной особенностью которыхъ была умѣренность и скромность желаній; онѣ близко подходятъ къ подобнымъ же воззрѣніямъ Рея.

По мнѣнію Кохановскаго, самымъ важнымъ качествомъ жены должна быть добродѣтель. При этомъ женѣ слѣдуетъ быть здоровой и миловидной; хорошо, если у нея есть какое-нибудь приданое; но большого не нужно. Гораздо лучше брать жену бѣднѣ себя, въ противномъ случаѣ не будетъ равенства между супругами. (Можетъ быть, Кохановскаго заставляетъ разсуждать такимъ образомъ собственный горькій опытъ). По происхожденію она должна быть не изъ знатнаго дома, а изъ средней шляхты, чтобы бракъ съ Кохановскимъ казался ей достойной партіей. Кромѣ того, ей слѣдуетъ быть красивой и хоть сколько-нибудь любимой своимъ будущимъ мужемъ.

Неизвѣстно, остановился ли на комъ-нибудь выборъ нашего поэта, когда онъ писалъ это стихотвореніе. Ясно только, что намѣреніе жениться уже созрѣло въ Кохановскомъ.

Дорота Подлѣдовская, которую впослѣдствіи онъ избралъ себѣ въ подруги жизни, была по происхожденію ровня ему. Сосѣдскія и, можетъ быть, дружескія отношенія связывали семью Кохановскаго съ ея родителями. Приданое за ней давалось небольшое, вполнѣ однако достаточное для поэта-философа. О томъ, что она была красива и что Кохановскій любилъ ее и даже пользовался взаимностью, свидѣтельствуетъ вторая пѣснь второй книги ¹⁾. Не нужно удивляться, что молодая дѣвушка увлеклась поэтомъ, которому уже исполнилось 44 года. Помимо того, что онъ, какъ образованный человѣкъ своего времени, обладалъ искусствомъ нравиться женщинамъ, въ пользу его говорилъ также поэтический ореолъ, окружавшій его имя, извѣстность, которой онъ пользовался въ то время. Самый возрастъ его не счи-

¹⁾ См. W. P. I. 305.

тался тогда позднимъ для брака. Въ упомянутой нами второй пѣсни поэтъ уже увѣренъ въ любви къ себѣ избранницы своего сердца, онъ веселъ, гордится одержанной побѣдой: онъ превзошелъ Орфея и Амфіона, покоривши сердце Дороты своими пѣснями. За нею онъ признаетъ новое привлекательное качество—умъ:

Ja chcę się podobać w mowie
Nauczanej białejgłowie.

Въ стихотвореніи этомъ еще отзывается воспоминаніе о прежней симпатіи поэта, которая

. na plac jedzie
Z herby domów starożytnych.

Но это все уже миновало, и онъ съ радостью ожидаетъ приѣзда Дороты:

Teraz najweselsze czasy:
Zielenią się pięknie lasy,
Zająca już nie znać w życie.

Къ ней же написана шестая пѣснь фрагментовъ ¹⁾. Обращаясь къ своей Ганнѣ, поэтъ говоритъ, что она, благодаря своей молодости, и не заботится о томъ, долго ли при ней останется ея красота, которая, какъ и все на свѣтѣ, также подвержена губительному вліянію времени. „Widziałem, продолжаетъ онъ:

ja po ranu piękny kwiat przyjemny,
A widziałem zaś wieczór zwiędły i nikczemny;
I drzewa, które teraz odziały się w liście,
Złupi z tego ubioru mróżnej, zimy przyście.
W temże prawie i człowiek, a w gorszem; bo kwiaty
I drzewa w rok wetują zawždy swej utraty,
Odmładzając się znowu, ale człowiekowi
Kiedy się raz na twarzy zima postanowi,
A włos śniegiem przypadnie, gęsta wiosna minie,
Niżli z głowy przeziębłej ten zimny rok zginie.

Животныя въ этомъ отношеніи одарены большими преимуществами, нежели человѣкъ; олень мѣняетъ свои рога, ужъ линяетъ каждую

¹⁾ См. W. P. II. 467.

весну. Желание обновить свое старое тѣло погубило нѣкогда Тессалийскаго царя.

Przeto róki panuje wiosna w twarzy twojej,
Daj się, Hanno, napatrzeć wdzięcznej kraszy swojej,
Która nie da nic naprzód ani Fosforowi,
Kiedy napiękniej z morza wynika ku dniowi.

He будучи въ состояннн изобразить прелестей своей Ганны ни кистью, ни рѣзцомъ, поэтъ просить объ этомъ знаменитѣйшихъ художниковъ древняго міра, Зевксиса и Фидія.

Ale wierszem ozdobnym i rymy gładkiemi,
Mam nadzieję, że z mistrzmi porównam dobremi.
Temi ja przeciw długim latom się zastawię,
A za chęcią snych bogiń imię twe wybawię
Z niepamięci nieszczęsnej, że o twej urodzie
Będzie wiek późny wiedział i po naszym schodzie.

Нашъ поэтъ не боится потерять, подобно Гомеру зрѣнія при описаннн красотъ своей возлюбленной, которыя онъ считаетъ Божьими дарами.

Przeto tusz dobrze, Hanno urodziwa, sobie:
Z twoich darów znać, że Bóg jest łaskawym tobie,
Który, jako ozdobę i piękność szacuje,
Ten czyn niezmiernego świata okazuje.

Доказательствомъ того, что источникомъ красоты является Самъ Богъ, поэтъ указываетъ на всю природу:

. kto sklepowi temu
Nadobnemi gwiazdami slicznie sadzonemu
Nadziwować się może? kto nocoświatnego
Miesiąca abo słońca niespracowanego
Napatrzył się dowolej, lubo rano wstaje,
Lubo ku wieczorowi prędki bieg podaje;
Taki więc z swej łóżnice nowy oblubieniec
Wychodzi, na nim złoty płaszcz i złoty wieniec
Perłami przeplatany, gore znakomity
Jego ze wszech namilszej dar niepospolity.
Ale i ziemia nie jest bez swojej ozdoby,
Bo i tę Bóg oszlacheił dziwnymi sposoby:

To górami, to lasy, to kryształowemi
Rzekami, to łąkami pięknie kwitnącemi,
A w poły ją przepasał morzem ugrówanem
Prosto, jakoby pasem srebrem okowanym.

Таковъ видимый мiръ, кажимъ же долженъ быть тотъ, который недоступенъ нашимъ очамъ,

. gdzie myśl, która niebem toczy,
Gdzie sama piękność świeci i kształty wszech rzeczy?

Слѣдовательно, красоту нужно считать за одинъ изъ лучшихъ Божьихъ даровъ, котораго не можетъ получить человекъ путемъ личныя силы и стараній.

Въ этомъ стихотвореніи есть много поистинѣ художественныхъ строкъ. Описаніе красоты природы напоминаетъ подобныя мѣста изъ псалмовъ, откуда поэтъ почерпаетъ иногда цѣлые образы. Строфа о заоблачномъ невидимомъ мiрѣ взята изъ идеологіи Платона и показываетъ основательное знакомство нашего поэта съ произведеніями великаго греческаго мыслителя.

Въ латинскихъ элегіяхъ онъ, обыкновенно, называетъ свою невѣсту „Pasiphile“ — всѣмъ милая. Первая элегія третьей книги ¹⁾ относится къ ней. Нѣкоторые комментаторы думаютъ, что это стихотвореніе написано около 1567 или 1568 года, такъ какъ въ ней упоминается война съ Москвою. Противъ такого предположенія говоритъ имя Пасифилы и обращеніе поэта къ ней, какъ къ невѣстѣ; чего не могло быть раньше 1570 года, когда также въ Польшѣ шла рѣчь о войнѣ съ Москвою изъ за Инфлянтовъ.

Элегія начинается прекраснымъ обращеніемъ къ Венерѣ, въ которомъ поэтъ проситъ богиню избавить его отъ сумасбродныхъ выходокъ молодости. Ему не пристало теперь всю ночь проводить у запертыхъ дверей и прибѣгать къ лести, или къ угрозамъ:

Haec fieri potuere olim, maturior
His alios mores postulat et studia.

Поэтъ не собирается участвовать въ войнѣ, которую замышляетъ король противъ Москвы:

At mihi nil opus est externum quaerere bellum,
Intus adest hostis, qui mea corda ferit.

¹⁾ См. W. P. III 87.

Hic malo defendit clipeus. male tela. male enses,
Nec prosunt vires, nec ratio ulla fugae est.

Его сердце занято Пасифилой, къ которой онъ обращается со слѣдующими проникнутыми искреннимъ чувствомъ словами:

Tu mihi, si tantum non dedignaris amari,
Usque ad supremos cura futura rogos.
Tu domui praesis, tibi res mea serviat uni,
Quantulacunque quidem est. serviat illa tibi.

Пока поэтъ будетъ пользоваться ея взаимностью, ему не нужно даже блестящихъ королевскихъ скипетровъ. Съ полными страсти словами обращается онъ къ ней:

Tecum nec duro glebas invertere aratro,
Nec grave pascentes sit comitare greges.
Quid me perpetuis juvat empti pecunia curis?
Aut quid Erythraeo concha reperta salo?
Solliticis animis auri vis nulla medetur,
Omniaque incerto fors levis orbe rotat.
Tecum, Pasiphile, liceat mihi vivere, et olim
In gremio vitam deposuisse tuo.

Мотивъ о вѣрности до гроба мы встрѣчали уже въ элегіяхъ падуаискаго періода и въ польскихъ эротическихъ стихотвореніяхъ. Новымъ здѣсь является только желаніе поэта подѣлиться съ Пасифилой своимъ скромнымъ достаткомъ и насмѣшливое отношеніе къ грѣхамъ своей молодости.

Къ цѣлю стихотвореній въ честь Дороты должна быть отнесена также „Sobótka“. Время ея возникновенія можетъ быть определено по слѣдующимъ признакамъ: Дорота присутствуетъ на этомъ празднествѣ въ качествѣ гостыи, прославленію ея красоты посвящена восторженная пѣснь, самъ поэтъ въ одномъ мѣстѣ, очевидно, намекая на себя, говоритъ, что иной старикъ поспорить съ женихами. Всѣ эти указанія даютъ основаніе предположить, что „Sobótka“¹⁾ была написана еще въ то время, когда Дорота Подлѣдовская была невѣстой Кохановскаго.

¹⁾ Слово „Sobótka“ проф. Рымаркевичъ сближаетъ со словомъ суббота, „шебет“—Саваоѣ и доказываетъ, что оно восходитъ къ глубокой древности и обозначаетъ праздникъ солнца.

„Pieśń świętojańska o Sobótce“²⁾ основана на народномъ обрядѣ зажиганія огней подъ Ивана Купала. Она состоитъ изъ вступленія, въ которомъ поэтъ описываетъ, какъ происходило это народное празднество въ его Чернолѣсѣ, какъ изъ толпы зрителей выступили впередъ 12 дѣвушекъ, одинаково одѣтыхъ и опоясанныхъ стеблями чернобыльника, необходимой принадлежности всякаго стариннаго языческаго обряда, и изъ двѣнадцати пѣсенъ, каждая изъ которыхъ поется поочередно вышеупомянутыми дѣвушками.

Первая поетъ о необходимости свято соблюдать старинные обычаи и праздники, такъ какъ, благодаря этому, прежніе люди пользовались большимъ счастьемъ. Въ заключеніе она приглашаетъ подругъ почтить эту Ивановскую ночь кострами, пѣснями и танцами.

Ея мысль подхватываетъ вторая дѣвушка, главнымъ недостаткомъ которой, по ея собственнымъ словамъ, является любовь къ плясѣ. Съ этой цѣлью она приглашаетъ музыканта, бьющаго въ бубень, показать все свое искусство, хоть бы ради своей зазнобы, которая, несомнѣнно, здѣсь присутствуетъ и сумѣетъ отблагодарить его. Съ неудержимымъ весельемъ подзадориваетъ она своихъ подругъ

Za mną, za mną piękne koło,
Opiewając mi wesoło!
A ty się czuj, czyja kolej,
Nie maszli mię wydać wolej.

Ея припѣвъ подхватываетъ слѣдующая дѣвушка, которая не уступаетъ своей подругѣ въ весельѣ. По ея словамъ,

Sam ze wszystkiego stworzenia
Człowiek ma śmiech z przyrodzenia.
Inszy wszelaki zwierz niemy
Nie śmieje się, jako chcemy.
Nie ma w swem szaleństwie miary,
Kto gardzi pańskimi dary;
A bodaj miał płakać siła,
Komu dobra myśl niemiła!

²⁾ См. W. P. I. 335.

Она не гонится за особенно глубокимъ остроуміемъ. Описание забавы „тянуть кота“¹⁾ вполне удовлетворяетъ ее.

Четвертая дѣвушка поетъ о любви къ своему милому, для котораго она свила вѣнчочекъ.

Włóż na piękną głowę twoję
Tę rozkwitłą pracę moję,
A mnie samę na sercu miej,
Toż i o mnie sam rozumiej.

Всѣ ея помыслы заняты имъ однимъ. Она надѣется на его взаимность, но ее смущаютъ подруги, она боится, какъ бы какая-нибудь изъ нихъ не отняла у нея ея единственного счастья:

O wszelaką inszą szkodę
Łasno przyzwolę na zgodę,
Ale kto mię w miłość ruszy,
Więcznie będzie krzyw mej duszy.

Предметомъ пѣсни пятой дѣвушки служить также любовь, но только съ менѣе серьезнымъ отгѣнкомъ. Она хорошо знаетъ измѣнчивость своего Шимка, шутливо ревнуетъ его за это, но стоитъ только Шимку вернуться къ ней, она забудетъ все.

Шестая дѣвушка поетъ о жатвѣ подъ лучами лѣтняго солнца, о поднесеніи хозяину вѣнка изъ колосьевъ и сладномъ отдыхѣ послѣ полевыхъ трудовъ.

Слѣдующая дѣвушка тоскуетъ по своемъ возлюбленномъ—охотникѣ. Не желая разставаться съ нимъ, она готова служить ему собакой, отыскивать для него звѣря и всюду слѣдовать за своимъ милымъ.

Восьмая дѣвушка прощается съ волами, которыхъ она пасетъ въ послѣдній разъ, такъ какъ она уже обручилась съ парнемъ. Заключительная строфа ея пѣсни, представляющая перефразировку первой строфы, показываетъ, что ей жаль разстаться для неизвѣстнаго будущаго съ дѣвичьей свободой и привольемъ луговъ.

¹⁾ Въ чемъ состояла эта забава, въ настоящее время трудно опредѣлить. Проф. Брикнеръ полагаетъ, что она происходила слѣдующимъ образомъ: кого-нибудь заставляли нести на рукахъ черезъ воду человека, въ которому былъ привязанъ вѣтъ, издававшій при этомъ оглушительный крикъ. (Archiv für slavische Philologie VIII. B. 480 S.).

Слѣдующая девятая пѣснь посвящена горю обманутой невинной дѣвушки, судьба которой сопоставлена съ извѣстной легендой о Филомелѣ.

Десятая дѣвушка поетъ о любви къ воину, который долженъ покинуть свою милую. По этому поводу она желаетъ всякаго зла тому, кто первый выдумалъ войну:

Jakie ludzkie głupie sprawy,
 Szukać śmierci przez bój krwawy!
 A ona i tak człowieczu
 Urad ma na dobrej pieczy.

Она готова раздѣлить военные труды своего возлюбленнаго. Ей хочется только одного, чтобы онъ вернулся и сохранилъ ей свою вѣрность.

Одиннадцатая дѣвушка обращается къ музыканту съ просьбой воспѣть на гусляхъ прелести Дороты, которая сравнивается далѣе съ мѣсяцемъ между звѣздами. Ея лицо подобно цвѣтамъ розъ и лилій, чело какъ мраморъ, очи черныя, какъ уголь, уста, какъ кораллы. Главнымъ ея достоинствомъ является отсутствіе гордости, очень рѣдкое при такой красотѣ. О Доротѣ говоритъ поэтъ:

Tymieś ludziona wszystkim miła
 I mnieś wiecznie zniewoliła,
 Przeto cię me głośnie strony
 Będą sławić na wsze strony.

Двѣнадцатая заключительная пѣсня посвящена описанію радостей сельской жизни:

Wsi spokojna, wsi wesoła,
 Który głos twej chwale zdoła,
 Kto twe wczasy, kto pożytki
 Może wspomnieć zaraz wszystkie?
 Człowiek w twej pieczy uczciwie,
 Bez wszelakiej lichwy żywie,
 Pobożne jego staranie
 I bezpieczne nabywanie.

Въ слѣдующихъ прекрасныхъ строкахъ говоритъ поэтъ о деревенскихъ занятіяхъ:

Oracz pługiem zarznie w ziemię,
 Ztąd i siebie i swe plemię,

Ztąd roczną czeladź i wszystkie
Opatruje swój dobytek.

Jemu sady obradzają,
Jemu pszczoły miód dawają,
Nań przychodzi z owiec wełna
I zagroda jagniąt pełna.

По окончании трудовъ начинаются веселыя пѣсни и танцы. На досугѣ хозяинъ можетъ развлечься охотой или рыбной ловлей. Его подруга тѣмъ временемъ также несетъ свои обязанности:

Za tym sprzętna gospodyni
O wieczery pilność czyni,
Mając doma ten dostatek,
Że się obejdzie bez jatek.
Ona sama bydło liczy,
Kiedy z pola idąc ryczy,
Ona i spuszczać pomoże;
Męża wzmaga jako może.

Ея примѣръ приучаетъ дѣтей къ такому же трудолюбію.
Въ подобныхъ пѣсняхъ прошла цѣлая ночь:

Dzień tu; ale jasne zorze
Zapadłyby znowu w morze,
Niżby mój głos wyrzekł wszystkie
Wieśne wczasy i pożytki.

Такими словами заканчиваетъ поэтъ свое произведение.

Какъ цѣлое, „Sobótka“ очень красива. Въ рядѣ веселыхъ, грустныхъ, любовныхъ, шутивыхъ и даже дидактическихъ пѣсень прекрасно отразились различныя настроенія и чувства.

Одна изъ дѣвушекъ пуста и шаловлива:

To moja największa wada,
Że tańcuję bardzo gada.

Работа при лѣтнемъ зноѣ не омрачаетъ ея веселости. Никакая любовная забота не отравляетъ ея хорошаго настроенія духа. За ней слѣдуютъ двѣ влюбленныя, при чемъ каждая имѣетъ свою особенность. Одна (четвертая), нѣжная и серьезная, рветъ цвѣты для своего пастуха, думаетъ о немъ во снѣ и на яву; хотя она и увѣрена въ его взаимности, но, всетаки, чего-то боится, она проситъ подругъ не разрушать ея счастья, она—ревнива. Другая съ весе-

лымъ легкомыслиемъ жалуется на своего вѣтреннаго поклонника, зарекается вѣрить ему и говорить, что глупа была, когда его слушала, но стоитъ только Шимку вернуться къ ней,—она, правда, не станеть вѣрить ему, но, всетаки, будетъ охотно слушать его сладкія рѣчи. Третья влюблена въ охотника, которому готова служить даже собакой, лишь бы онъ бралъ ее съ собою на охоту:

Żadna gestwa, żadne głogi
 Nie przekażą mojej drogi,
 Tak lato, jako śrzeżogę
 Przy tobie ja wytrwać mogę.

Здѣсь подчиненіе и любовь доходятъ до полнаго самоотверженія. Десятая дѣвушка съ грустью жалуется, что ея возлюбленный ушелъ на войну. Она проявляетъ не менѣе сильное самоотверженіе, чѣмъ та, которая готова всюду слѣдовать за охотникомъ. Ея любовь также не знаетъ границъ. Гораздо красивѣе слова тѣхъ дѣвушекъ, которыя не думаютъ о Шимкахъ, охотникахъ и солдатахъ, а поютъ простыя пѣсни въ честь теплаго лѣта, зеленыхъ лѣсовъ и зрѣющаго хлѣба. Въ этихъ пѣсенкахъ слышится живая и горячая любовь къ природѣ и, можетъ быть, невольное для самого автора изображеніе чисто польскаго народнаго быта. „*Wieś spokojna, wieś wesola*“ это уже не Лаціумъ, не Аркадія, а простая польская деревня. Таковы, напримѣръ, шестая пѣсня, восьмая и, въ особенности, послѣдняя. Между ними есть одна, которую поютъ, очевидно, не дѣвушки, а самъ поэтъ. Это именно пѣсня о Доротѣ. Одиннадцатая пѣсня возникла подъ сильнымъ вліяніемъ Аріоста, который въ VII пѣсни Орланда слѣдующими словами описываетъ прелести чародѣйки Альчины:

Sola di tutti Alcina era piu bella
 Si come è bello il sol più d'agni stella.

Кохановскій говоритъ о Доротѣ:

Co miesiąc między gwiazdami
 Toś ty jest między dziewczkami.

Даже такой чисто народный образъ, какъ:

Twoja kosa rozczosana,
 Jako brzoza przyodziana.

въ первой своей части заимствованъ у Аріоста:

Con bionda chioma lunga et annodata.

Вторая половина этой строфы нашего поэта также имѣетъ себѣ аналогію въ итальянскомъ текстѣ:

*Spargeasi per la guancia delicata
Misto color di rose e di ligustri.*

Слѣдующій образъ:

*Brwi wyniosłe i czarniawe
A oczy dwa węgla prawe.*

также взять у Ариоста:

*Sotto due negri e sottilissimi archi
Son due negri ochi.*

Если прослѣдить далѣе за отдѣльными образами Кохановскаго, то почти всѣмъ имъ можно найти соотвѣтствіе у Ариоста, напримѣръ: зубы Дороты „*szczere perłowe*“, у Альчины также:

Quivi due filze son di perle elette.

szyja pełna okazała—*il collo e tondo*; *piersi jawne*—*il petto celmo e largo*; *reka biała*—*e la candida man spesso si vede.*

Въ этой пѣснѣ одно только выраженіе:

*A kiedy cię pocałuje.
Trzy dni w gębie cukier czuje.*

не можетъ считаться вполне удачнымъ. Образы, которыми Кохановскій описываетъ Дороту, намъ уже неоднократно встрѣчались въ его эротической лирикѣ.

Главную заслугу этого произведенія составляетъ его чисто національный характеръ. Ничего здѣсь нѣтъ аркадскаго и буколическаго. Кругозоръ этихъ дѣвушекъ, ихъ представленія и чувства, ихъ горе и радости, взяты цѣликомъ изъ сельской народной жизни. Парень, ушедшій на войну, охотникъ, цѣлые дни проводящій въ лѣсу—все это живые люди, далекіе отъ условности аркадскихъ пастушковъ. Встрѣчающіеся во всѣхъ двѣнадцати пѣсняхъ только два античныхъ образа, Филомелы и лѣсныхъ фавновъ, ничуть не вредятъ оригинальности этого произведенія. Ему присущи національныя черты, благодаря тому, что поэтъ живя въ Чернолѣсѣ, близко присмотрѣлся въ народной жизни, изучилъ ея обычаи, пѣсни и нравы. Не мало также выигрываетъ „*Sobótka*“, благодаря звучному и легкому восьмисложному размѣру, переходящему мѣстами въ настоящій хорей.

Нѣкоторые критики придаютъ только что разобранному нами произведенію аллегорическій характеръ, въ духѣ славянской мѣо-логіи¹⁾. Дѣнадцать дѣвушекъ, по словамъ Рымаркевича, представля-ютъ символы дѣнадцати мѣсяцевъ года, четыре времени котораго изображаютъ четыре стадіи любви солнца къ землѣ. Все это объ-ясненіе кажется намъ нѣсколько натянутымъ въ примѣненіи къ произведенію Кохановскаго. Не подлежитъ сомнѣнію, что оно со-здано, дѣйствительно, на фонѣ обрядовой поэзіи, слѣды которой раз-сѣяны въ отдѣльныхъ пѣсняхъ этого произведенія, но утверждать, чтобы оно цѣликомъ основывалось на культѣ солнца, кажется намъ слишкомъ смѣлой и малоубѣдительною гипотезой, такъ какъ ни въ одной изъ его пѣсень мы не видимъ ясно выраженныхъ намековъ на славянскую мѣологию. Во всякомъ случаѣ, „Sobótka“ имѣетъ громадное значеніе въ польской литературѣ, какъ первый опытъ изображенія народной жизни. Еще одно остается намъ сказать о ней: здѣсь, въ девятой пѣснѣ о Филомелѣ, мы имѣемъ первую бал-ладу на польскомъ языкѣ.

IV.

Второе безкоролье и отношеніе къ нему Кохановскаго. Четвертая ода. Четыр-надцатая пѣснь второй книги. Ода „In conventu Stescensi“. Рѣчь Кохановскаго на сеймѣ и возраженія противъ нея Сѣницкаго. Пятая пѣснь второй книги. Эпи-тафія Станиславу Струсю. Ода „In conventu Varsoviensi“. Восьмая пѣснь второй книги. Стихотвореніе „Gallo Crocitanti“. Басня „О пѣтухѣ“ по рукописи, откры-той проф. Бриенеромъ.

Въ то самое время, когда состоялась свадьба Кохановскаго съ Доротой Подлѣдовской (въ 1575 г.), когда его завѣтныя желанія испол-нились и въ душѣ воцарился ясный покой семейнаго счастья, поли-тической горизонтъ его родины покрывался грозными тучами, пред-вѣщавшими опасную будущность для Рѣчи Посполитой. Недавно из-бранный королемъ Генрихъ Валуа убѣжалъ ночью во Францію тайкомъ, какъ воръ, навлекши страшный позоръ на Польшу, ко-рону которой онъ бросилъ, какъ ненужную вещь. Къ этому приба-вились еще обычные смуты безкоролья, снова выдвинулась впередъ австрійская кандидатура, уже съ императоромъ во главѣ; снова шведы, русскіе и турки обратили все свое вниманіе на беззащитную

¹⁾ Rymarkiewicz. Jana Kochanowskiego „Pieśń Świętojańska o sobótce“. Poznań. 1884.

Польшу, терзаемую внутренними религиозными и политическими раздорами. Шляхетская партия держалась за Паста, сенаторы за императора, нѣкоторые желали возвращенія Генриха, одни выставяли шведскую, другіе московскую кандидатуру. Въ виду такого положенія дѣлъ нашъ поэтъ, хотя и переживалъ минуты полного личнаго счастья, всетаки не могъ остаться равнодушнымъ къ судьбѣ горячо любимаго отечества. Его пугало неизвѣстное будущее. Прежде всего Кохановскаго должна была возмущать царившая повсюду путаница понятій и разногласіе во мнѣніяхъ. Въ политическихъ дѣлахъ, также какъ и въ своей частной жизни, онъ считалъ хорошимъ только то, что отличается постоянствомъ, спокойствіемъ и находится въ равновѣсіи. Внутреннія и внѣшнія неурядицы глубоко западали въ чуткую душу поэта, который всѣми силами старался помочь своимъ совѣтомъ, какъ разобраться во всѣхъ этихъ затрудненіяхъ. Свое слово по поводу даннаго вопроса высказалъ онъ въ четвертой одѣ „Ad Concordiam.“¹⁾ Будучи увѣренъ въ томъ, что разногласіе и раздоры вредны, въ особенности въ рѣшительныя и трудныя для государства минуты, онъ выступилъ снова съ горячей проповѣдью единодушія. Такое стремленіе къ согласію было его искреннимъ убѣжденіемъ, которое онъ выразилъ гораздо раньше, при менѣ тяжелыхъ обстоятельствахъ, въ стихотвореніи „Zgoda.“ Ода „Ad Concordiam“ начинается также молитвой къ богинѣ согласія, „лучше котораго нѣтъ ничего на землѣ“, чтобы она взглянула благосклоннымъ окомъ на поляковъ, усмирила слѣпыя раздоры народа, а готовое обагриться братскою кровью оружіе обратила противъ татаръ и турокъ. Судя по этому окончанію, оду можно отнести ко времени уже послѣ Стенжицкаго сѣзда, но одинаково возможно видѣть здѣсь поэтическое прозрѣніе результатовъ несогласія.

Можетъ быть, въ это же время, когда всюду господствовали интриги и возмущенія, когда даже сенаторы, поглощенные исключительно своими личными интересами, не могли похвалиться безкорыстіемъ, была написана четырнадцатая пѣснь второй книги²⁾, которая вошла въ видѣ второго хора въ драму „Odprowa posłów greckich.“

¹⁾ См. W. P. III. 264.

²⁾ См. W. P. I. 321.

Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie
 A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie,
 Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono
 I zwierzchności nad stadem bożem zwierzono,—
 Miejcie to przed oczyma zawsze swojemi,
 Żeście miejsca zasiedli Boże na ziemi,
 Z którego macie nie tak swe własne rzeczy,
 Jako wszystko ludzki mieć rodzaj na pieczy.

Тагими словами, полными величія и правды, нашъ поэтъ призываетъ людей, правящихъ государствомъ, не забывать своей отвѣтственности передъ Богомъ,

Któremu kiedykolwiek z spraw swych uczynić
 Poczet macie, trudnoż tam krzywemu winić.
 Nie bierze ten pan darów, ani się pyta,
 Jeśli to chłop, czyli się grofem poczyta,
 W siermiędzeli go widzi, w złotychli głowach,
 Jeśli namniej przewinił, być mu w okowach.

Съ ихъ грѣхами не могутъ сравниться проступки частныхъ лицъ, которые не имѣютъ значенія для государства, между тѣмъ какъ

Przełożonych występki miasta zgubiły
 I szerokie do gruntu carstwa zniszczyły.

Эта пѣснь упрекаетъ тѣхъ, которые находятся у кормила власти. Въ Польшѣ всегда имѣли руководящее значеніе въ дѣлахъ правленія сенаторы, вліяніе которыхъ особенно усиливалось во время безкоролья. Множественное число лицъ, къ которымъ обращено это стихотвореніе, можетъ обозначать, правда, королей вообще, но подъ ними могли подразумѣваться польскіе магнаты, бывшіе полновластными государями въ своихъ обширныхъ имѣніяхъ.

Если-бы Кохановскій имѣлъ въ виду однихъ только королей, онъ не выразился бы такъ, что Богъ не смотритъ на то, „czy kto chłop, czyli się grofem poczyta“. Можетъ быть, къ этимъ графамъ относится ядовитый намекъ, что Богъ не беретъ даровъ, что передъ Нимъ невозможно вывернуться, что придется дать Ему отчетъ въ своихъ дѣлахъ, что не слѣдуетъ заботиться исключительно о своихъ личныхъ интересахъ.

Эта пѣснь написана въ строго выдержанномъ классическомъ стилѣ, полна серіозности и мудрой простоты.

Всѣ разногласія, о которыхъ мы говорили, достигли особенной силы на Стенжицкомъ съѣздѣ. Тамъ царствовала полный хаосъ: сторонники Генриха мечтали о его возвращеніи, приверженцы Австрійскаго императора рассчитываютъ одержать верхъ, вербуютъ на свою сторону все большее и большее количество голосовъ и даже, вопреки обычаямъ, не жалѣютъ денегъ для этой цѣли. Всѣ тянутъ въ разныя стороны: Литва въ одну, Польша въ другую, Пруссія въ третью, сенатъ и рыцарство стремятся къ совершенно противоположнымъ цѣлямъ. Каждый хочетъ поставить на своемъ и, предвидя неминуемую неудачу, втихомолку работаетъ надъ тѣмъ, чтобы съѣздъ разошелся безъ всякихъ результатовъ. Присутствуя тамъ, Кохановскій былъ, вѣроятно, на сторонѣ австрійской кандидатуры, за которую стояли его пріатели, Мышковскій, Дудычъ и Николай Фирлей, староста казимирскій. Однако, нашъ поэтъ еще колеблется, какъ видно изъ начала его третьей оды „In conventu Stesicensi.“¹⁾

Въ этой одѣ поэтъ сравниваетъ шляхту, собравшуюся на Стенжицкій съѣздъ со стадомъ, лишеннымъ пастыря:

Pastore qualis grex viduus suo
 Mæret, nec herbae, nec laticum mem̄or,
 Quem nox et instantes tenebrae
 Sollicitantque ferae rapaces.

Далѣе онъ выражаетъ колебаніе, ждаты ли возвращенія Генриха, что было-бы самымъ лучшимъ, или оставить всякую надежду на это. Въ послѣднемъ случаѣ сарматамъ придется выбирать новаго коричаго для своего государственнаго корабля. При этомъ онъ совѣтуетъ своимъ согражданамъ не льститься на щедрыя обѣщанія:

Virtute ad amplos niti honores,
 Non opibus decuit dolosis.

и усиленно просить ихъ научиться повиноваться тому королю, который будетъ избранъ. Въ заключеніе онъ совѣтуетъ не бояться враговъ, но и не относиться къ имъ черезчуръ легкомысленно. Здѣсь, какъ мы видимъ, Кохановскій еще допускаетъ возможность возвращенія Генриха и желаетъ этого, такъ какъ поляковъ связываетъ данная ему присяга и, кромѣ того, оставленіе короны позорно для

¹⁾ См. W. P. III. 261.

нихъ. Если Богъ не исполнитъ этого желанія, поэтъ предостерегаетъ своихъ согражданъ отъ денегъ, которыя будутъ предлагать имъ различные кандидаты на престолъ. Слова о необходимости повиноваться, очевидно, вызваны видомъ царившей тогда анархіи.

8 іюня разошелся Стенжицкай съѣздъ безъ всякихъ результатовъ. Осенью долженъ былъ собраться сеймъ для выбора новаго короля. Тѣмъ временемъ исполнились мрачныя предсказанія Кохаховскаго: состоялся опустошительный набѣгъ татаръ, угрожавшій даже Кракову и Великой Польшѣ. Тогда именно, было написано одно изъ самыхъ патриотическихъ стихотвореній нашего поэта: пятая пѣснь второй книги. ¹⁾

Wieczna gromota i niezagrodzona
 Szkoda, Polaku: ziemia spustoszona
 Podolska leży, a pohaniec sprośny,
 Nad Niestrem siedząc, dzieli łup żałośny.

Невѣрный турокъ спустилъ своихъ собакъ, которыя напали на польскихъ ланей, и забралъ ихъ вмѣстѣ съ дѣтьми; одни изъ послѣднихъ проданы за Дунай туркамъ, другія загнаны въ орду. Шляхетскія дочери стелютъ ложа для бусурманскихъ псовъ. На Польшу нападаютъ дивія орды разбойниковъ, подобно тому, какъ волки кидаются на брошенное стадо, лишенное пастуха и чуткихъ собакъ. „Гдѣ намъ сладить съ турками, если мы не можемъ одолѣть такого ничтожнаго врага, какъ татары“.

Zetrzy sen z oczu a czuj wszas o sobie
 Cny Lachu!

воскликаетъ поэтъ съ гордымъ негодованіемъ, призывая своихъ соотечественниковъ смыть непріятельской кровью тяготѣющій надъ ними позоръ. *Wsiadamy?* съ ироніей продолжаетъ онъ:

Czy nas półmiski, trzymają?
 Biedne półmiski. czego te czekają?

Затѣмъ, въ порывѣ пламеннаго патриотизма, поэтъ обращается къ полякамъ:

Skujmy talerze na talery, skujmy
 A żołnierzowi pieniądze gotujmy!

¹⁾ См. W. P. I. 310.

.
Dajmy—a naprzód dajmy sami siebie!

Въ заключеніи поэтъ опять впадаетъ въ разочарованіе и съ горечью говоритъ:

Nową przyowieść Polak sobie kupi,
Że i przed szkodą i po szkodzie głupi.

Къ этому же времени относится эпитафія Струсю (49 фрашка III книги.) ¹⁾

Поэтъ говоритъ, что не новость для семейства Струсей заваливать своими тѣлами дорогу злымъ врагамъ: такъ гибли всѣ предки и родственники Станислава Струся, который также погибъ славной смертью въ крови язычниковъ:

Stanisław Struś tu leżę, nie wchodziż poganinie!
Sprawiedliwa waśń i po śmierci nieominie. ²⁾

7 ноября отерлся въ Варшавѣ избирательный сеймъ, а 25 ноября впервые выступилъ здѣсь Янъ Кохановскій въ качествѣ публичнаго оратора.

По свидѣтельству Ожельскаго, „рѣчь его, челоѣвка неглупаго, казалась не соотвѣтствующей его славы. Однако-же, изъ уваженія къ поэту, ее выслушали благосклонно“.

Кохановскій началъ свою рѣчь упоминаніемъ о необходимости при выборѣ короля помнить предостереженіе, данное Богомъ, еврейскому народу. Такое вступленіе носить чисто теоретическій, даже нѣсколько проповѣдническій характеръ. Сѣнницей, подкоморій холмскій, пребываетъ поэта возраженіемъ, что небесное и земное царство двѣ совершенно разныя вещи. Кохановскій продолжаетъ свою рѣчь и выражаетъ ту мысль, что выборъ своего согражданина, а не чужеземца, дать основаніе всѣмъ придавать такому факту совершенно иное объясненіе, будто польская корона такая ничтожная вещь, о которой никто не хочетъ заботиться. Маршалокъ снова пребываетъ поэта, торжественно указывая ему на посольства отъ иностранныхъ

¹⁾ См. W. P. II. 422.

²⁾ На его смерть написалъ прекрасное стихотвореніе, проникнутое горячимъ чувствомъ, Николай Шажинскій. Это произведеніе стоитъ несравненно выше эпитафіи Кохановскаго.

государей, домогающихся польской короны. Когда Кохановскій говорить далѣе, что надежда, которую имѣетъ каждый шляхтичъ на полученіе польской короны, не можетъ привести къ добру, Сѣнницкій прерываетъ его такимъ аргументомъ, который долженъ былъ понравиться всей шляхтѣ: „разумѣется, если шляхтичъ будетъ достоинъ того“. Наконецъ, когда поэтъ предлагаетъ кандидатуру младшаго сына царя Іоанна Грознаго и совѣтуетъ избрать его, чтобы онъ заранѣе могъ приучиться въ повиновенію сенату, какъ жеребенокъ, котораго объѣзжаетъ умѣлый ѣздовецъ, маршалокъ приводитъ наиболѣе популярный тогда аргументъ противъ этого: „наши паны-ѣздовки разной фантазіи, и настроенія и руководство ихъ не безопасно“. Однимъ словомъ, Кохановскій, при первомъ-же своемъ выступленіи на ораторское поприще, не смотря на всю искренность своихъ словъ и обширную гуманистическую эрудицію, потерпѣлъ полное пораженіе со стороны Сѣнницкаго, опытнаго парламентариста и популярнаго главы шляхетской партіи.

Причины, побудившія Кохановскаго примкнуть къ сторонникамъ Австрійскаго императора, были, по всей вѣроятности, таковы: прежде всего ему хотѣлось покрыть позоръ, нанесенный польской коронѣ бѣгствомъ Генриха Валуа. Это могло быть, съ его точки зрѣнія, достигнуто согласіемъ самого императора сѣсть на польскомъ престолѣ. Озаренная его блескомъ, Польша импонировала бы Франціи, Турціи и Московскому государству. Кромѣ того, Кохановскій, присмотрѣвшись къ порядку, царившему во всѣхъ европейскихъ государствахъ, надѣялся, что Австрійскій императоръ, привыкшій къ сильной наслѣдственной власти, разсѣтетъ анархію, свившую себѣ прочное гнѣздо въ Рѣчи Посполитой. Избраніе же короля изъ поляковъ казалось нашему поэту опаснымъ, потому что вызывало зависть и вражду къ новому королю со стороны тѣхъ, которые имѣли равныя съ нимъ права на корону. Какъ мы уже выше замѣтили, на подобные взгляды поэта могли вліять его друзья, въ расчеты которыхъ входило склонить на свою сторону Кохановскаго, такъ какъ его имя пользовалось тогда большой популярностью. Легко убѣжденный ихъ доводами, онъ примкнулъ къ австрійской партіи и сказалъ свою рѣчь на сеймѣ, побуждаемый къ тому Дудычемъ и Мышковскимъ. Рѣчь Кохановскаго сохранилась только въ пересказѣ Ожельскаго, который передаетъ также и рѣчь, произнесенную въ сенатѣ Мышковскимъ. Между этими двумя рѣчами мы видимъ такое же сходство, какъ

между „Сатиромъ“ Кохановскаго и рѣчью подваницера на сеймѣ 1563 г. Такъ, напримѣръ, неясное въ рѣчи нашего поэта упоминае-
 ніе о предостереженіи Божьемъ еврейскому народу встрѣчается
 также у Мышковскаго въ слѣдующемъ видѣ: „Самъ Богъ предска-
 залъ Самуилу, что Пясть установитъ королевское право и станетъ
 брать у подданныхъ коней, сыновей и слугъ.... и немного королей
 пястовъ, отличныхъ отъ него (Саула), насчитывали еврей“. Какъ
 видно изъ этого примѣра, Мышковскій позволяетъ себѣ громадную
 натяжку въ толкованіи даннаго мѣста изъ священнаго Писанія, гдѣ
 рѣчь идетъ не о царѣ еврей, а о царѣ вообще. Въ дальнѣйшемъ раз-
 витіи мысли у Кохановскаго также встрѣчается сходство съ Мыш-
 ковскимъ. Очевидно, послѣдній, не имѣя возможности лично говорить
 среди представителей шляхты, поручилъ это нашему поэту. Однако
 послѣдній не во всемъ согласился съ Плоцкимъ епископомъ, обнару-
 живая иногда нѣкоторую самостоятельность въ сужденіяхъ. Мышков-
 скій совершенно исключаетъ кандидатуру Московскаго царевича, а
 Кохановскій ставитъ сначала австрійскую и, въ случаѣ ея неудачи,
 предлагаетъ московскую. Послѣдняя мысль могла быть вызвана, глав-
 нымъ образомъ, желаніемъ добиться безопасности Инфлянтовъ и
 Литвы. Въ томъ же духѣ была написана популярная тогда рѣчь Цѣ-
 сльскаго „Ad Equites, Legatos etc“, который совѣтывалъ избрать
 преемникомъ бездѣтному Сигизмунду Августу или сына Іоанна Гроз-
 наго, или архцгерцога Эрнеста. Вѣроятно, и эта рѣчь повліяла на
 Кохановскаго, который оказался, однако, менѣе наивнымъ, чѣмъ ея
 авторъ, мечтавшій, что Іоаннъ дастъ за сыномъ часть своего госу-
 дарства, примыкающую къ Литвѣ. Какъ бы то ни было, рѣчь на-
 шего поэта имѣла свои разумныя основанія и вовсе не была такъ
 недостойна славы Кохановскаго, какъ выставляетъ это Ожельскій.
 Въ ней нашъ поэтъ показалъ даже политическую дальновидность, ко-
 торая выразилась въ мнѣніи, что надежда каждаго шляхтича на ко-
 рону принесетъ дурные результаты. Послѣ неудачи, понесенной Ко-
 хановскимъ въ качествѣ оратора, онъ выступаетъ уже только исклю-
 чительно въ стихотвореніяхъ. Къ концу сейма написана имъ ода
 „In conventu Varsoviensi“¹⁾, которую поэтъ начинаетъ вопросомъ,
 будетъ ли повелителемъ Сарматіи императоръ, или скипетръ доста-
 нется храброму Баторію. (Эти оба кандидата остались до конца

¹⁾ См. W. P. III. 263.

сейма). Поэтъ впадаетъ въ равнодушіе, онъ не слишкомъ уже заботится о томъ, кто получить корону. Объ одномъ только онъ молитъ Бога, чтобы тотъ король, который сядетъ на польскомъ престолѣ, былъ хорошъ, исцѣлилъ раны отечества и разномысліе привелъ къ единомышленію, чтобы возстановилъ „древній порядокъ“ (обычный ретроспективный идеалъ Кохановскаго), прекратилъ роскошь и распущенность, возобновилъ правосудіе, уничтожилъ мздоимство, возродилъ въ сердцахъ молодежи рыцарскій духъ и прогналъ скинзовъ за Днѣпръ.

Эта ода отличается холоднымъ, академическимъ характеромъ и показываетъ, что поэтъ, въ самомъ дѣлѣ, уже не заботился съ прежней энергіей о томъ, кому выпадетъ на долю стать королемъ Рѣчи Посполитой.

Почти тѣмъ же фаталистическимъ характеромъ отличается восьмая пѣснь первой книги¹⁾, написанная къ Фирлею.

Nie fraszuj sobie Mikołaju głowę,
Kto ma być królem

говоритъ поэтъ, потому что уже готовый декретъ давно лежитъ передъ Богомъ. Напрасно поляки заботятся объ избраніи, не лучше ли положиться на судьбу, повѣсить въ полѣ на столбѣ корону, чтобы она досталась, если не самому мудрому, то самому счастливому. Въ послѣднихъ словахъ нѣтъ уже равнодушія, которое замѣнилось горькой ироніей на обычную случайность избранія. Какъ бы въ доказательство своихъ послѣднихъ словъ, что тотъ получить корону, кто больше за нею поспѣшитъ, онъ пишетъ эпиграмму на императора¹⁾, за котораго самъ недавно стоялъ на варшавскомъ сеймѣ:

Jam regale potens gestat diadema Batorrheus
Tu, magne Caesar, da veniam, cessator es.

Вскорѣ послѣ бѣгства Генриха одинъ изъ его приближенныхъ, Депортъ, сочинилъ злое стихотвореніе: „Adieux à la Pologne“, насквозь проникнутое клеветою, съ цѣлью оправдать неблагородный поступокъ французскаго короля. Кохановскій принялъ близко къ сердцу это новое оскорбленіе и жестоко отомстилъ за него стихотвореніемъ

¹⁾ См. W. P. I. 472.

²⁾ См. W. P. III. 252.

„Gallo crocitanti“¹⁾). Самое имя Gallus имѣетъ здѣсь тройное значеніе: французъ, пѣтухъ и развратникъ. Кромѣ этого въ данномъ стихотвореніи заключается немало другихъ ядовитыхъ намековъ.

Спрашивая бѣгущихъ французовъ о причинѣ ихъ позорнаго поступка, поэтъ говоритъ, что Польша не Тринакрійскій берегъ и не какая-нибудь земля, пользующаяся дурной славой. Польша самый гостепріимный край, она только тирановъ не можетъ сносить:

. . . . ei verba prius, nunc terga dedisti
Continuasque fugam, quasi musca agitere canina.

Бѣглецы оправдываются сѣверными холодами, чему поэтъ тѣмъ болѣе удивляется, что французы, происходя отъ благородной крови троянцевъ, обѣщали прогнать татарскія орды къ Ледовитому океану и пойти войною на Москву:

Atqui Galle prius quam sit tibi copia Moschi,
Et prius in Scythia tua quam tentoria figas,
Perque lacus magnos, perque humani inscia cultus
Arva, nivesque altas glaciemque et flumina vasta
Ire necesse habeas, et densas ducere turmas:
Ut tibi non tantum cum Moschis atque Tataris
Sit depugnandum: sed hiems quoque saeva domanda
Et Boreas raptor, bellatori aemulus Austro.

„Теперь, продолжаетъ поэтъ, вы, французы, грѣтесъ у теплаго очага. Что, если-бы война въ самомъ дѣлѣ потревожила васъ? Вы бы навѣрно обратились въ позорное бѣгство:

O vere Galli: nam quorsum est dicere Gallae
Maeonio ritu: Galli, inquam, quaerite coelum
Mitius, et patriam cursum convertite ad Idam.

Ваше дѣло принимать участіе въ оргіяхъ въ честь Цибелы:

Ite sacrum aucturi numerum, famulique Cybelles,
Magnam seminari matrem stipate corona.

Для нашего края нужны мужи, которые не боялись бы зимы. Прежде, чѣмъ отзываться съ такимъ пренебреженіемъ о Польшѣ, зайдите въ наши гостепріимныя хаты и посмотрите, что въ нихъ дѣлается:

¹⁾ См. W. P. III. 354.

Femina cum pueris cubat una, susque nefrendes
 Propter alit, stabulant vituli: Gallos quoque, amice
 Claudimus his iidem septis, totamque cohortem,
 Ni faciamus, hiems leviter praefocet amictos.

Тѣ упреки въ чванствѣ и легкомысліи, которыми вы награждаете насъ, составляютъ неотъемлемое качество вашего народа. Вы хотѣли дать намъ короля.... Разсказывать подробно обо всемъ я не стану, предоставляя это потомкамъ...

Perpoti mensis instertimus: Immo ita somnum
 Demersi fuimus (nam quis sperasset) in altum,
 Ut cum per tacitam subrepstis moenia noctem
 Tota cohors atque immissis fugeretur habenis,
 Nostrum sentiret nemo, vigilesque lateret.

Ты, французъ, не станешь отрицать, какъ хорошо мы тебя приняли и всѣми силами старались показать свое расположение къ вамъ,

Tu vero ingratus fugitivus, barbarus, hospes
 Officium in vitium trahis, et temeto conspergis
 Non tantum me, sed proprios etiam ebrie versus“.

Далѣе поэтъ радуется тому, что таковой широкій пиръ до охмѣленія произошелъ не во Франціи, гдѣ, заснувши, можно навѣки не просыпаться. (Здѣсь Кохановскій намекаетъ на Варроломеевскую ночь).

„Unde autem“ продолжаетъ онъ:
 sit paupertas tam cito nostra
 Cognita, mirari nequeo satis, optime Galle.
 Per breve enim certe nobiscum tempus eratis,
 Nec spatium explorandi habuistis, si qua Polono
 Terra ferax frugum, si quod mare, si qua metalla,
 Munitaeve forent urbes.

Вѣдь французы думали раньше, что всякаго изъ нихъ, будь онъ даже пѣтухъ, поляки встрѣтятъ съ удивленіемъ и стануть осыпать золотомъ.

. Hanc ubi frustra
 Spem se aluisse vident, natibusque incedere nudis
 Magnanimos Heroas et, velut ante, necesse,
 Paupertatis nos damnent, Irosque saluent,

Vulpes ut trabe dependens farcimen ab alta
Restim appellabat, quod contrectare nequibat.

Въ заключеніе поэтъ молить боговъ, чтобы французъ никогда не возвращался въ Польшу,

Magna suum potius vobis Germania regnum
Deferat: ut sceptris insignitosque coronis
Clam fugere in patriam, titulosque referre fugaces
Ipse quoque aspiciat Rhenus, quod Vistula vidit.

Уже впоследствии, когда въ Кохановскомъ успѣло остыть то искреннее негодованіе, которымъ проникнуто было вышеупомянутое стихотвореніе, онъ въ 1577 году написалъ, посвященную Николаю Фирлею, каштеляну Бѣцкому, сатирическую басню: „На избраніе, коронацію и бѣгство пѣтуха“.

Это стихотвореніе начинается воспоминаніемъ о собакѣ, избранной нѣкогда венгерцами въ короли. Пользуясь всевозможной роскошью и рѣдкими блюдами, она не могла побѣдить въ себѣ природной склонности и бросилась съ престола за костью. Подобный же случай произошелъ въ Польшѣ, когда Августъ былъ призванъ въ селенія боговъ. Тамъ, именно, рыцарство и многочисленный сенатъ провозгласили королемъ пѣтуха. Какъ только онъ надѣлъ на свой гребень золотую корону, тотчасъ же направился въ великолѣпный дворецъ, съ надменнымъ видомъ ударяя огромной шпорой свое приспущенное крыло и безпокойнымъ взглядомъ окидывая свой золотистый хвостъ. Затѣмъ онъ усѣлся между сенаторами, сіяя жемчугомъ и дорогими камнями. Когда начали предлагать различные законы для удовлетворенія государственныхъ нуждъ, обратились и къ нему съ просьбой высказать свое мнѣніе. Мгновенно вездѣ воцарилось молчаніе. Пѣтухъ поднимается, приглаживаетъ перья и чиститъ хвостъ своимъ острымъ клювомъ. Когда ему повезло, что онъ уже достаточно красивъ, онъ взерошилъ свои перья. Между тѣмъ поляки насторожили все свое вниманіе и приготовили книжечки, чтобы записать мудрую рѣчь короля. Вдругъ онъ взлетѣлъ на столъ, трижды взмахнулъ крыльями и такъ рѣзко запѣлъ, что могъ бы разбудить утреннюю зарю и спящихъ коней солнца. Отвѣтомъ ему послужилъ оглушительный хохотъ. Бирючи тщетно стараются водворить порядокъ. Придворная молодежь оглашаетъ королевскій дворецъ невообразимымъ шумомъ. Испуганный владѣлецъ его старается спастись бѣгствомъ. Видя запертую дверь, онъ бросается въ окно и скрывается въ воздухѣ.

Это произведеніе состоитъ изъ 58 латинскихъ стиховъ, въ которыхъ соблюдена форма классическихъ басенъ. Съ эпической подробностью описываетъ поэтъ кичливость пѣтуха, его щегольство и пронзительный крикъ. Интересную черту даетъ намъ Кохановскій въ этой баснѣ, — именно, записываніе выдающихся рѣчей нѣкоторыми изъ присутствовавшихъ на сеймѣ. Не смотря на всѣ достоинства вышеупомянутаго произведенія, Кохановскій, очевидно, не предназначалъ его для печати. Оно сохранилось только въ двухъ рукописяхъ, найденныхъ въ Петербургской Императорской Публичной Библиотекѣ проф. А. Брикнеромъ. Это стихотвореніе показываетъ, что Кохановскій могъ быть и баснописцемъ, если-бы только захотѣлъ писать въ такомъ родѣ.

Во второмъ безкоролевѣ Кохановскій сыгралъ выдающуюся и почетную роль: онъ выразилъ тогда въ своихъ произведеніяхъ чувства цѣлаго народа, откликнулся на нанесенную ему обиду, на его несчастье и указалъ тѣ грѣхи, которые вызвали разбойническое вторженіе дикихъ татарскихъ полчищъ. Онъ сумѣлъ понять, какъ губительны для государства внутренніе раздоры и напомнить о необходимости крѣпкой власти и повиновенія ей. Онъ первый отмѣтилъ опасность искушенія, которое представляется при возможности каждому шляхтичу получить польскую корону. Вообще этотъ періодъ жизни Кохановскаго очень много принесъ для польской литературы. Въ немъ окончательно установился складъ понятій нашего поэта, который достигъ теперь полной зрѣлости своего дарованія.

ГЛАВА VI.

Послѣдніе годы жизни Яна Кохановскаго.

I.

Событія 1577—1578 годовъ. „Odrpawa posłów greckich“. Ея содержаніе. Характеристика дѣйствующихъ лицъ. Слабость драматической композиціи. Вліяніе классическихъ произведеній. Элементы польской жизни, изображенныя въ ней. Ея литературное значеніе. „Orpheus Sarmaticus“.

Мы видѣли, что Кохановскій подъ конецъ элекціи былъ совершенно равнодушенъ къ вопросу, кого выберутъ польскимъ королемъ. Однако, когда корона досталась Стефану Баторію, онъ относится къ послѣднему въ высшей степени сочувственно и даже съ такимъ во-сторгомъ, котораго до тѣхъ поръ не высказывалъ ни передъ кѣмъ. Неизвѣстно, чѣмъ было вызвано такое отношеніе нашего поэта къ новому королю, съ которымъ онъ сталкивался, вѣроятно, весьма рѣдко, такъ какъ проводилъ большую часть времени у себя въ Чер-нолѣсѣ.

Не меньше расположенія начинаетъ высказывать Кохановскій къ Замоискому, имя котораго впервые встрѣчается въ его произведе-ніяхъ только послѣ избранія Баторія.

Всегда готовый откликнуться на нужды своей родины, нашъ поэтъ не переставалъ слѣдить за политическими событіями. Въ 1577 году произошло возстаніе въ Гданскѣ; желая усмирить его и обезпечить польскія границы съ востока, Баторій рѣшилъ объявить наступательную войну Москвѣ, для чего ему необходимо было заручиться согласіемъ сейма по поводу новыхъ налоговъ на военныя потребности. Планамъ Стефана сочувствовали лучшіе люди въ государствѣ.

Тѣмъ не менѣе, на сеймѣ 1578 года послы трехъ воеводствъ: Сѣрадскаго, Краковскаго и Сандомирскаго оказываютъ королю оппозицію, мотивируя ее тѣмъ, что они не получили соотвѣтствующихъ инструкцій отъ сеймиковъ. Опасаясь неудачи, благодаря такому положенію вещей, Замоискій обратился въ нашему поэту съ просьбой написать произведеніе, въ которомъ наглядно подтверждалась бы польза мѣропріятій Баторія. Самымъ лучшимъ политическимъ памфлетомъ могла быть въ данномъ случаѣ драма, которая, будучи представлена на свадьбѣ Замоискаго съ Христиной Радзивиллъ, въ присутствіи многочисленной публики, могла оказать громадное вліяніе на общественное мнѣніе всей шляхты.

Въ половинѣ декабря посылаетъ Замоискій письмо нашему поэту, въ которомъ торопитъ его, такъ какъ свадьба назначена на 12 января. Нужно раздать роли, устраивать репетиціи.... Словомъ, Кохановскому приходилось страшно спѣшить съ окончаніемъ своего произведенія. Отвѣтное письмо нашего поэта обнаруживаетъ, что онъ опасался какъ за художественную, такъ и за политическую сторону своей драмы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, показываетъ въ немъ большую литературную скромность.

Содержаніе драмы „*Odrpawa posłów greckich*“¹⁾ состоитъ въ слѣдующемъ: Улиссъ и Менелай, царь спартанскій, прибыли въ Трою въ качествѣ пословъ, отправленныхъ съ цѣлью переговоровъ о возвращеніи Елены, похищенной Парисомъ. Одинъ изъ почетнѣйшихъ троянскихъ старѣйшинъ, по имени Антеноръ, принялъ ихъ у себя въ домѣ. Требованія пословъ поступили на разрѣшеніе въ царскій совѣтъ. Между тѣмъ Парисъ изъ личныхъ выгодъ старается всякими незаконными средствами пріобрѣсти себѣ тамъ побольше сторонниковъ. Его попытка повліять въ этомъ смыслѣ на Антенора терпитъ полную неудачу. Такова завязка драмы.

Въ самомъ началѣ выступаетъ на сцену Антеноръ и говоритъ о прибытіи греческихъ пословъ, предупреждая троянцевъ, что имъ грозитъ война, въ случаѣ невыдачи Елены. Въ это время входитъ Парисъ и, желая склонить Антенора на свою сторону, вступаетъ съ нимъ въ горячій споръ, который, однако, не приводитъ ни къ какимъ результатамъ. Затѣмъ слѣдуетъ хоръ, который выражаетъ сожалѣніе о томъ, что молодость и здравый разумъ не всегда согласуются

¹⁾ См. W. P. II. 99.

между собой. А Елена тоскуетъ по своимъ соотечественникамъ и, предчувствуя несчастье, полагается во всемъ на судьбу. Елену утѣшаетъ компаніонка („*pani staga*“). Затѣмъ второй хоръ напоминаетъ троянскимъ старѣйшинамъ о важности ихъ обязанностей. Тѣмъ временемъ дурныя предчувствія Антенора и Елены сбываются: сеймъ послѣ бурнаго засѣданія отказывается исполнить требованіе греческихъ пословъ, о чемъ Елену увѣдомляетъ вѣстникъ отъ Париса. Она осталась довольна этимъ извѣстіемъ. Тогда хоръ выражаетъ ту мысль, что радость ея преждевременна. Затѣмъ Улиссъ произноситъ монологъ, въ которомъ самыми мрачными красками рисуетъ троянскіе порядки, продажность государственныхъ людей Трои, распущенность и правдолюбивость ея молодежи, которая совершенно не способна къ военному дѣлу. Послѣ него Менелай призываетъ въ свидѣтели всѣхъ боговъ въ томъ, что онъ не получилъ отъ троянцевъ справедливаго удовлетворенія. Къ небу взываетъ онъ о мщеніи, желая обогреть свой мечъ кровью Александра. Слѣдующій за нимъ хоръ предсказываетъ осаду Трои. Той же мыслью пронизано пророчество Кассандры. Приамъ только тогда подумалъ о защитѣ государства, когда былъ захваченъ греческій плѣнникъ, подтвердившій исполненіе зловѣщихъ предсказаній. Троянскій военачальникъ, въ виду грозящей опасности, въ заключительныхъ словахъ драмы предлагаетъ Приаму возбудить на экстренномъ сеймѣ вопросъ о наступательной войнѣ.

По своему построенію эта драма приближается къ классическому типу, выработанному въ поэтикѣ Аристотеля. Прологъ ея до перваго хора описываетъ недостатки Париса, вторая діалогическая часть посвящена Еленѣ, какъ фатальной виновницѣ всѣхъ несчастій, и заканчивается прекраснымъ хоромъ, осуждающимъ вождей народа за ихъ несправедливость. Въ третьей части разсказанъ весь ходъ совѣщанія о Еленѣ и въ концѣ приведенъ хоръ, который говоритъ, что бракъ Елены съ Парисомъ начался съ раздора и долженъ закончиться несогласіемъ. Четвертая часть и составляетъ, такъ называемый, „*ἐξοδος*“, который является фатальнымъ результатомъ всего, что произошло раньше.

Въ характеристикѣ дѣйствующихъ лицъ Кохановскій также пользовался греческимъ матеріаломъ, какъ и въ цѣломъ замыслѣ драмы.

Антедоръ выступаетъ здѣсь, также какъ и въ Иліадѣ, мужемъ совѣта и разума, горячимъ защитникомъ интересовъ своего отечества и смѣлымъ обличителемъ легкомыслія молодежи.

Менелай изображенъ такимъ же широковѣщательнымъ, какъ рисуется его Иліада.

Улиссъ выражается болѣе отрывисто, преимущественно вопросами, что доказываетъ его хитрость. Елена охарактеризована также согласно Иліадѣ слабой женщиной, которая тоскуетъ по своему первому мужу и по дѣтямъ, но, благодаря своей нерѣшительности, снова радуется, что ей не придется разставаться съ Парисомъ.

Парисъ изображенъ въ драмѣ изнѣженнымъ молодымъ человекомъ, для котораго свои личные интересы стоятъ выше всего на свѣтѣ.

Приамъ — нерѣшительный правитель, который не въ силахъ обуздать господствующей на сеймѣ анархіи и только въ самую опасную минуту собирается еще позаботиться о спасеніи государства.

Выбранный Кохановскимъ сюжетъ въ сущности не заключаетъ въ себѣ никакого драматическаго элемента. Виною самого поэта является также то, что отдѣльные эпизоды въ этой драмѣ совершенно не связаны между собою. Дѣйствующія лица здѣсь выходятъ на сцену, произносятъ красивые монологи, затѣмъ удаляются и больше не имѣютъ никакого вліянія на ходъ дѣйствія. Къ числу менѣе значительныхъ недостатковъ этой драмы нужно отнести непомѣрно длинное обнимающее около четверти цѣлаго произведенія разсужденіе вѣстника о совѣщаніи троянскихъ вельможъ.

Однако нельзя сказать, чтобы драматическая композиція совершенно отсутствовала въ этомъ произведеніи. Здѣсь она хоть и въ зачаточномъ видѣ, но всетаки существуетъ. Кохановскій былъ слишкомъ хорошо знакомъ съ греческой драмой, чтобы допустить у себя такую капитальную ошибку. Съ большимъ трудомъ, но всетаки можно прослѣдить въ монологѣ Антенора экспозицію; въ сценѣ его съ Александромъ и слѣдующихъ двухъ сценахъ съ Еленой видны очень слабые слѣды акціи, которая тѣмъ временемъ происходитъ за сценой въ вышеупомянутомъ совѣщаніи троянскихъ вельможъ. Результаты этого совѣщанія, переданные Еленѣ, составляютъ усиленіе. Тотчасъ послѣ этого выходитъ Менелай и взываетъ къ богамъ о мщеніи за свою обиду. Греки готовятся къ отъѣзду. У троянцевъ является

тогда дурное предчувствіе, выражаемое хоромъ, Кассандрой, Приамомъ и Антеноромъ, которое замѣняетъ катастрофу, указывая ее въ будущемъ.

Материаломъ для драмы послужилъ эпизодъ изъ третьей книги Илиады отъ 121 до 291 стиховъ, разговоръ старцевъ съ Еленой у Свейскихъ воротъ, упоминаніе о посольствѣ Менелая и Одиссея въ Трою по поводу похищенія Елены, ихъ жизнь въ домѣ Антенора и событія, предшествовавшія Троянской войнѣ. Изъ Илиады взяты нашимъ поэтомъ даже имена троянскихъ вельможъ, присутствовавшихъ на совѣщаніи у царя Приама. Все это послужило фономъ для драмы Кохановскаго, который, кромѣ того, придалъ Еленѣ чувства, выраженные въ XVII Героидѣ Овидія (Helena Paridis). Пророчество Кассандры во многомъ заимствовано изъ „Агамемнона“ Сенеки, даже начало его: „Poco mnie próžno srogі Apollo trapisz?“ цѣликомъ взято отсюда, а также выраженія: „blada twarz“, „włosy roztrąpane“, „piersi ciężkim westchnieniem prąsujące“, „komu duch nie mój użyteczny“, два солнца и двѣ Трои, которыя Кассандра видитъ, Гекуба, воющая послѣ смерти своихъ сыновей, стѣны работы боговъ, одна могила для Гектора и для родины. Нѣкоторыя изъ этихъ выраженій встрѣчаются также и въ „Троадѣ“ того же автора. Эпитетъ Ахиллеса — „srogі trupokurca“ мы видимъ въ „Александрѣ“ мало извѣстнаго поэта Ликофрона. Сонъ Гекубы, о которомъ рѣчь въ бесѣдѣ Париса съ Антеноромъ, упомянутъ Овидіемъ и Цицерономъ (De divinatione) и, наконецъ, начало третьяго хора заимствовано изъ „Ипполита“ Эврипида, гдѣ бѣлокрылый корабль привезъ Федру изъ Крита по соленнымъ водамъ. Всѣ приведенныя заимствования относятся, большей частью, къ формѣ драмы, а не къ содержанию, которое разработано Кохановскимъ почти съ полной самостоятельностью. Самый выборъ сюжета принадлежитъ исключительно ему, такъ какъ до него никто не пользовался имъ для драматическихъ произведений. Характеристика дѣйствующихъ лицъ, составленная Кохановскимъ на основаніи классическихъ источниковъ, равнымъ образомъ какъ и построение всего произведенія въ стилѣ греческой драмы, объясняется гуманистическимъ литературнымъ направленіемъ, къ которому примыкалъ нашъ поэтъ.

Не смотря на все стараніе, какъ можно больше приблизить свою драму къ греческимъ образцамъ, Кохановскій не могъ совершенно уберечься отъ вліянія народныхъ польскихъ чертъ.

Прежде всего при Еленѣ состоитъ „stara pani“, что въ обычаѣ у поляковъ даже до нашихъ дней. Равнымъ образомъ, чисто польской чертой нужно считатьъ соблюденіе Еленой извѣстныхъ приличій:

. a nam białym głowóm jakoś
Przystojniej w domu zawsze, niż przed sienią.

Аntenоръ, нарисованный совершенно въ гомеровскомъ духѣ, ссылается на донесенія „пограничныхъ старость“; онъ также боится суда Божьяго:

. ze się też i dziś lękać muszę,
Aby to sąd tajemny jakiś Boży nie był.

Картина совѣта троянскихъ старѣйшинъ снята съ натуры съ польскихъ сеймовъ:

. Potym się już żaden
Długą rzeczą nie bawił; jeden głos był wszystkich
Tak jako Iketaon i tych, co siedzieli,
I tych, co za stołkami stali, głos był jeden:
Tak jako Iketaon. Kilka kroć powstawał
Ukalegon, chcąc mówić, lecz przed hukiem niemógł.
Marszałkowie laskami w ziemię co raz bijąc:
Posłuchajcie, Panowie, Ukalegon mówi!
Niepomogły nic laski, a nasz Ukalegon
Ukalegotóm mówił, bo pań nic niedbali.

Не меньшей вѣрностью польской дѣйствительности отличаются постоянныя жалобы на испорченность молодежи, которая является виною всѣхъ государственныхъ бѣдствій.

Аntenоръ совѣтуетъ Приаму быть всегда готовымъ къ бою:

. straż miej i na morzu
I na ziemi, aby cię łacni niegotowym
Grekowie nie zastali. To jest rada moja.

Въ заключительныхъ словахъ драмы военачальникъ говоритъ о наступательной войнѣ. Тѣ же самыя мысли мы видѣли еще въ рѣчи Мышеовскаго на сеймѣ 1563 года и въ „Сатирѣ“ нашего поэта, который присоединилъ къ нимъ только совѣты о наступательной войнѣ, чтобы исполнить задачу, возложенную на него Замоискимъ.

Кромѣ своего политическаго значенія эта драма не лишена и литературныхъ достоинствъ, къ числу которыхъ прежде всего нужно отнести монологи, выдержанные вездѣ въ строгомъ стилѣ Софокла и Гомера. Не уступаетъ имъ въ этомъ отношеніи споръ Антенора съ Александромъ. Таки же хороши хоры, которые, совершенно какъ въ греческихъ трагедіяхъ, являются у Кохановскаго выразителями нравственныхъ истинъ, даже послѣдовательность ихъ совершенно совпадаетъ съ классическими образцами, гдѣ сначала идутъ хоры, повидимому, мало связанные съ содержаніемъ драмы, затѣмъ намеки на происходящія на сценѣ событія становятся яснѣе и, наконецъ, нравственная тенденція пьесы открыто выражается ими. Особенно заслуживаетъ здѣсь вниманія то обстоятельство, что нашъ поэтъ пытался въ нихъ соблюсти размѣры греческихъ хоровъ. Главнымъ образомъ, интересенъ въ этомъ отношеніи третій хоръ. Онъ дѣлится на двѣ части: одна до 444 стиха заключаетъ въ себѣ жалобы на корабль, привезшій Елену на троянскій берегъ, другая—общія сентенціи о несогласіи, объ единобрачій и т. п. Каждая изъ двухъ частей, которыя соотвѣтствуютъ строфамъ въ греческихъ хорахъ, можетъ быть, въ свою очередь, разложена на двѣ половины, какъ бы на строфу и антистрофу, каждая изъ которыхъ содержитъ въ себѣ по десяти стиховъ, только первая половина первой строфы состоитъ изъ 11 стиховъ. Размѣромъ первой половины служатъ, обыкновенно, дактиль или амфибрахій съ трохеической стопою, а второй—ямбъ.

Первая строфа этого хора имѣетъ характеръ чисто греческой поэзіи, заключеніе:

..... Przydą, przydą
 Niedawno czasy, że rozbójcę
 Rozbójca znidzie; ten mu śtodki
 Sen z oczu zetrze i bezpieczone.
 Serce zatrwoży, kiedy trąby
 Ogromne zagrzmia, a pod mury
 Nieprzyjacielskie staną szaińce.

проникнуто не только возвышеннымъ признаніемъ нравственнаго закона, правящаго міромъ, но и спокойной грустью, присущей фаталистическому міросозерпанію древнихъ. Этотъ хоръ уже предчувствуетъ бѣдствія Трои и является дѣйствительно трагическимъ. Не уступаетъ ему по достоинству слѣдующее за нимъ пророчество Кас-

сандры, проникнутое настоящимъ творческимъ вдохновеніемъ. Въ немъ личность Кассандры имѣетъ всѣ исключительно греческія черты, какъ въ „Агамемнонѣ“ Эсхила. Предчувствуя бѣду, она должна была быть именно такой безпокойной, порывистой и выражать свое отчаяніе такимъ неистовымъ раздирающимъ душу крикомъ. Въ эпической части своего произведенія Кохановскій пользовался тринадцатисложнымъ стихомъ, въ пророчествѣ Кассандры мы видимъ двѣнадцатисложный, а въ діалогахъ одиннадцатисложный съ дактилическимъ ритмомъ и только послѣдняя стопа носитъ характеръ трохея, благодаря неподвижному ударенію. Въ виду несомнѣнныхъ литературныхъ достоинствъ разобранной драмы, трудно предположить, чтобы она возникла безъ всякихъ подготовительныхъ этюдовъ. Въ произведеніяхъ Кохановскаго мы встрѣчаемся съ отрывками перевода „Алькесты“¹⁾ Эврипида и съ „Единоборствомъ Париса съ Менелаемъ“, которое переведено Кохановскимъ изъ III пѣсни Иліады. Эти двѣ вещи, можетъ быть, и служили нашему поэту первыми попытками подготовленія къ предполагаемой драмѣ. Переводъ отрывка изъ Иліады очень хорошъ и вполнѣ передаетъ духъ безсмертной поэмы Гомера, только рифмованный стихъ примененъ Кохановскимъ для этой цѣли не вполнѣ удачно.

На свадьбѣ Замойскаго, кромѣ вышеупомянутой драмы нашего поэта, исполнялась еще королевскимъ пѣвцомъ, Клабономъ, кантата Кохановскаго, подъ заглавіемъ „Orpheus Sarmaticus“²⁾. Она, очевидно, предназначалась для Баторія, который, не зная польскаго языка, не могъ понять драмы. Содержаніемъ „Орфея“ служить открытое побужденіе къ войнѣ. „О чемъ вы, земляки, думаете?“ говоритъ поэтъ: „и какую обманчивую надежду вы летѣте въ своей груди?

¹⁾ Интересное открытіе сообщилъ Станиславъ Виндакевичъ на засѣданіи Краковской Академіи Наукъ 4 іюля 1891 года. Онъ отыскалъ въ рукописяхъ Ягеллонской бібліотеки польскую трагедію въ классическомъ духѣ, подъ заглавіемъ „Admetus rex“. Она возникла изъ отрывка „Алькесты“ Кохановскаго и задумана на фонѣ его взглядовъ. Матеріаломъ для нея послужили многія стихотворенія нашего поэта. Въ этой искусной компіляціи Виндакевичъ нашелъ 26 произведеній Кохановскаго: 13 пѣсней, 5 треновъ, 5 фрагментовъ и 3 эпитафіи. Слѣдовательно, первая попытка нашего поэта въ польской литературѣ создать художественную драму на польскомъ языкѣ не осталась безъ подражателей. (См. Biblioteka Warszawska 1891 г. т. III 617 стр.).

²⁾ См. W. P. III. 370.

Теперь не время для забавъ, танцевъ и бесѣдъ съ Бахусомъ, ссоръ, разсужденій, сѣздовъ и тайныхъ совѣщаній. Вотъ-вотъ наступитъ война, непріятель стоитъ уже у воротъ и не одна война: съ востока грозить татаринъ, а съ сѣвера Москва, если сказать вамъ правду, сильная вашей неподготовленностью. Съ Москвою въ союзѣ тѣ, которые выставляютъ себя вашими друзьями, а тайкомъ замышляютъ противъ васъ войну. Кромѣ того, турокъ теперь тихо сидитъ, но всегда жадными глазами смотритъ на подольскія поля. Проснись, сармать! продолжаетъ поэтъ, обращаясь къ своимъ землякамъ, стыдно потерять, благодаря своей испорченности, все, что приобрѣли предки. Теперь у поляковъ есть то, чего имъ раньше не доставало: храбрый и готовый на все предводитель—король, не уступающій никому изъ древнихъ героевъ. Подъ его знаменемъ возьмемъ за оружіе и пойдемъ на врага“.

Желаніе поэта исполнилось: сеймъ одобрилъ наступательную войну и подати.

Однако, ни пьесы, представленной „знатнѣйшими юношами“, ни кантаты не пришлось слышать самому Кохановскому, который въ письмѣ къ Замойскому оправдывалъ свое отсутствіе болѣзнью и выражалъ надежду быть на послѣсвадебныхъ празднествахъ, если ему позволить здоровье.

II.

Пребываніе Стефана Баторія въ имѣніи Замойскаго, Замхѣ. Привѣтственныя стихотворенія въ честь короля: „Pan Zamchana“, „Druas Zamchana“ и „Druas Zamechska“. Назначеніе Мышковскаго Браковскимъ епископомъ. Десятая элегія III книги. Двадцатая пѣснь второй книги. Десятая ода „In villam Pramnicanam“. Взятіе Полоцка. Ода „De expugnatione Polottei“. „Феномены“ Арага. „Psalterz“. Посвященіе Мышковскому. Эпиграмма Буханану. Зависимость „Псалтыри“ Кохановскаго отъ перевода Буханана. Разнообразіе размѣровъ. Псалмы, возникшіе въ ранніе годы жизни нашего поэта. Псалмы, въ которыхъ отразилась придворная жизнь Кохановскаго. Значеніе его „Псалтыри“ для польской литературы. Пѣснь „Czego chcesz od nas Panie“. Пятая и третья пѣснь фрагментовъ. Значеніе религиозной лирики Кохановскаго.

8 мая 1578 года Стефанъ Баторій опять навѣщаетъ Замойскаго, теперь уже въ его имѣніи, Замхѣ. Для достойной встрѣчи такого високаго гостя канцлеръ снова обращается къ Кохановскому съ просьбой написать привѣтственныя стихотворенія. Нашъ поэтъ пишетъ

два произведенія на латинскомъ языкѣ для такого торжественнаго случая: „*Rap Zamchanus*“ и „*Dryas Zamchana*“. Последнее онъ переводитъ на польскій языкъ, подъ заглавіемъ „*Dryas Zamechska*“. „*Rap Zamchanus*“¹⁾ привѣтствуетъ Стефана Баторія отъ имени лѣсныхъ божествъ:

*Salve rex invicte tuis fortuna benigne
Aspiret votis, tuaque omnia coepta secundet.*

Прибытію короля улыбается небо, земля одѣлась различными цвѣтами, пѣніе пташекъ раздается въ густой листьѣ тѣнистыхъ деревьевъ:

*Ipsae adeo quercus et amictae frondibus orni
Et tiliae pingues, fagique tibi ardua longe
Submittunt capita atque ultro sua brachia tendunt.*

Даже обитатели лѣсовъ и тѣ рады встрѣтить короля и день его пріѣзда на всю жизнь останется торжественнымъ для нихъ,

*Dumque per umbrosas agrestia numina silvas
Capripedes Satyri errabunt Faunique fugaces,
Usque tui nostro vivent in pectore vultus.*

Затѣмъ Панъ подноситъ Баторію

*. pateramque orbemque rotundum,
Et cochleare nitens uno omnia clausa locello,*

угощаетъ его яблоками, грушами, вишнями и сливами,

*Illa quidem Hesperidum non sunt felicibus hortis
Edita, sed si ori admoveas, vel saccharum aequant.*

Все это, по словамъ Пана, долженъ былъ бы приготовить самъ хохляинъ, но онъ слишкомъ занятъ государственными дѣлами, чтобы найти время для заботъ объ угощеніи своего короля. Панъ благодаритъ послѣдняго за такого старосту, какъ Замойскій, который защищаетъ лѣса отъ рубки и не выгоняетъ сатировъ изъ ихъ древнихъ жилищъ, чѣмъ не пользуются ихъ собратья, живущіе въ другихъ мѣстахъ.

„*Rap Zamchanus*“ нѣсколько напоминаетъ шестую эклогу Виргилія и нѣкоторыя мысли изъ „Сатира“ нашего поэта.

¹⁾ См. W. P. III. 266

„Дриада“¹⁾ отличается болѣе глубокимъ характеромъ, чѣмъ „Пань“. Въ ней выражаются убѣжденія людей, хорошо знающихъ положеніе дѣлъ въ Польшѣ.

Она въ этомъ отношеніи очень похожа на „Сатира“, также какъ и онъ вооружается противъ испорченности нравовъ, обвиняя въ этомъ тѣхъ лицъ, которыя стоятъ во главѣ государства:

. Z królów rząd: róki Polska miała
 Pany rządne, taka więc i szlachta bywała.
 Królu, możesz mi wierzyć, że za lat dawniejszych
 I ludzie obyczajów byli pobożniejszych,
 Nie były takie lichwy, ani waśni takie,
 Rychlej mierność i cnoty kwitnęły wszelakie:
 O elekcyach sobie głowy nie zmysłali.

Послѣдняя строка объ элекціяхъ прекрасно характеризуетъ отрицательное отношеніе къ нимъ нашего поэта. Въ „Дриадѣ“ Кохановскій высказалъ также свое горячее сочувствіе Баторію и надежды, возлагаемыя на него:

Znam cię, o zasny królu, chociaż bez korony
 Ani w różny od inszych ubiór obleczony,
 Znam cię, o królu polski, choć tu między lasy
 Z dzikim zwierzem przebywam po wszystkie swe czasy.

.
 Bądź zdrów na długie czasy, królu wielowładny!
 A w twoich pięknych myślach daj ci Boże snadny
 Skutek widzieć!

. tylko prosić trzeba
 Aby Bóg dobrej radzie błogosławił z nieba.
 Mnie jednej twoję dzielność i twe slysząc sprawy
 Serce niemylnie tuszy, że cię z Bolesławy
 Równo Polska kłaść będzie.

Нельзя было сдѣлать лучшей оцѣнки личности короля, историческую роль котораго прекрасно угадалъ здѣсь Кохановскій. Любопытный примѣръ приведенъ въ „Дриадѣ“ нашимъ поэтомъ. Пилецкій, когда

¹⁾ См. W. P. II. 234 и III. 362.

то владѣвшій Замкомъ, ѣздилъ на медвѣдяхъ, продѣвши въ ихъ ноздри острия кольца. Ему могъ бы подражать и Баторій:

Łasno swawola, łasno objezdzić królowi

.....
..... *Prawo kolca twarde:*

Komu je na nos włoża, powioda i harde.

Таеъ смѣло и откровенно до сихъ поръ еще никто не выражалъ подобныхъ мыслей. Послѣ этого „Дриада“ какъ-будто испугалась, что сказала лишнее и, мѣняя тонъ, приглашаетъ короля развлечься рыбной ловлей, или охотой.

Переводъ „Дриады“, весьма близкій къ латинскому тексту и еще выразительнѣе касающійся элекціи, показываетъ, что она была написана не для однихъ только своихъ единомышленниковъ, но имѣла также цѣль повліять на умы несогласныхъ съ поэтомъ.

Въ 1578 году Мышковскій вступилъ на Краковскую епископскую кафедру. Кохановскій по этому случаю пишетъ ему привѣтственное стихотвореніе (10 эл. III кн.)¹⁾.

Здѣсь поэтъ говоритъ о себѣ, что онъ прибылъ навстрѣчу епископу безъ блестящей свиты, которую замѣняетъ ему кивара Аполлона и хоръ музы; ими онъ гордится больше, чѣмъ кто-либо другой своимъ богатствомъ или портретами предковъ,

Nam cum essem natus fortuna non ita in ampla,

Nec dictatorum dicerer esse genus;

Ingenio tamen et Musarum munere clarum

Arctoo peperì nomen in orbe mihi.

Audiat hoc livor: Musarum ego munere clarum

Arctoo peperì nomen in orbe mihi.

Онъ говоритъ, что музы его всегда находили благосклонный приемъ у Мышковскаго. Есть люди, которые прежде, чѣмъ ласково встрѣтить своего стараго друга, спрашиваютъ, кто онъ таковъ и откуда ведетъ свой родъ, но Мышковскій не принадлежитъ къ ихъ числу:

Naec alios tangunt, de te nil tale veretur

Musa hedera molles cincta virente comas,

¹⁾ См. W. P. III. 122.

Quin tibi fortunam hanc stabilem firmamque precatur,
Utque sit aetati prodiga Parca tuae.

Мышковскій вскорѣ послѣ своего приѣзда пригласилъ поэта въ себѣ и долго не хотѣлъ отпустить его домой, какъ видно изъ двадцатой пѣсни второй книги ¹⁾).

Здѣсь поэтъ описываетъ безпокойство своей жены. Между тѣмъ, какъ онъ самъ находится въ епископскомъ дворцѣ, она объясняетъ причину его отсутствія болѣзнью. Не легко ей также одной нести всѣ тяжести хозяйственныхъ заботъ, которыя они должны раздѣлять поровну между собой. Кто знаетъ, можетъ быть, ее волнуютъ и другія подозрѣнія:

Że na świecie rodzą się takowe zioła,
Których smak pamięć domu wyglądza zgoła,
Że taka jest muzyka i takie strony,
Których człowiek słuchając, już ani żony
Ani dziątek nawiedzi, ale w niewoli
Pod pany sromotnymi wiecznie trwać woli.

Любовь всегда сопровождается тревогою ревности. Поэтому Кохановскій просить епископа не разлучать его съ женою, съ которой онъ не хочетъ разставаться до смерти и не причинять никому тревоги, хоть-бы и напрасной:

A ty nie bądź przyczyną, biskupie drogi,
Niczyjej lubo słusznej, lub płonej trwogi.

Эта пѣснь свидѣтельствуетъ какъ о расположеніи Мышковскаго къ нашему поэту, такъ и о привязанности послѣдняго къ своей женѣ. Можетъ быть, ея предполагаемая ревность прибавлена Кохановскимъ, которому, во всякомъ случаѣ, льстила бы любовь молодой женщины и ея подозрѣнія, что онъ можетъ еще нравиться, несмотря на свои солидные годы.

Къ тому же времени относится десятая ода „In villam Grampi-sanam ²⁾), написанная по поводу переѣзда Мышковскаго въ епископскую виллу, подъ названіемъ Прондннѣ Червоный.

¹⁾ См. W. P. I. 327.

²⁾ См. W. P. III. 275.

Обращаясь къ виллѣ, которая можетъ сравниться съ высокими башнями, построенными легендарнымъ Кракусомъ, поэтъ проситъ ее благосклонно принять новаго владѣльца:

salve: laborum per fugium, parens
 Tranquillitatis, pax animi, quies
 Molestiarum, mater otii,
 Hospitiumque novem sororum.

и до самой глубокой старости поить его изъ своихъ прозрачныхъ родниковъ.

Въ 1579 году былъ взятъ Полоцкъ. Искреннія желанія поэта исполнились: война, которую онъ такъ горячо проповѣдывалъ, закончилась побѣдой. Тогда Кохановскій пишетъ XVI оду „De exruptione Polottei“¹⁾. Стихотвореніе начинается обращеніемъ къ Мельпоменѣ съ просьбой воспѣть на златострунной лирѣ короля, который своими побѣдами возвратитъ Польшѣ ея бывше триумфы. Баторій не заботится о роскоши, ему не нужно ассирійскихъ благовоній и мягкихъ тирійскихъ ложей; онъ желаетъ только приобрѣсти себѣ славу своей образцовой жизнью и неустанными трудами. Испугавшись такого короля, московскій Марсъ

Praesidiis trepidas per urbes
 Firmis relictis, ipse sibi loco
 Duxit cavendum, et calcar equo aliti
 Subjecit, extenditque cursus
 Ad Boreae usque rigentis ortus,

подобно тому, какъ волкъ бросаетъ свою добычу, при видѣ приближающагося льва. Гдѣ только король ни появлялся со своимъ славнымъ войскомъ, все вокругъ пылало страшнымъ огнемъ, все уничтожалъ мечъ безъ всякой пощады,

Ut cum per imbres continuos ruit
 Inflatus amnis, spes segetum natant,
 Alnique procumbunt, casaeque
 Vorticibus rapiuntur atris,

¹⁾ См. W. P. III. 279.

Colles in altos it propere excitus
 Prae se universum pastor agens gregem,
 Cursumque torrentis sonorum
 Aure procul stupet insolenti.

Одинъ только Полоцкъ представлялъ серьезный отпоръ для польскаго рыцаретва. Даже сама природа благопріятствовала осажденнымъ, превративши землю послѣ долгихъ дождей въ сплошное болото, которое не могло выдержать тяжести орудій. Первый ясный день былъ началомъ боя; огненные пули подожгли крѣпость сразу въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Радостный вликъ раздался въ королевскомъ войскѣ. Въ заключеніи поэтъ снова обращается къ музѣ, приглашая ее рассказать всѣ чудеса храбрости, которыя оказало при этомъ польское войско, благодаря Божьей помощи и мужеству Баторія, котораго

. nos et armis insuperabilem,
 Et paece summis principibus parem,
 Hunc et fide arguta et sanamus
 Voce sono fidis audiente.

Не смотря на нѣкоторую сухость и условный характеръ, эта ода не лишена довольно красивыхъ образовъ, какъ, на примѣръ, сравненіе отступленія русскихъ войскъ при видѣ Баторія съ волкомъ, бросающимъ добычу при видѣ льва. Такъ же хорошо сравненіе опустошительной войны съ разлившейся рѣкою. Словомъ, эта ода не такъ уже слаба и холодна, какъ утверждаютъ нѣкоторые критики.

Въ томъ-же 1579 году вышли „Феномены“ Арата¹⁾ въ латинскомъ переводѣ Кохановскаго. Нидецкій въ своемъ изданіи „Фрагментовъ“ Цицерона свидѣтельствуетъ, что польскій текстъ „Феноменовъ“ былъ извѣстенъ ему уже въ 1565 году. Побудительной причиною Кохановскому для двойного перевода этого скучнаго произведенія служило, по всей вѣроятности, свойственное всѣмъ гуманистамъ, боготвореніе личности Цицерона. Можетъ быть, другъ нашего поэта, Нидецкій, занимаясь фрагментами этого писателя, среди которыхъ были и отрывки перевода „Феноменовъ“ Арата, принадлежащіе перу самого Цицерона, заинтересовалъ ими Кохановскаго. Въ предисловіи къ латинскому тексту „Арата“ нашъ поэтъ слѣдующимъ образомъ

¹⁾ См. W. P. III. 383.

объясняетъ цѣль своего труда: „великій Цицеронъ переводилъ великаго Арата латинскимъ стихомъ, но, къ сожалѣнію, его переводъ сохранился только въ испорченныхъ отрывкахъ. Сверхъ того, знаменитый римскій ораторъ не смогъ сравняться въ своемъ переводѣ съ божественнымъ Аратомъ, такъ какъ онъ придерживался текста своего предшественника на этомъ поприщѣ, Авіена, ближе, чѣмъ греческаго оригинала.“ Для гуманиста XVI вѣка не могло быть высшей чести, какъ реставрировать и пополнить цicerоновскіе отрывки и приблизить его текстъ насколько возможно къ греческому оригиналу. Принимаясь за свой трудъ, Кохановскій думалъ: „*non ingratum studiose juventuti futurum, si quae cum integris in hoc genere Graecis conferri possint, integra quoque Latina exstarent.*“ Другія основанія выражены имъ въ посвященіи Замойскому. По словамъ поэта, звѣзды указывали путь моряку и время полевыхъ работъ земледѣльцу. Науку ихъ познанаія выразилъ въ стихахъ Цицеронъ, трудъ котораго отъ времени пришелъ въ совершенный упадокъ. Вслѣдствіе этого и пахарь, и морякъ потеряли самыя необходимыя для своей дѣятельности свѣдѣнія. Жалѣя ихъ, а также и судьбу творенія Цицерона, Кохановскій рѣшилъ возстановить первоначальный видъ испорченнаго отъ времени произведенія, чтобы оно могло принести людямъ пользу, а Цицерону славу. Трогательно здѣсь уваженіе гуманиста къ памяти Цицерона, а также искреннее желаніе принести своимъ переводомъ практическую пользу. Послѣдняя мысль указываетъ на то вліяніе, какое могла имѣть на нашего поэта распространенная въ то время вѣра въ астрологию и непосредственную связь судьбы человѣка съ теченіемъ планетъ. Въ этомъ трудѣ Кохановскій обнаружилъ громадныя филологическія способности. Онъ не придерживался слѣпо Нидецкаго и другихъ комментаторовъ Цицерона, а съ критическимъ чутьемъ замѣчалъ и исправлялъ ихъ погрѣшности. Какъ въ латинскомъ, такъ и въ польскомъ текстѣ „Арата“ стихъ звѣздъ отличается выдержанностью и гладкостью.

Въ 1579 году была впервые напечатана „*Psalterz*“¹⁾ Кохановскаго. Въ своемъ посвященіи этого перевода Мышковскому поэтъ говоритъ о себѣ, что ему не разъ приходилось переживать литературныя неудачи. Только у епископа всегда находили радуш-

¹⁾ См. W. P. I. 3.

ный приемъ и надлежащую оцѣнку его оскорбленныя музы. Неизвѣстно, какія именно это были неудачи, какія стихотворенія нашего поэта не пользовались въ свое время успѣхомъ. Изъ этого посвященія видно только, что Мышковскій оказалъ громадную услугу польской поэзіи, поддержавши въ Кохановскомъ вѣру въ его талантъ. По словамъ поэта, онъ

. serca mi dodał, żem się gyny swemi
 Ważył zetrzeć z poety co znakomitrzemi
 I wdarłem się na skałę pięknej Kalliopy,
 Gdzie do tych miast nie było znaku polskiej stopy.

Въ награду за это благодарный поэтъ посвящаетъ ему „żniwa swego pierwszy spór“—Псалтырь.

(Мысль о благосклонности Мышковскаго къ музамъ Кохановскаго мы видѣли еще въ десятой элегии третьей книги.)

Оригиналомъ для Псалтыри нашего поэта, противъ ожиданія, послужила не Вульгата, а латинскій стихотворный переводъ шотландца, Георга Буханана, напечатанный въ 1565 году, подъ заглавіемъ „Paraphrasis psalmodum.“ Автору этого труда, извѣстному своими рѣзкими нападками на католическое духовенство, посвятилъ Кохановскій восторженную эпиграмму.¹⁾

По словамъ послѣдняго, Бухананъ избавилъ отъ напрасныхъ трудовъ всякаго, кто захотѣлъ бы приобрести себѣ поэтическую извѣстность посредствомъ перевода гимновъ Иерусалимскаго царя на латинскій языкъ.

Nam quicumque opus hoc aggressi aliquando fuerunt,
 Tanto intervallo tu, Bucanane, praeis
 Omnibus, ut veniens aetas quoque non videatur
 Ereptura tuis hoc decus e manibus.

Парафраза Буханана сдѣлана по еврейскому оригиналу, который дѣлится на пять книгъ, чего нѣтъ въ Вульгатѣ, гдѣ группировка псалмовъ мѣстами совершенно иная, такъ, напримѣръ, 9 и 10 псалмы еврейскаго текста соединены въ одинъ 9, 113 составленъ изъ 114 и 115 еврейскихъ псалмовъ. Кромѣ того, 116 еврейскій псаломъ разбитъ въ Вульгатѣ на два: 114 и 115, 146 и 147 еврейскаго текста

¹⁾ См. W. P. III. 225.

слиты здѣсь въ одинъ, такъ что только въ трехъ послѣднихъ псалмахъ числа Булгаты сходятся съ еврейскимъ текстомъ.

Тѣ же самые внѣшніе признаки имѣеть „*Paraphrasis psalorum*“ шотландскаго поэта, который здѣсь впервые отступаетъ отъ традиціоннаго въ латинскихъ стихотворныхъ переводахъ Псалтыри элегическаго размѣра и прибѣгаетъ къ самому разнообразному построению строфъ.

„*Psalterz*“ Кохановскаго отличается такими же точно внѣшними признаками, даже разнообразіе размѣровъ вполне совпадаетъ со строфами Буханана, у котораго заимствовано нашимъ поэтомъ, въ общей сложности, около восьмисотъ стиховъ. Изъ всѣхъ 150 псалмовъ Кохановскаго свободны отъ вліянія шотландскаго поэта только тридцать три. Это, большей частью, короткіе и бѣдные по содержанию псалмы, переводъ которыхъ не представлялъ особенной трудности, или тѣ, въ которыхъ Кохановскій встрѣчалъ отраженіе своихъ собственныхъ мыслей, чувствъ и душевныхъ состояній. Таковы, на примѣръ, слѣдующіе псалмы: 18, 85, 121, 123, 131, 140 и другіе. Къ той же категоріи самостоятельныхъ псалмовъ нужно отнести тѣ изъ нихъ, которые, по всей вѣроятности, были написаны нашимъ поэтомъ въ ранней молодости, каковы, на примѣръ: 10, 91 и 103. Отдѣльные стихи изъ послѣдняго псалма мы встрѣчали въ двухъ раньше написанныхъ произведеніяхъ нашего поэта: „*Zuzanna*“ и „*Dziewosław*“. Весьма возможно, что нѣкоторые изъ такихъ псалмовъ Кохановскій поправлялъ по тексту Буханана, прежде чѣмъ отдать ихъ въ печать. Слѣды подобной отдѣлки можно замѣтить, на примѣръ, въ 105 и 106 псалмахъ. Переводъ Кохановскаго является плодомъ не одной только ремесленной работы; большая часть его псалмовъ проникнута настоящимъ творческимъ вдохновеніемъ, въ нихъ излилъ поэтъ всѣ свои собственные душевныя тревоги и радости. Въ этомъ отношеніи „*Psalterz*“ можно разсматривать отчасти какъ субъективное произведеніе, въ которомъ отразились многія стороны жизни Кохановскаго. Ближе присмотрѣвшись къ Псалтыри нашего поэта, нетрудно замѣтить въ ней цѣлый рядъ псалмовъ, посвященныхъ описанію невзгодъ придворной жизни. Особенно любопытенъ въ этомъ отношеніи 35 псаломъ, гдѣ жалобы на тяжелую обстановку, въ которой ему приходилось жить, достигаютъ особенной силы. Возьмемъ, на примѣръ, хоть слѣдующее мѣсто оттуда:

Głodni pochlebce czci mi uwłaczali,
 Mną sobie gęby dworni wymywali
 Darmozjadowie.

Если мы сопоставимъ эти слова съ посвященіемъ Мышковскому, гдѣ поэтъ говорить:

Jedeneś ty nalezion u którego miały
 Miejsce Muzae wzgardzone...

то придворная жизнь Кохановскаго въ Краковѣ получаетъ довольно яркое освѣщеніе.

„Psalterz“ прежде всего поражаетъ совершенствомъ польскаго языка, который прекрасно передаетъ самыя возвышенныя и глубокія движенія человѣческой души, достигая при этомъ рѣдкой красоты и силы. Здѣсь Кохановскій поставилъ свой родной языкъ на ту высоту, которая сдѣлала доступной для послѣдняго всѣ виды и формы литературныхъ произведеній.

Другимъ достоинствомъ перевода Кохановскаго нужно считать разнообразіе размѣровъ. Чаще всего онъ пользуется тринадцатисложнымъ, какъ наиболѣе свойственнымъ польскому стиху. (Впервые этотъ размѣръ встрѣчается у Рея). Въ наиболѣе грустныхъ и жалобныхъ псалмахъ Кохановскій прибѣгаетъ къ двумъ размѣрамъ, которые однимъ лишь своимъ необыкновеннымъ видомъ производятъ сильное впечатлѣніе: таковъ, во первыхъ, четырнадцатисложный размѣръ съ двумя цезурами послѣ четвертаго и восьмого слоговъ, во вторыхъ, болѣе разнообразный, который дѣлится на четырехстрочныя строфы. Первый и третій стихъ состоитъ изъ тринадцати слоговъ, второй и четвертый изъ десяти. Сразу такой размѣръ можетъ показаться недостаточно гармоничнымъ, но, освоившись съ нимъ, не трудно почувствовать его красоту и звучность. Примѣромъ перваго размѣра можетъ служить 80 псаломъ, втораго—107. Въ хвалебныхъ псалмахъ, гдѣ нѣтъ скорбнаго тона, Кохановскій прибѣгаетъ къ сапфическому размѣру, какъ, на примѣръ, въ 65 псалмѣ, два послѣднихъ стиха котораго наиболѣе распространены въ польской поэзіи. Кромѣ того, пользовался Кохановскій иногда шестистрочной строфой, написанной десятисложнымъ размѣромъ (76 пс.)¹⁾. Даже легкія че-

¹⁾ Примѣръ секстины мы имѣемъ въ седьмомъ псалмѣ.

тверостишія, написанныя восьмисложнымъ размѣромъ, съ характеромъ трохея, примѣняли иногда нашъ поэтъ къ своимъ переводамъ (79 пс.). Красива также строфа, въ которой два первыхъ стиха состоятъ изъ шести слоговъ, слѣдующіе два переходятъ въ болѣе медленный темпъ и насчитываютъ одиннадцать слоговъ (87 пс.). Трудно перечислить всѣ разнообразныя размѣры подъ вліяніемъ парафразы Буханана примѣненные Кохановскимъ къ своему переводу. Но „Psalterz“ не лишена нѣкоторыхъ, правда, весьма незначительныхъ недостатковъ, преимущественно въ рифмовѣ. Такъ, напримѣръ, здѣсь часто встрѣчаются глагольныя рифмы, прилагательныя и причастія въ томъ же самомъ родѣ, числѣ и падежѣ; сравнительныя и превосходныя степени также рифмуются между собой.

Богодухновенныя гимны Псалмопѣвца Давида, помимо своего каноническаго значенія пророческой книги, поражаютъ рѣдкой и возвышенной простотой своей поэзіи. Мало кому изъ стихотворныхъ переводчиковъ удавалось схватить самый духъ этого произведенія. Нечего и говорить, что предшественники Кохановскаго, Тшиціѣвскій и другіе, не могли совладать съ этой задачей. Только нашъ поэтъ достигъ въ данномъ случаѣ такого совершенства, что его псалмы вошли въ молитвенники, сдѣлались достояніемъ народа и еще до сихъ поръ не утратили своей поэтической свѣжести. Даже русская литература обязана Кохановскому переводомъ псалмовъ Симеона Полоцкаго ¹⁾, въ 84 псалмахъ котораго размѣръ совершенно сходенъ съ соотвѣтствующими псалмами Кохановскаго.

Будучи глубоко религіознымъ человѣкомъ, Кохановскій, какъ мы видѣли, еще въ молодости касался библейскихъ сюжетовъ ²⁾. Въ одной изъ своихъ падуанскихъ элегій онъ обнаружилъ рѣдкое для своего времени пониманіе христіанской идеи о непротивленіи злу насиліемъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ ставитъ папѣ на видъ, что апостолу Петру запретилъ Христосъ обнажать мечъ даже въ защиту своего Господа.

Такимъ же возвышеннымъ, истинно христіанскимъ міросозерцаніемъ, проникнута извѣстная пѣснь „О благодѣяніяхъ Божьихъ“ — „Czego chcesz od nas Panie“ ³⁾, о которой долгое время была рас-

¹⁾ См. Н. Глокке. Рифмотворная Псалтырь Симеона Полоцкаго и ея отношеніе къ Псалтыри Яна Кохановскаго. Кіевъ. 1896 г.

²⁾ См. „Пѣснь о потопѣ“.

³⁾ См. W. P. I. 355.

пространена слѣдующая легенда: Кохановскій прислалъ ее изъ Паррижа на одинъ изъ сеймиковъ въ Сандомирскомъ воеводствѣ, на которомъ присутствовали молодой Замоискій и Николай Рей. Послѣдній, прочитавши это стихотвореніе, такъ выразился объ его авторѣ:

Temu w nauce dank przed sobą dawam
I pieśń bogini słowieńskiej oddawam.

Не входя въ подробную оцѣнку этой легенды, мы уже по одному тому не можемъ признать ея достовѣрность, что въ разбираемой нами пѣсни встрѣчаются реминисценціи изъ 9 псалмовъ, а именно: 19, 24, 33, 36, 67, 74, 89, 102 и 145. Слѣдовательно, она должна была возникнуть уже послѣ перевода вышеупомянутыхъ псалмовъ, большинство которыхъ не можетъ быть отнесено къ возникшимъ въ ранніе годы жизни нашего поэта, такъ что, не зная въ точности хронологической даты этого стихотворенія, мы считаемъ наиболѣе правильнымъ приступить къ его разбору непосредственно послѣ „Псалтыри.“

Изъ глубины благодарнаго сердца поэта выливается восторженное славословіе Богу, Подателю безчисленныхъ даровъ и благодѣяній, Котораго Церковь не въ силахъ обнять, такъ какъ Онъ пребываетъ всюду,

I w otchłaniach i w morzu, na ziemi, na niebie.

Ему не нужно золота, такъ какъ Онъ владѣетъ всѣми сокровищами міра. Наше благодарное сердце является лучшей жертвой для Него Въ порывѣ безграничнаго восторга передъ всемогуществомъ Божьимъ восклицаетъ поэтъ:

Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował
I złotemi gwiazdami ślicznieś uhaftował,
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.

По Твоему повелѣнію море стоитъ въ своихъ берегахъ, не смѣи выйти изъ положенныхъ ему предѣловъ, рѣки наполняются обильными водами, бѣлый день и темная ночь знаютъ свое время; для Тебя земля одѣвается весною различными цвѣтами, лѣто ходитъ въ вѣнцѣ изъ колосевъ, осень приноситъ вино и всевозможные фрукты, послѣ нея наступаетъ зима, свободная отъ всякихъ трудовъ.

Z Twej łaski nocnia rosa na mdłe ziółta padnie,
A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie.

Всякая тварь смотритъ на Твою щедрую руку, ожидая отъ нея всего необходимаго для своего существованія.

Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie;
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas róki raczysz na tej niskiej ziemi,
Jedno niech zawsze będziem pod skrzydłami Twemi!

Трудно выразить въ болѣ красивой и совершенной формѣ безграничную признательность человѣка передъ величіемъ и щедростью Всемогущаго Бога. Рѣдкой силой и звучностью отличается здѣсь тринадцатисложный стихъ съ цезурой послѣ седьмого слога. Отдѣльные образы, правда, большей частью, заимствованные изъ псалмовъ, съ такимъ искусствомъ введены Кохановскимъ въ это стихотвореніе, что у насъ не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, когда оно было написано. Создать такую совершенную форму могъ только вполнѣ зрѣлый художественный талантъ. Одно только мѣсто въ разобранномъ стихотвореніи можно считать заимствованнымъ у классиковъ; это именно: „w kłosianym wieńcu lato chodzi“. У Овидія мы встрѣчаемъ аналогичный образъ:

Stabat nuda Aestas et spicea sarta gerebat ¹⁾).

Это стихотвореніе проникнуто самой горячей вѣрой и совершенно чужда ему католическая узость понятій. Здѣсь Кохановскій выразилъ истинно-христіанскую идею о вселенской церкви, которую невозможно приурочить къ одному только Риму; по нашему мнѣнію, такое именно объясненіе слѣдуетъ придать его словамъ:

Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie.

Кромѣ этой возвышенной пѣсни многія стихотворенія Кохановскаго проникнуты религіознымъ духомъ и почти во всѣхъ подобныхъ пѣсняхъ нашего поэта можно замѣтить вліяніе Псалтыри.

Возьмемъ, на примѣръ, пятую пѣснь фрагментовъ ²⁾, въ которой поэтъ возражаетъ противникамъ вѣры въ Промыслъ Божій:

¹⁾ См. Ovidii Metamorph. II. 28.

²⁾ См. W. P. II. 465.

Przeciwko nim świadczą nieba,
Świadczą gwiazdy niezliczone
Na powietrzu zapalone.

Kiedy słońce swego wschodu
Aby chybiło zachodu?
Kiedy miesiąc jasne rogi
Skłonił od swej zwykłej drogi?

Этому не противорѣчить счастье, которымъ иногда пользуются на землѣ злые люди, такъ какъ со временемъ они получаютъ свою мзду. Далѣе поэтъ говоритъ о спасительной силѣ молитвы и о покровительствѣ Божьемъ всякому, кто вѣруеть въ Него:

Wzywałem Cię, wieczny Boże,
Idąc w wieczór na swe łoża,
Wzywałem Cię o północy,
A byłeś mi ku pomocy.

Врагъ хотѣлъ напасть на спящаго поэта, но послѣдній проснулся и онъ обратился въ бѣгство:

Ani miecz, ani mię siła
Złej przygody obroniła, —
Jeno szczerą łaską twoją,
Co wyznawała dusza moja.

Въ благодарность за это онъ обѣщаетъ воздать славословіе Богу въ Его жилищѣ, среди сонма вѣрующихъ, чтобы всѣ знали, что Господь является заступникомъ добродѣтельныхъ людей.

Это красивое стихотвореніе, написанное легкимъ восьмисложнымъ стихомъ, съ характеромъ трохея, сплошь пронизанно реминисценціями изъ псалмовъ.

Нѣсколько самостоятельнѣе въ этомъ отношеніи третья пѣснь фрагментовъ¹⁾, гдѣ поэтъ говоритъ о проявленіяхъ Божьяго величія въ Его дѣлахъ:

Kto miał rozumu, kto tak wiele mocy,
Że świat postawił krom żadnej pomocy?

¹⁾ См. W P. II. 462.

Kto władnie niebem, kto gwiazdami rządzi,
Ze się z nich żadna nigdy nie obłądzi?

Торжество злыхъ не можетъ продолжаться вѣчно, добрые станутъ наконецъ причастниками Божьей славы. Для этого необходимо познавать Бога, полагаться на Него во всѣхъ дѣлахъ своихъ, воспитывать дѣтей въ страхѣ Божьемъ,

. . . . niech nie będą nazbyt pieszczonemi,
Niech przywykają spać na gołej ziemi,

а когда они подростутъ, пусть приучаются сражаться съ татарами;

Niech wzdycha żona mężnego tyrana
Patrząc nań z murów i dorosła panna.

.
Przed śmiercią żaden schronić się nie może
I pierzchliwemu prędkość nie pomoże,
Ażaj nie lepiej sławy swej poprawić,
Niż próżno siedząc w cieniu wiek swój trawić.

Конецъ этого стихотворенія касается излюбленныхъ политическихъ теорій Кохановскаго объ изнѣженности молодежи и необходимости воскресить воинскую доблесть. Въ остальномъ оно сходится какъ съ двумя предыдущими стихотвореніями, такъ и со многими псалмами. Въ своихъ произведеніяхъ религіознаго характера Кохановскій нигдѣ не обращается ни къ святымъ, ни къ Божьей Матери, особенно чтимой католиками. Въмѣсто этого мы встрѣчаемся въ нихъ на каждомъ шагу съ образами, заимствованными изъ псалмовъ и изъ Библии, что составляетъ главную особенность протестантской религіозной поэзіи. Кромѣ того, подобныя стихотворенія показываютъ въ нашемъ поэтѣ безграничную вѣру въ Промыселъ Божій, въ торжество добродѣтели надъ порокомъ и въ милосердіе Божіе къ смиреннымъ. Возвышенная чисто библейская простота и рѣдкая образность, при законченной и въ высшей степени совершенной формѣ, ставятъ религіозныя стихотворенія Кохановскаго такъ высоко, что ихъ въ этомъ отношеніи не превзошла даже современная польская лирика.

III.

Янъ Кохановскій въ своей семьѣ. Смерть его дочери Уршули. „Трены“, ихъ со-
держаніе. Попытка опредѣленія ихъ хронологической послѣдовательности. Разборъ
тревновъ. Ихъ литературное значеніе.

Постоянно занятый хозяйственными заботами и усиленнымъ ли-
тературнымъ трудомъ, Кохановскій не пользовался особенно крѣп-
кимъ здоровьемъ. Обладая достаточной энергіей, онъ старался разго-
нять иногда угнетавшую его тоску, но его натурѣ не было свой-
ственно постоянное веселье; ближе ей была благородная, тихая, воз-
вышающая душу грусть. Жена поэта, вѣчно занятая домашними
хлопотами, какъ съ юморомъ онъ изобразилъ ее въ двадцатой пѣсни
первой книги, не могла способствовать веселью въ ихъ Чернолѣсѣ.
Одна только дочь Кохановскаго, маленькая Уршуля, оживляла скром-
ную и однообразную жизнь своихъ родителей. Она, по словамъ са-
мого поэта (VIII трень), „nie rozwalala matce sie frasowac“, отцу—
изнурять себя „zbytecznem mysleniem“, наполняя домъ своимъ дѣт-
скимъ лепетомъ, смѣхомъ и пѣснями. Когда въ 1579 году ея не
стало, глубокое горе должно было поразить осиротѣлаго поэта, кото-
рый лишился своего единственнаго утѣшенія и отрады. Съ ея смертью
Кохановскій терялъ наслѣдницу своей лютни, своего поэтического
дарованія. Послѣ этого намъ становятся понятными тѣ несвойствен-
ныя мужинѣ слезы, которыя слышатся въ написанныхъ имъ по этому
поводу стихотвореніяхъ, такъ называемыхъ „тренахъ“.

Посвященіе умершей дочери отличается въ высшей степени тро-
гательнымъ характеромъ. Изъ глубины отцовскаго сердца вылилось
оно и его заключительныя слова: „niemasz sie, Orszulo moja“ какъ
нельзя лучше выражаютъ состояніе духа поэта въ тотъ моментъ,
когда онъ рѣшился облегчить свое горе созданіемъ произведенія, ко-
торое, наряду съ его именемъ, обезсмертило имя его малютки—до-
чери, какъ нѣкогда сонеты Петрарки сдѣлали незабвеннымъ имя
Лауры.

Эпиграфомъ къ своему произведенію Кохановскій беретъ дву-
стишіе Цицерона:

Tales sunt hominum mentes, quali pater ipse
Iuppiter auctiferas lustravit lumine terras,

которое переведено изъ 136—137 стиховъ XVIII пѣсни Одиссея Гомера ¹⁾. Этими словами поэтъ какъ бы оправдывается въ такомъ сильномъ выраженіи своихъ родительскихъ чувствъ, которое совершенно противорѣчило суровому духу его времени. Онъ какъ бы хочетъ выразить ту мысль, что скорбь въ трудныя минуты жизни врождена каждому человѣку. Названіе „Трены“ взято имъ изъ греческаго языка (Θρήνος—плачь).

Собираясь въ первомъ тренѣ оплакать смерть своего любимаго ребенка, Кохановскій для этого хочетъ слить воедино всѣ выраженія горя, въ которымъ когда-либо прибѣгало человѣчество еще съ самыхъ древнѣйшихъ временъ. Похищеніе Уршули безжалостной смертью поэтъ сравниваетъ съ нападеніемъ хищника на соловьиное гнѣздышко, когда мать готова пожертвовать жизнью, напрасно стараясь защитить своихъ птенцовъ. Оправдываясь передъ тѣми, которые выражаютъ мысль о тщетности слезъ, поэтъ въ отчаяніи восклицаетъ:

Cóż prze Bóg żywy nie jest prózno na świecie?
Wszystko prózno macamy gdzie miękcej w rzeczy,
A ono wszędy ciśnie: błąd wiek człowieczy.

Въ заключеніе онъ останавливается надъ разрѣшеніемъ дилеммы, что лучше: дать волю выраженію своей скорби, или бороться съ природой, всячески стараясь скрыть свои чувства?

Во второмъ тренѣ Кохановскій говоритъ, что ему лучше было бы слагать колыбельныя пѣсни, чѣмъ плакать надъ своимъ ребенкомъ. Съ одинаковой свободой онъ не могъ-бы писать въ томъ и другомъ родѣ поэтическихъ произведеній. Колыбельная пѣсня показала ему слишкомъ легкой и незначительной для его зрѣлой музыки; тогда поразившее поэта несчастье заставило его излить въ стихахъ свои слезы:

Ani mi teraz łatwo dowiadać się o tym,
Jaka mię z płaczu mego czeka cześć na potym,

говоритъ онъ, интересуясь судьбою своихъ треновъ. Далѣе поэтъ съ сожалѣніемъ вспоминаетъ о томъ, что раньше у него не было же-

¹⁾ Приведенное двустипіе сохранилось только въ сочиненіи блаженнаго Августина „De civitate Dei“, съ которымъ, слѣдовательно, былъ знакомъ Кохановскій.

лания пѣть для живыхъ дѣтей, а теперь пришлось слагать свои пѣсни для умершихъ. Снова переходя къ отчаянію, съ душевною болью восклицаетъ несчастный поэтъ:

O prawo krzywdy pełne!

.....
 Takli moja Orszula, jeszcze żyć na świecie
 Nie umiawszy musiała w ranym umrzeć lecie?

.....
 A bodaj ani była świata oglądała.

Вмѣсто утѣшенія, котораго родители могли ждать отъ нея въ будущемъ, она оставила ихъ въ глубокомъ горѣ.

Въ третьемъ тренѣ поэтъ объясняетъ смерть своей дочери тѣмъ, что она пренебрегла весьма незначительнымъ наслѣдствомъ, которое совершенно не соотвѣтствовало богатымъ задаткамъ ея натуры. Съ грустью вспоминаетъ несчастный отецъ милый лепетъ своего ребенка, его забавы и „wdzięczne ukłony“. Зная, что она никогда не вернется, самъ поэтъ готовится пойти по ея слѣдамъ:

Tam cią ujrzę, da Pan Bóg, a ty więc z drogiemi
 Rzuć się ojcu do szyje ręczynkami swemi.

Съ такой трогательной нѣжностью заканчиваетъ Кохановскій свой тренъ, съ наивною вѣрой придавая загробной жизни земной характеръ.

Въ слѣдующемъ тренѣ убитый горемъ отецъ говорить, что смерть, похитивши его ребенка, страхнула съ дерева незрѣлый плодъ и растерзала сердце несчастнымъ родителямъ. Въ какомъ-бы возрастѣ ни умерла Уршуля, скорбь поэта имѣла бы всегда одну и ту же силу. Если-бы даровалъ ей Богъ болѣе долгую жизнь, то она могла бы доставить отцу много утѣшенія. По крайней мѣрѣ, тогда онъ могъ бы спокойно умереть, не чувствуя у себя на сердцѣ такой глубокой скорби, съ которой ничто не можетъ сравниться въ этой земной жизни. Поэта не удивляетъ, что Ниоба окаменѣла при видѣ смерти своихъ дѣтей.

Въ пятомъ тренѣ Кохановскій сравниваетъ свою Уршулю съ молодымъ побѣгомъ оливковаго дерева, который былъ срѣзанъ старательнымъ садовникомъ, расчищавшимъ запущенный садъ отъ волючекъ и крапивы.

. . . . O zła Persephono!
Mogłaześ tak wielu łzom dać upłynąć płono?

Такими словами заканчиваетъ поэтъ свой трень.

Изъ слѣдующаго трена мы узнаемъ, что Уршуля обладала поэтическимъ даромъ и никогда не замыкала усть своихъ, какъ соловей въ саду въ продолженіе цѣлой ночи распѣвая новыя пѣсенки, которыя она сама же и слагала. Ей отецъ предполагалъ оставить вмѣстѣ съ частью Чернолѣса и свою лютню, какъ будущей славянской Сафо, которая, къ его глубокому горю, смолѣла слишкомъ рано. До самой послѣдней минуты она не переставала пѣть. Поцѣловавши свою мать, она говорила ей на прощаніе:

Już ja tobie, moja matko, służyć nie będę
Ani za twym wdzięcznym stołem miejsca zasiędę,
Przyjdzie mi klucze położyć, samej przecz jechać,
Domu rodziców swych miłych wiecznie zaniechać.

Другихъ ея словъ горе не даетъ вспомнить отцу, который удивляется, какъ отъ нихъ не разорвалось сердце матери.

Обращаясь къ платицамъ своей дочери, въ седьмомъ трень поэтъ говоритъ, что одинъ ихъ видъ увеличиваетъ его скорбь, когда онъ подумаетъ, что уже больше никогда они не понадобятся ей. Не такое ложе готовила ей бѣдная мать и не такимъ приданымъ хотѣла снабдить свою дорогую дѣвочку. Мать нарядила ее теперь въ рубашечку и скромное платьице, а отецъ положилъ ей подъ изголовье комокъ сырой земли.

Niestetyś, i posag i ona
W jednej skrzynce zamkniona!

Въ восьмомъ трень поэтъ описываетъ, какъ опустѣлъ его домъ послѣ смерти Уршули,

Jedną maluczką duszą tak wiele cbyło.

Она говорила и пѣла за всѣхъ, весь домъ оживляла своей рѣзвостью, не позволяла матери тосковать и отцу изнурять себя чрезмѣрной умственной работой, обнимая ихъ поочередно и забавляя своимъ милымъ смѣхомъ:

Teraz wszystko umilkło, szczere pustki w domu,
Niemasz zabawki, niemasz rozśmiać się nikomu:

Z kaźdego kąta żałość człowieka ujmuje,
A serce swej pociechy darmo upatruje.

Въ слѣдующемъ девятомъ тренѣ поэтъ выражаетъ желаніе приобрѣсти себѣ хоть бы за дорогую цѣну мудрость, которая, если только говорятъ правду, можетъ искоренять всякую тоску и обращать чловѣка чуть ли не въ ангела, не знающаго что такое скорбь, не чувствующаго тоски, свободнаго отъ несчастій и страха. Для мудрости всѣ чловѣческія дѣла—пустяки; и въ горѣ, и въ радости она сохраняетъ одинаковое состояніе духа, не боится смерти и остается всегда неизмѣнной. Она измѣряетъ богатство не золотомъ и несмѣтными сокровищами, а достаткомъ въ удовлетвореніи природныхъ потребностей. Своимъ пронизательнымъ окомъ, отъ котораго ничто не укроется, мудрость подъ золоченою кровлей замѣчаетъ бѣдняка и не завидуетъ счастью живущихъ умѣренно. Всю жизнь потратилъ поэтъ на то, чтобы стать у ея порога, а теперь судьба внезапно сбросила его съ высшихъ ступеней лѣстницы, ведущей въ храмъ мудрости, и смѣшала съ толпой обыкновенныхъ людей.

„Orszulo moja wdzięczna“, спрашиваетъ поэтъ въ десятомъ тренѣ:
„gdzieś mi się podziała?

W którą stronę, w którąś się krajnę udała?

унеслась ли ты въ надзвѣздныя обители и находишься тамъ въ сонмѣ ангелочковъ, или взята въ рай, или попала на Острова Блаженныхъ? Везетъ ли тебя Харонъ по печальнымъ озерамъ и, напоивши водою забвенія, лишаетъ тебя возможности слышать мои рыданія? Или ты превратилась въ соловья, или пошла туда, гдѣ была еще до своего рожденія?

Gdziekolwiek jest, jeśliś jest, lituj mej żałości!
A nie możeszli w onej dawnej swej całości,
Pociesz mię, jako możesz a stań się przedemną
Lubo snem, lubo cieniem, lub marą nikczemną.

Здѣсь, какъ мы видимъ, отчаяніе поэта доходитъ до своихъ крайнихъ предѣловъ: онъ начинаетъ сомнѣваться во всемъ, даже въ безсмертіи души. Въ томъ же духѣ продолжаетъ онъ говорить въ слѣдующемъ тренѣ, повторяя слова Брута, что добродѣтель ничтожна, съ какой стороны ни взглянуть на нее. Ни благочестіе, ни вротость

не спасали никого отъ бѣдствій. Надъ всѣми людьми властвуетъ какой-то невѣдомый врагъ, который сражаетъ всѣхъ безъ разбора, добродѣтельныхъ и порочныхъ, а мы, ничего не зная, гордимся нашимъ разумомъ, поднимаемся до небесъ, стараюсь разглядѣть божественныя тайны. Но взоръ смертной зѣницы слишкомъ слабъ для этого. Намъ занимаютъ ничтожныя и обманчивыя сны, которые никогда не сбываются въ дѣйствительности. Въ заключеніе поэтъ говорить, что скорбь заставляетъ его терять и утѣшеніе, и благоразуміе.

Въ двѣнадцатомъ тренѣ Кохановскій выражаетъ предположеніе, что ни одинъ отецъ больше, чѣмъ онъ, не любилъ своего ребенка и не горевалъ его скорбью. Съ другой стороны, едва ли было когда нибудь хоть одно дитя, которое до такой степени, какъ его Уршуля, было бы достойно родительской любви. Перечисляя всѣ добродѣтели своей дочери, поэтъ говоритъ, что она безъ утренней молитвы не принималась за пищу; равнымъ образомъ, отходя ко сну, прощалась съ родителями и молилась за нихъ. Всегда спѣшила она встрѣтить отца и привѣтствовать его у самого порога. Гдѣ только могла, она оказывала своимъ родителямъ помощь.

A to tak w małym wieku sobie poczynała,
 Że więcej nad trzydzieści miesięcy nie miała
 Tak wiele cnót jej młodość i takich dzielności
 Nie mogła znieść: upadła od swejże bujności
 Żniwa nie doczekawszi

Опечаленный отецъ сравниваетъ ее съ недозрѣлымъ колосомъ, который ему приходится снова сѣять въ грустную землю, погребая вмѣстѣ съ дочерью всю свою надежду:

Bo już nigdy nie wznidziesz, ani przed mojema
 Wiekóm wiecznie zakwitniesz smutnemi oczema.

Въ слѣдующемъ тренѣ несчастный отецъ выражаетъ желаніе, чтобы его Уршуля или никогда не умирала, или совсѣмъ не раждалась, такъ какъ ея прощальныя слова замѣнили въ его сердцѣ глубокимъ горемъ то маленькое утѣшеніе, которое она при жизни приносила поэту. Кохановскій говоритъ, что она обманула его, какъ призрачное сновидѣніе, которое богатствомъ сокровищъ тѣшитъ жадную мысль,

Potym nagle uciecze, a temu na jawi
Z onych skarbów jeno chęć a żądzą zostawi.

Она взяла съ собою половину души поэта, а другую оставила ему на вѣчную тоску. Въ заключеніе скорбный отецъ приказываетъ вырѣзать слѣдующую эпитафію на памятникѣ своей дочери:

Orszula Kochanowska tu leży, kochanie
Ojcowe, albo raczej płacz i narzekanie.
Opakeś to niebaczna śmierci udziałała,
Nie jać onej, ale mnie ona płakać miała.

Въ четырнадцатомъ тренѣ поэтъ ищетъ тѣхъ воротъ, черезъ которыя нѣкогда спускался Орфей въ подземное царство, чтобы черезъ нихъ проникнуть въ страну тѣней за любимой дочерью, въ надеждѣ смягчить Плутона при помощи своей лютни. Въ случаѣ неудачи поэтъ рѣшается остаться въ Тартарѣ, вмѣстѣ съ жизнью избавившись и отъ тоски.

Въ пятнадцатомъ тренѣ поэтъ ищетъ утѣшенія у златовласой Эрато и лютни, пока еще подобно Нюбѣ не обратился въ каменный столбъ. Думая, что зрѣлище чужихъ несчастій приучаетъ человѣка легче относиться къ своему горю, поэтъ напоминаетъ мнѣ о Нюбѣ и о гибели ея семи сыновей и столькихъ же дочерей:

Takie więc kwiaty leżą kosą podsieczone,
Albo deszczem gwałtownym na ziemię złożone.

Нюбу, желавшую смерти послѣ такого несчастья, постигла новая кара: она обратилась въ мраморный столбъ, продолжая лить горькія слезы, которыя пробилась сквозь камень источникомъ прозрачной воды, откуда пьютъ звѣри и птицы:

Ten grób nie jest na martwym, ten martwy nie w grobie,
Ale samże jest martwym, samże grobem sobie.

Не найдя утѣшенія въ созерцаніи чужого горя, поэтъ въ слѣдующемъ тренѣ хочетъ бросить лютню и разстаться съ жизнью. Онъ сомнѣвается въ томъ, живъ ли онъ, или его тѣшитъ обманчивый сонъ. По его словамъ, легко гордиться разумомъ, пока все человѣку благопріятствуетъ. Пользуясь достаткомъ, мы хвалимъ бѣдность, въ счастье мы легко относимся къ горю, пока наша жизнь течетъ без-

мятежно, смерть намъ кажется пустякомъ, а стоитъ только приблизиться къ намъ горю и неминуемой смерти, куда дѣвается мудрость и и краснорѣчивыя разсужденія о томъ, что вся вселенная—наше отечество! Цицеронъ готовъ былъ перенести всякое несчастье кромѣ позора, однако смерть дочери повергла его въ глубокую скорбь. Римскій ораторъ считалъ смерть страшной только для порочнаго человѣка, тѣмъ не менѣе ему при всѣхъ его добродѣтеляхъ не хотѣлось умирать, когда онъ долженъ былъ сложить свою голову за неосторожныя рѣчи. Онъ доказывалъ другимъ, что мудрость учить переносить страданія, только себѣ онъ не сумѣлъ доказать этого, и у него такъ же болѣла въ несчастѣ душа, какъ и у нашего поэта. Человѣкъ не камень и не можетъ быть инымъ, чѣмъ создала его природа. Изнемогая отъ горя, поэтъ заканчиваетъ свой тренъ обращеніемъ ко времени, сглаживающему всѣ наши чувства:

Czasie, požadnej ojcie niepamięci,
W co ani rozum, ani trafią święci,
Zgój smutne serce, a ten żal surowy
Wybij mi z głowy!

Въ семнадцатомъ тренѣ Кохановскій уже обращается къ Богу и говоритъ, что его коснулась Господня десница и отняла всѣ принадлежавшія ему радости. Встаютъ ли солнце, или гаснетъ, онъ постоянно испытываетъ неутолимую сердечную боль. Вездѣ можетъ человѣка постигнуть несчастье, отъ него мы не спасемся, если будемъ избѣгать поля битвы и бурнаго моря. Поэтъ вель самую скромную и уединенную жизнь, считая себя застрахованнымъ отъ зависти и несчастій, но Богъ, Который видитъ, чего нужно коснуться, и смѣется надъ человѣческими предосторожностями, поразилъ его тѣмъ сильнѣйшимъ ударомъ, чѣмъ въ большей безопасности онъ считалъ себя,

A rozum, który w swobodzie
Umiał mówić o przygodzie,
Dziś ledwe sam wie o sobie.

Напрасно люди стараются доказать, что несчастьемъ не слѣдуетъ называть бѣдствія. Поэту кажется безумнымъ тотъ, кто можетъ смѣяться въ бѣдѣ. Кохановскій понимаетъ того, кто считаетъ слезы недостойной вещью, но такимъ доводомъ не въ силахъ сдержать своей собственной скорби,

Bo mając zranioną duszę,
Rad i nie rad płakać muszę.

Страданія поэта увеличиваются упреками тѣхъ, которые говорятъ, что слезы несогласны съ достоинствомъ мужчины. Онъ проситъ найти ему болѣе легкое средство для утоленія его скорби,

A ja zatem zy niech leję,
Bom stracił wszystkie nadzieję,
By mię rozum miał ratować:
Bóg sam mocen to hamować.

Восемнадцатый треньъ является полнымъ раскаяніемъ, въ которомъ поэтъ называетъ всѣхъ людей непослушными дѣтьми Божьими, рѣдко вспоминающими Его въ счастливыя времена. Мы не замѣчаемъ, что все наше благополучіе зависитъ отъ Его милости и все оно скоро минетъ, если мы не будемъ благодарны за него Богу. Поэтъ молить Господа, чтобы Онъ держалъ насъ въ своей власти и не позволялъ намъ гордиться временными благами, чтобы мы помнили Его хоть въ карахъ, если не хотимъ обращаться къ Нему, когда Онъ милостивъ. Пусть Онъ, какъ отецъ, караетъ насъ; передъ Его гнѣвомъ мы растаемъ, какъ снѣгъ подъ лучами небснаго солнца. Господь насъ можетъ погубить, если надъ нами опустится Его тяжелая десница, но милосердіе Божіе прославлено отъ вѣка. Скорѣе міръ прекратитъ свое существованіе, чѣмъ Господь отвернется отъ смиреннаго, какъ бы долго послѣдній ни противился прежде Его повелѣніямъ. Въ раскаяніи заканчиваетъ поэтъ свой треньъ:

Wielkie przed tobą są występki moje,
Lecz miłosierdzie Twoje
Przewyższa wszystkie złości;
Użyj dziś, Panie, nademną litości!

Въ девятнадцатомъ треньѣ Кохановскій рассказываетъ, что онъ долго не могъ сомкнуть очей, томимый своимъ горемъ. Наконецъ, на разсвѣтѣ сонъ обнялъ поэта своими черными крылами. Тогда Кохановскому предстала его мать съ Уршудей на рукахъ. Дѣвочка имѣла такой видъ, въ какомъ она приходила обыкновенно по утрамъ къ отцу, чтобы прочесть утреннюю молитву. На ребенкѣ была бѣлая рубашечка, вьющіеся волосы обрамляли его румяное личико, а глаза

какъ - будто улыбались. Поэтъ сталъ ждать, что будетъ дальше. Вдругъ мать обращается къ нему съ вопросомъ:

Śpisz, Janie? czy cię żalóść twoja zwykła piecze?

Поэтъ такъ тяжело вздохнулъ тогда, что ему показалось, будто онъ про-
снулся. Затѣмъ мать продолжала утѣшать сына, говоря, что она
принесла ему Уршулю съ цѣлью убѣдить его въ безсмертіи души и
блаженствѣ будущей жизни, съ которымъ не могутъ сравняться ни-
какія бранныя земныя радости. Самыми яркими красками описы-
ваетъ мать загробное существованіе:

Tu troski nie panują, tu pracej nie znają,
Tu nieszczęście, t1 miejsca przygody nie mają,
Tu choroby nie najdzie, tu niemasz starości,
Tu śmierć łzami karmiona nie ma już wolności.

„Мы ведемъ блаженную жизнь, знаемъ причины всѣхъ вещей, намъ
свѣтитъ вѣчное солнце, и никогда для насъ не наступаетъ темная ночь.

Tworcę wszech rzeczy widziem w Jego majestacie,
Czego wy w ciele będąc próżno upatrzacie.

Сюда обрати мысли, сынъ мой, и стремись къ этимъ неизмѣннымъ
сокровищамъ, которыя избраны твоей дочерью. Она подобна тѣмъ,
которые въ первый разъ пустившись въ морское плаваніе и увидѣвши
всевозможныя опасности, направляются къ берегу. Другіе, пустивши
паруса по вѣтру, попали на подводные камни; кого погубили мо-
розы, кого голодъ. Рѣдко кто достигалъ берега на утлой дощечкѣ.
Можетъ быть, Уршуля, благодаря своей смерти, избѣгла всевозмож-
ныхъ бѣдствій земной жизни: безвременнаго сиротства, неудачнаго
замужества, или татарскаго плѣна. Она ушла на небо съ этой по-
рочной земли, ушла чистою отъ всякихъ грѣховъ. О ней не нужно
печалиться. Въ своемъ бѣдствіи не забывай о благоразуміи, помни,
что самой природой предназначено человѣку подвергаться всякимъ
несчастьямъ, ни для кого не сдѣлано въ этомъ исключенія. Не знаю,
почему ты, сынъ мой, считаешь свою судьбу самой тяжелой. Твоя дочь
жила до тѣхъ поръ, пока ей было предназначено; правда, не долго,
но это не во власти человѣка: судьбы Божьи неисповѣдимы. Слезы
не могутъ вернуть умершаго. Человѣкъ, огорчаясь несчастьями, не

принимаетъ во вниманіе тѣхъ счастливыхъ минутъ, которыя и ему выпадали на долю:

Tac jest władza fortuny, mój namilszy synie,
 Że nie tak uskarżać trzeba, że wzdam co zostało,
 Bo to wszystko nieszczęście w ręku swoich miało.
 A tak i ty, folgując prawu powszechnemu,
 Zagródź drogę do serca upadkowi swemu
 A w to patrzaj, co uszło ręku złej przygody,
 Zyskiem człowiek zwać musi, w czym nie popadł szkody.

Наконецъ, къ чему привели тебя твои трудовые годы, которые ты провелъ надъ книгами, мало обращая вниманія на свѣтскія развлеченія? Теперь-бы слѣдовало пожинать тебѣ плоды твоихъ трудовъ и беречь свое слабое здоровье. Утѣшалъ ли ты раньше другихъ въ такомъ же несчастѣи и будешь ли ты болѣе чутвымъ въ чужой бѣдѣ, чѣмъ въ своей?

Teraz, mistrzu, sam się lecz: czas doktor każdemu,
 Ale kto pospolitym torem gardzi, temu
 Tak poznego lekarstwa czekać nie przystoi,
 Rozumem ma uprzedzić, co insze czas goi.

Tego się, synu, trzymaj a ludzkie przygody
 Ludzkie noś. Jeden jest Pan smutku i nagrody“.

Послѣ такихъ словъ она исчезла. Поэтъ очнулся, неувѣренный, во снѣ ли это происходило, или на яву.

Таково содержаніе треневъ, которые, какъ мы видимъ, расположены въ извѣстной системѣ ¹⁾. Послѣ первыхъ двухъ вступительныхъ слѣдуютъ шесть повѣствовательныхъ треневъ, прерываемыхъ мѣстами лирическими отступленіями. Отъ IX по XIII слѣдуютъ трены, прониженные самымъ безнадежнымъ отчаяніемъ, пренебреженіемъ въ разуму, невѣріемъ въ безсмертіе души и насмѣшками надъ добродѣтелью. Отъ XIV по XVIII уже замѣтно стремленіе къ утѣшенію, котораго поэтъ ищетъ сначала въ поэзіи, собиравая подобно Орфею, отправиться съ лютней за Уршулей, затѣмъ воспоминаніи о чужихъ

¹⁾ Попытку разбора хронологической послѣдовательности „Треневъ“ мы занимаемъ у Неринга. (См. Biblioteka Warszawska 1881 г.).

страданіяхъ, въ слезахъ, въ исцѣляющей силѣ времени и, наконецъ, въ Богѣ, Который Одинъ въ состояніи облегчить боль человѣческаго сердца. XIX трень составляетъ какъ бы полную развязку той драмы, которая происходила въ душѣ Кохановскаго. Такимъ образомъ, трены можно раздѣлить на три части: 1) воспоминанія о печальномъ событіи, 2) безнадежное отчаяніе и 3) попытка найти утѣшеніе, при чемъ вторую и третью части можно назвать лирическими. Такое распредѣленіе треновъ можно считать лишь приблизительнымъ, потому что, напримѣръ, XII трень легко отнести къ эпической части, III и V къ лирической. X трень удобнѣе было бы поставить передъ девятымъ. Начиная съ восьмого, трены можно было бы расположить въ слѣдующемъ порядкѣ: VIII, X, XII, XIV, XV, XIII, IX, XI, XVI, XVII. Отсюда ясно, что попытка найти въ тренахъ строгую послѣдовательность едва ли можетъ привести къ какимъ-нибудь результатамъ. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ тутъ было несчастному отцу заботиться о порядкѣ ихъ распредѣленія, когда чувство, только что успѣвшее переболѣть, находило въ нихъ для себя выраженіе?

Трудно предположить, чтобы Кохановскій тотчасъ послѣ смерти своей дочери написалъ трены. Поэтическое вдохновеніе по психологическимъ законамъ невозможно въ первыя минуты казого - либо душевнаго потрясенія. Для творческой дѣятельности необходима болѣе или менѣе отдаленная перспектива, только рефлексія въ состояніи создавать художественные образы. Въ данномъ случаѣ справедливы слова Шиллера: „Was unsterblich im Belang soll leben, muß im Leben untergehen“.

Въ тренахъ видно уже болѣе спокойное состояніе духа, такъ какъ поэтъ въ нихъ, кромѣ своего собственнаго чувства принимаетъ во вниманіе и читателя:

Ani mi teraz łącno dowiadać się o tem,

Яка миѣ з płaczu mego czeka cześć na potym?

Кромѣ этого, здѣсь встрѣчаются мифологическіе образы, къ которымъ, обыкновенно, прибѣгалъ Кохановскій, желая украсить свои произведенія. Однако, отсюда не слѣдуетъ, чтобы трены возникли по совершенно спокойному заранѣ обдуманному плану. Тогда въ нихъ замѣтно было бы больше послѣдовательности и не встрѣчались бы повторенія однѣхъ и тѣхъ же мыслей. Все это указываетъ на то, что трены возникали въ разное время. Позже всѣхъ былъ написанъ

XIX тренъ. Почти къ одному времени съ нимъ нужно отнести I и II. Самымъ раннимъ нужно считать III, въ основаніе котораго положены два мотива, которые повторяются въ другихъ трепахъ; о достоинствахъ и талантахъ Уршули повѣствуетъ XII тренъ въ общихъ чертахъ, VI о поэтическомъ въ частности. Вторую мысль—итти слѣдомъ за дочерью—поэтъ развиваетъ въ XIV тренѣ, собираясь, по примѣру Орфея, спуститься въ подземное царство за Уршудей. Слѣдовательно, III тренъ, гдѣ только намѣчены мысли, развиты въ VI, XII и XIV тренахъ, скорѣе возникъ раньше ихъ, чѣмъ наоборотъ. Въ немъ заключаются главнѣйшіе мотивы всѣхъ треновъ: скорбь объ утратѣ и желаніе встрѣтиться снова съ умершей дочерью. Равнымъ образомъ прототипомъ XV трена послужилъ IV, гдѣ намѣченъ мотивъ о Ниобѣ, развитый въ первомъ. (*Nie dziwuje się tobie, Niobe, żeś skamieniała*). Вотъ и все, что можно сказать о хронологической послѣдовательности треновъ. Ту группировку, которую мы видимъ въ собраніяхъ стихотвореній Кохановскаго, поэтъ придалъ имъ, отдавая ихъ въ печать. Въ дѣйствительности они были написаны въ разное время, „въ различныхъ стадіяхъ страданія“, какъ выражается Шуйскій¹⁾. Первоначально нѣкоторые изъ нихъ возникли въ видѣ элегическихъ пѣсней. Вѣроятно, поэтъ предполагалъ ихъ помѣстить среди другихъ пѣсней; таковы III, IV, V, VI и, можетъ быть, XII трены. Кохановскій искалъ облегченія въ поэзіи и все чаще и чаще обращался въ стихотвореніяхъ къ предмету своей скорби. Не находя удовлетворенія въ философскихъ ученіяхъ, онъ все глубже и глубже погружался въ нихъ и свое собственное горе поднималъ до общечеловѣческой высоты. Такимъ образомъ, къ вышеупомянутымъ пѣснямъ присоединялись новыя и образовались трены въ томъ видѣ, какъ мы ихъ имѣемъ. Обратимся къ разбору каждаго трена въ отдѣльности.

Первый, какъ мы уже говорили, составляетъ вступленіе ко всѣмъ остальнымъ и выражаетъ главную ихъ мысль: прилично ли человѣку, при всемъ его знаніи, отдавать долгъ природѣ, выражая въ слезахъ свое горе, или лучше восторжествовать надъ своей скорбью и ничѣмъ не обнаруживать ее? Стихотвореніе начинается обращеніемъ поэта ко всѣмъ выраженіямъ человѣческаго горя, чтобы они

¹⁾ См. Szujski. Zestawienie Trenów i Ojca Zadżumionych. Rocznik Tow. nauk. Krak. T. XI. 1866 г.

помогли ему оплакать смерть горячо любимой дочери. Здѣсь мы видимъ литературный пріемъ эпическихъ поэтовъ древней Эллады и Рима. Слѣдовательно, Кохановскій разсматривалъ свои трены во всей ихъ совокупности, какъ поэму общечеловѣческаго страданія, предъ лицомъ неумолимой смерти, которую поэтъ въ очень красивыхъ выраженіяхъ сравниваетъ съ хищникомъ, нападающимъ на соловьиное гнѣздо.

. Tymczasem matka szczebiece
 Uboga, a na zbójcę coraz się miecie
 Próżno

Слово „próżno“ служитъ переходомъ къ главной темѣ всѣхъ треновъ:

Próżno płakać podobno drudzy rzeczecie.

Отвѣчая этимъ равнодушнымъ людямъ, Кохановскій очень удачно играетъ словомъ „próżno“, примѣняя его для обозначенія суетности всего въ мирѣ:

Wszystko próżno! macamy, gdzie miękcej w rzeczy,
 A ono wszędy ciśnie: błąd wiek człowieczy.

Послѣдняя мысль заимствована поэтомъ изъ 21, 22 и 48 стиховъ XXXIX псалма. Въ двухъ заключительныхъ стихахъ прекрасно намѣчена дилемма, разрѣшаемая во всѣхъ остальныхъ треняхъ:

Nie wiem, co łzej, czy smutku jawnie żałować,
 Czyli się z przyrodzeniem gwałtem mocować?

Слѣдующій трень связывается съ первымъ мыслью тѣхъ людей, которые считаютъ выраженіе челоуѣческаго горя недостаточно серьезной вещью. Въ такомъ случаѣ поэтъ жалѣетъ, что не началъ писать колыбельныхъ пѣсенъ, думая, что онѣ не сообразны съ его поэтической зрѣлостью. Во всякомъ случаѣ, онѣ болѣе достойны названія „легкихъ“ произведеній, чѣмъ его трены. Здѣсь Кохановскій горячо протестуетъ противъ господствовавшаго въ тотъ суровый вѣкъ взгляда на выраженія горя. Въ этомъ случаѣ его устами говорить не только челоуѣкъ, но и поэтъ, который сильно заинтересованъ въ судьбѣ своихъ произведеній:

Ani mi teraz łacno dowiadać się o tem,
 Jaka mię z płaczu mego czeka cześć na potym.

Онъ прекрасно сознаетъ зависимость человѣка отъ вѣднѣй судьбы но, прилагая къ нимъ обыкновенное людское мѣрило справедливости, онъ всѣмъ существомъ своимъ вооружается противъ фатальнаго закона, отнимающаго жизнь у того существа, которое только еще начинаетъ жить:

O prawo krzywdy pełne!...

воскликаетъ человѣкъ, поруганный въ самыхъ завѣтныхъ своихъ вѣрованіяхъ: законъ, цѣль котораго состоитъ въ соблюденіи мировой гармоніи, вдругъ оказывается несправедливымъ въ примѣненіи къ людямъ. Мы видѣли, какъ въ третьей элегіи четвертой книги Кохановскій опровергалъ антропоцентрическую точку зрѣнія. Теперь страданіе заглушило въ немъ философа и онъ, какъ слабый, немощный человѣкъ, ропщетъ противъ мировыхъ законовъ:

O prawo krzywdy pełne!

воскликаетъ онъ, подобно ветхозавѣтному, великому страдальцу Іову, который говорилъ Богу: „противъ листа, срываемаго вѣтромъ, Ты показываешь свое могущество. . . И Ты считаешь достойнымъ (Себя) на такого отверзать Свои очи и призывать его на судъ съ Собою“. При воспоминаніи объ Уршулѣ, такъ несправедливо сраженной смертью, бурное отчаяніе поэта смѣняется глубоко нѣжной грустью, для выраженія которой поэтъ прибѣгаетъ къ самымъ трогательнымъ образамъ:

Takli, moja Orszula, jeszcze żyć na świecie
 Nieumiawszy, musiała w ranem umrzeć lecie,
 I nie napatrzywszy się jasności słonecznej,
 Poszła nieboga widzieć kraj ów nocy wiecznej?

Тотъ же тонъ нѣжной грусти продолжается и растетъ въ слѣдующемъ тренѣ, гдѣ поэтъ говоритъ о богатыхъ задаткахъ своей умершей дочери. Въ концѣ стихотворенія, когда отецъ выражаетъ желаніе пойти за Уршулей и представляетъ себѣ свиданіе съ ней такимъ же образомъ, какъ оно происходило при ея жизни, когда поэтъ возвращался домой и любимая дочь бросалась къ нему на шею, обнимая его своими маленькими рученками, нѣжность достигаетъ самой крайней степени силы и реализма:

Tam się ujrzę, da Pan Bóg, a ty więc z drogiemi
Rzuć się ojcu do szyje rączynkami swemi.

Четвертый трень по своей мысли находится в связи со вторымъ, гдѣ поэтъ говоритъ о преждевременной кончинѣ своей дочери и здѣсь мы видимъ то-же самое въ слѣдующемъ прекрасномъ образномъ выраженіи:

Widziałem kiedys (smierć) trzęsła owoc niedojrzały.

Съ предыдущимъ треномъ разбираемое нами стихотвореніе соединяетъ мысль о возможности развитія тѣхъ задатковъ, которыми была одарена Уршуля, если бы только она осталась въ живыхъ:

A ona (by był Bóg chciał) dłuższym wiekiem swoim
Siła pociech przymnożyć mogła oczom moim.

Кромѣ вышеприведеннаго сравненія этотъ трень не имѣетъ особенныхъ литературныхъ достоинствъ и является болѣе слабымъ повтореніемъ мыслей, выраженныхъ въ двухъ предыдущихъ. Новымъ здѣсь является эпиграмматическое упоминаніе о Ниобѣ. Послѣдній миеологическій образъ также какъ выраженіе „Persephonie“ указываютъ на болѣе позднее происхожденіе этого трена, когда поэтъ могъ уже думать о литературной формѣ, которая требовала реминисценцій изъ классиковъ.

Извѣрившись въ справедливости міровыхъ законовъ, поэтъ склоненъ объяснять каждое явленіе слѣпой случайностью. Эту мысль проводитъ онъ въ V трень путемъ въ высшей степени художественнаго сравненія смерти своей дочери съ молодымъ побѣгомъ оливковаго дерева, который былъ случайно срѣзанъ рачительнымъ садовникомъ вмѣстѣ съ крапивою и бурьяномъ. Это сравненіе отличается рѣдкой полнотою и выдержанностью въ обѣихъ частяхъ. Мысль о преждевременной кончинѣ дочери связываетъ этотъ трень съ предыдущимъ.

Слѣдующій VI примыкаетъ къ третьему, такъ какъ въ немъ идетъ рѣчь о наслѣдствѣ, которое должна была получить Уршуля. Ей

. . . . nietylko moja cząstka ziemieńska,
Ale i lutnia dziedzicznym prawem spaść miała.

Здѣсь поэтъ шире развиваетъ высказанную въ томъ же III трень мысль о задаткахъ своей дочери; кромѣ перечисленныхъ тамъ качествъ она обладала еще даромъ пѣсенъ:

Te nadzieje już po sobie okazowała,
 Nowe piosnki sobie tworząc, nie zamykając
 Ustek nigdy, ale cały dzień prześpiewając,
 Jako więc lichy słowiczek w krzaku zielonym.

Приведенное здѣсь сравненіе съ соловьемъ можетъ быть сопоставлено съ тѣмъ, которое мы видѣли еще въ I тренѣ, гдѣ описывается нападеніе хищника на *соловиное* гнѣздо. Трогательная нѣжность, съ которой рисуется Кохановскій прощаніе своей Уршули съ матерью, еще больше сближаетъ разбираемый тренъ съ третьимъ. Въ послѣднемъ онъ выражаетъ, преимущественно, отцовскія чувства, а здѣсь материнскія. Особенно хорошъ въ этомъ стихотвореніи въ высшей степени пѣвучій стихъ при передачѣ прощальныхъ словъ Уршули.

Въ слѣдующемъ VII тренѣ видъ нарядовъ Уршули по ассоціаціи смежности приводитъ поэту на память материнскіе планы о ея приданомъ, когда придется выдавать Уршулю замужъ. Въ высшей степени сильное впечатлѣніе производитъ этотъ контрастъ между снаряженіемъ на свадьбу и погребеніемъ:

Nie do takej lożnice, moja dziewczko droga,
 Miała cię mać uboga
 Doprowadzić, nie taką dać obiecowała
 Wyprawę, jakąś dała.

Послѣднія слова трена имѣютъ себѣ аналогію въ 89 стихѣ четвертой элегии III книги, на смерть Тенчинскаго:

Tot bona tam parvo clausa jacent tumulo

также въ 26 стихѣ „Pan Zamchanus“ — „uno omnia clausa locello“. По своей безыскусственной простотѣ и глубинѣ непосредственного чувства этотъ тренъ, какъ вѣрное изображеніе родительскаго горя, долженъ занять одно изъ лучшихъ мѣстъ въ лирикѣ подобнаго рода.

Тѣмъ же чувствомъ проникнуть слѣдующій восьмой тренъ, написанный, вѣроятно, тотчасъ послѣ погребенія Уршули, когда родители вернулись въ осиротѣлый домъ, каждый уголокъ котораго напоминаетъ имъ о дочери. Съ большей правдой, чѣмъ здѣсь, невозможно описать чувства пустоты, которое испытывается семьей послѣ потери своего любимаго члена. Холодомъ одиночества такъ и вѣетъ отъ каждой строки этого стихотворенія. Хороши здѣсь нѣкоторыя

отдѣльныя выраженія, какъ, напримѣръ: „myślenie zbyteńie“, которое можетъ обозначать и умственные занятія поэта, и его усиленные заботы о семьѣ. Этимъ тренемъ заканчивается описаніе печальнаго событія въ лиро-эпической формѣ.

Слѣдующій, девятый, повѣствуетъ о стремленіи поэта найти утѣшеніе въ философіи, занятіямъ которой онъ посвятилъ всю свою жизнь. Здѣсь мы имѣемъ прекрасную характеристику стоицизма,

Który nie wie, co boleść, frasunku nie czuje,
Złym przygodom nie podległ, strachom nie hołduje.

и т. д....

Подобное мѣсто мы уже встрѣчали во второй элегии четвертой книги, на смерть Яна Тарновскаго:

Rebus in adversis idem laetisque fuisti
Pectoris unus erat sorte in utraque tenor.
Divitias metiri auro falsum esse putasti.

Но всѣ сокровища человѣческой мудрости разлеглись въ прахъ передъ лицомъ горя. Желая въ теченіе всей своей жизни при помощи знанія подняться надъ толпою, поэтъ, сраженный тяжелою утратой, снова смѣшался съ простыми смертными. Это мѣсто весьма напоминаетъ знаменитый монологъ Фауста ¹⁾:

Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medicin,
Und, leider! auch Theologie
Durchaus studirt, mit heißem Bemühn
Da steh'ich nun, ich armer Thor!
Und bin so klug, als wie zuvor. . .

.

Не найдя утѣшенія въ стоицизмѣ, поэтъ въ слѣдующемъ, десятомъ, тренѣ разсматриваетъ различныя ученія о загробной жизни. (Желаніе Кохановскаго заняться этимъ вопросомъ мы видѣли уже въ 13 элегии III книги). Прежде всего въ этомъ тренѣ мы встрѣчаемся съ мыслью Платона о занебесныхъ пространствахъ, съ которой нашъ

¹⁾ Faust. Göthe. Berlin. 1869. S. 17.

поэтъ связываетъ христіанское представленіе о раѣ и о причисленіи младенцевъ къ сонму ангеловъ. Затѣмъ слѣдуетъ древнегреческое мѣологическое понятіе объ Островахъ Блаженства, о Харонѣ и о Летѣ. Отсюда поэтъ переходитъ къ католическому ученію о чистилицѣ, затѣмъ, къ мысли Пифагора о переселеніи душъ, предполагая, что Уршуля превратилась въ соловья. (Послѣдняя мысль напоминаетъ балладу о Филомелѣ въ 9 пѣснѣ „Собутки“). Наконецъ, мысль поэта снова возвращается къ Платону и его ученію о предсуществованіи душъ. Ни одна изъ этихъ теорій не удовлетворяетъ несчастнаго отца, который, подъ вліяніемъ своего горя, начинаетъ сомнѣваться въ безсмертіи души:

Gdziekolwiek jest, jeśli jest...

Поэтъ больше не вѣритъ философскимъ и теологическимъ ученіямъ; онъ, подобно Өомѣ, желаетъ реального доказательства. Наука измѣнила ему, прежняя вѣра, съ которой онъ переводилъ вдохновенные гимны псалмопѣвца Давида, оставила его. Лишившись поддержки вѣры и разума, бѣдный отецъ все дальше и дальше скатывается внизъ по наклонной плоскости сомнѣнія.

Въ мірѣ нѣтъ цѣлесообразности, всѣмъ управляетъ слѣпой случай. Слѣдовательно, ни добродѣтель, ни благочестіе не имѣютъ никакого значенія. Къ такому ужасному выводу приходитъ поэтъ въ слѣдующемъ XI трень:

Kogo kiedy pobożność jego ratowała?
Kogo dobroć przypadku złęgo uchowała?

Всѣ усилія нашего разума отгадать тайны природы ни къ чему не приводятъ. Въмѣсто истины насъ тѣшатъ обманчивые сны.

Wspinamy się do nieba, Boże tajemnice
Upatrując, ale wzrok śmiertelnej źrzenice
Teru na to

Въ послѣднихъ словахъ уже видны слѣды перелома, который начинается происходить въ душѣ поэта; прежній скептицизмъ постепенно уступаетъ мѣсто смиренію, невозможность постигнуть тайнъ природы объясняется несовершенствомъ человѣческаго разума. Смиреніе заставляетъ поэта опомниться:

Żałości, co mi czynisz? owa już oboje
 Mam stracić: i pociechę, i baczenie swoje.

Въ слѣдующемъ XII тренѣ нѣтъ уже мѣста горькому скептицизму. Человѣкъ побѣдилъ въ немъ философа и ищетъ утѣшенія въ слезахъ и воспоминаніяхъ о достоинствахъ своей умершей дочери. Здѣсь весьма широко развивается и дополняется тема III трена.

Tak wiele snót jej młodość i takich dzielności
 Nie mogła znieść: upadła od swej bujności,
 Żniwa nie doczekawszy

говорить поэтъ объ Уршулѣ. Слезы слышатся въ каждомъ словѣ Кохановскаго, когда онъ обращается къ ней, продолжая это высокохудожественное сравненіе:

. kłósie mój jedyny,
 Jeszcześ mi się był nie stał, a ja, twej godziny
 Nie czekając, znowu cię w smutną ziemię sieje,
 Ale pospołu z tobą grzebię i nadzieję,
 Bo już nigdy nie wznidziesz, ani przed mojema
 Wiekom wiecznie zakwitniesz smutnemi oczema.

Сравненіе дѣвичьей жизни съ распустившимся цвѣткомъ очень напоминаетъ аналогичные образы въ народной поэзіи.

Тѣ-же слезы продолжаются въ XIII тренѣ, гдѣ поэтъ жалуется на Уршулю за то, что она вмѣсто утѣшенія принесла ему горе. Послѣдняя мысль сближаетъ этотъ тренъ со II. Очень хорошо въ немъ слѣдующее сравненіе:

Omyliłaś mię, jako nocny sen znikomy,
 Który wielkością złota cieszy zmysł łakomy,
 Potem nagle uciecze, a temu na jawi
 Z onych skarbów jeno chęć a żądzą zostawi.

Въ XIV тренѣ видно стремленіе поэта найти утѣшеніе въ поэзіи. Подобно Орфею, онъ вмѣстѣ съ лютней желаетъ спуститься въ подземное царство, въ надеждѣ тронуть своими пѣснями суроваго Плутона и вернуть свою милую дочь. Мысль о Харонѣ и мрачномъ Тартарѣ уже встрѣчалась намъ въ X тренѣ. Здѣсь она развита шире,

въ цѣлую довольно красивую картину, которую съ нынѣшней точки зрѣнія нѣсколько портитъ мѣологія. Въ XVI столѣтіи это зачали бы скорѣе въ заслугу поэту, чѣмъ въ порицаніе.

Въ слѣдующемъ, пятнадцатомъ, тренѣ поэтъ продолжаетъ искать утѣшенія въ поэзіи, пока онъ не успѣлъ еще превратиться въ каменный столбъ, подобно Ніобѣ. Послѣдній мотивъ, намѣченный въ четвертомъ тренѣ, здѣсь находитъ свое полное развитіе, въ которомъ заслуживаетъ вниманія очень красивое сравненіе умершихъ дѣтей съ подкошенными цвѣтами:

Takie więc kwiaty leżą kosą podsieczone,
Abo deszczem gwałtownym na ziemię złożone.

Въ общемъ, это стихотвореніе, благодаря обилію мѣологическихъ представленій, много теряетъ въ оригинальности и свѣжести чувства, хотя нѣкоторымъ мѣстамъ нельзя отказать въ литературныхъ достоинствахъ, какъ, на примѣръ кромѣ вышеуказаннаго мѣста, слѣдующее:

I stoi na Sipyłu marmor nieprzetrwany,
Jednak i pod kamieniem żywią skryte rany,
Jej bowiem łzy serdeczne skałę przenikają
I przeźroczystym z góry strumieniem spadają.

Это сравненіе отличается пластичностью и рѣдкою силой. Два заключительныхъ стиха этого трена представляютъ почти дословный переводъ одного стихотворенія изъ греческой Антологіи.

Надежда поэта найти утѣшеніе въ поэзіи не оправдалась. Никакія цѣсни не въ состояніи унять его боли. Онѣ только растрavляютъ его свѣжія раны. Въ XVI тренѣ къ поэту опять возвращаются тѣ сомнѣнія, которыя мы видѣли въ XI; какъ тамъ, онъ и здѣсь приходитъ къ безотрадному заключенію, что жизнь человѣческая—обманчивый сонъ. Какъ тамъ, онъ порицаетъ гордость нашего разума, пока мы пользуемся счастьемъ. Еще глубже отмѣчаетъ здѣсь поэтъ несостоятельность стоической философіи предъ лицомъ настоящаго горя. Жизненной правдой и горькою ироніей дышать слѣдующія слова Кохановскаго:

Przecz z płaczem idziesz, Arpinie wymowny,
Z miłej ojczyzny,—wszak nie Rzym budowny,

Ale świat wszytek miastem jest mądrymu
 .Widzeniu twemu?
 Czemu tak barzo córki swej żałujesz?
 Wszak się ty tylko sromoty wiarujesz.
 Insze wszelakie u ciebie przygody
 Ledwie nie gody.

Здѣсь поэтъ разрѣшаетъ дилемму, поставленную въ первомъ треньѣ:

Człowiek nie kamień, a jako się stawia
 Fortuna, takich myśli nas nabawi.

Никакая мудрость и вѣра не въ силахъ помочь человѣческому горю. Одно лишь время способно заглушить его забвеніемъ. Этотъ трень въ прекрасной формѣ и съ психологической вѣрностью передаетъ чувства, которыя долженъ былъ испытывать подъ влияніемъ горя во всемъ извѣрившійся поэтъ. Въ художественномъ отношеніи за разобраннѣмъ стихотвореніемъ нужно признать выдающіяся достоинства и глубокой реализмъ. Къ безотрадному заключенію приводятъ поэта не классики и гуманисты, которымъ онъ подражалъ раньше, а сама жизнь.

И эта новая вспышка скептицизма въ XVII трень погасла въ душѣ поэта, уступивши мѣсто истинно христіанскому смиренію. Покорный волѣ Божьей, отъ которой никто нигдѣ не можетъ скрыться, поэтъ, всетаки, не въ силахъ утолить своей печали. Онъ правдиво и искренно возражаетъ тѣмъ, которые упрекали его за трены, какъ за легкія, недостаточно серьезные произведенія:

Kto zaś na płacz lekkość wkłada,
 Słyszac dobrze, co powiada,
 Lecz się tem żal nie hamuje,
 Owszem więszy przystępuje.
 Bo mając zranioną duszę,
 Rad i nierad płakać muszę.

Не найдя утѣшенія въ разумѣ, поэтъ обращается снова къ Богу:

A ja zatem łzy niech leją,
 Bom stracił wszytkę nadzieję:
 Bo mię rozum miał ratować,
 Bóg sam mocen to hamować.

Здѣсь мы видимъ, что въ душѣ Кохановскаго произошелъ окончательный переломъ. Ни философія, ни поэзія не принесли ему желаннаго облегченія, и онъ обращается къ тихому пристанищу вѣры.

Настоящимъ покаяннымъ псалмомъ звучитъ XVIII трень, выдержанный въ возвышенномъ и удивительно простомъ стилѣ. Его идея—необходимость кары Божьей для того, чтобы легбемысленные люди не забывали Его милостей. Поэтъ молитъ Бога, чтобы Онъ каралъ людей, какъ любящій отецъ, иначе Его тяжелая рука способна погубить весь человѣческій родъ. Одна лишь Его немилость—тяжелая мука. Эта мысль взята Кохановскимъ изъ XXXVII и LVIII псалмовъ. Оканчивается трень безграничнымъ упованіемъ на милость Божию ко всѣмъ, если только они смирятся:

A pierwej świat zaginie,
Niż ty wzgardzisz pokornym,
Chocia był długo przeciw Tobie spornym.

Съ глубокимъ раскаяніемъ въ своемъ грѣхѣ передъ Богомъ, въ своемъ дерзостномъ ропотѣ противъ Него, заканчиваетъ поэтъ свою покаянную пѣснь молитвой:

Wielkie przed Tobą są występny moje,
Lecz miłosierdzie Twoje
Przewyższa wszystkie złości.
Użyj dziś, Panie, nademną litości!

Этотъ трогательный гимнъ Божьему милосердію, эта смиренная покаянная молитва, вылившаяся изъ самыхъ нѣдръ души скорбнаго поэта, кажется намъ лучшимъ заключительнымъ аккордомъ всѣхъ его треновъ. Здѣсь передъ нами стоитъ христіанинъ въ самомъ лучшемъ и строгомъ значеніи этого слова.

Слѣдующій XIX трень, написанный позже всѣхъ другихъ, представляетъ выраженіе полного успокоенія поэта. Композиція этого стихотворенія весьма напоминаетъ одиннадцатую элегію второй книги. Тамъ мы читаемъ:

Nox erat, et passim per terras fusa jacebant
Corpora, fessa pigro corda fovente deo.
At mea pervigiles mordebant pectora curae
Somno sollicitum defugiente torum.
Tandem surgentis cum fulsit lucida Phoebi
Lampas, complexa est me quoque sera quies.

Разбираемый трень начинается почти тѣми же словами:

Załość moja długo w nos oczu mi nie dała
 Zamknąć i zemdlonego upokoić ciała.
 Ledwie mię na godzinę przed świtanem swemi
 Sen leniwy obłapił skrzydły czarnawemi.

Только образъ сна, который одѣваетъ поэта черными крылами, здѣсь гораздо красивѣе. Самая мысль утѣшенія со стороны матери, по всей вѣроятности, заимствована Кохановскимъ изъ „*Consolationes ad Martiam*“ Сенеки, который говоритъ: „представь себѣ, Марція, что къ тебѣ обращается изъ небесныхъ обителей *твой отецъ*: отчего тебя, дочь моя, такъ долго мучить скорбь? Отчего ты такъ далека отъ разумнѣя истины, думая, что несправедливая судьба встрѣтила твоего сына, который, сокративши свою жизнь, отправился къ предкамъ? Мы здѣсь собираемся всѣ вмѣстѣ и, окруженные небезпросвѣтною ночью, узнаемъ, что у васъ нѣтъ ничего такого, чего бы стоило желать“. (Утѣшеніе отцомъ скорбящаго сына мы видѣли также въ стихотвореніи нашего поэта на смерть Гарновскаго, откуда многія мысли повторены Кохановскимъ въ XIX трень). Поэтъ хотя и подражаетъ въ данномъ случаѣ Сенеку, но вноситъ свой прекрасный образъ сна и матери съ внучкой на рукавъ:

. . . (mac) na rękę Orszulę moję wdzięczną miała,
 Jako więc po ramię do mnie przychodziła,
 Skoro z swego posłania rano się ruszyła.
 Gieźleczko białe na niej, włoski pokręcone,
 Twarz rumiana, a oczy ku śmiechu skłonięne.

Въ самыхъ утѣшеніяхъ матери, помимо чисто христіанскаго основанія, встрѣчаются нѣкоторые мѣста, заимствованныя у Сенеки:

Czyli nas już umarłe macie za stracone,
 I którym już na wieki słońce jest zgaszone?
 A my owszem żywiemy żywot tem ważniejszy,
 Czem nad to grube ciało duch jest szlachetniejszy;
 Ziemia w ziemię się wraca, a duch z nieba dany
 Miał by zginać, ani na miejsca swe wezwany?

Аналогичное мѣсто мы видѣли въ „Сатирѣ“:

323. Człeku, którego dusza poszła z nieba,
 O tym czuć, o tym myśleć ustawicznie trzeba:
 Jakoby się mógł wrócić na miejsca ojczyznie,
 Gdzie spólnie przebywają duchy wiekuiste.

Сенека говоритъ, что преждевременную смерть нельзя считать зломъ, такъ какъ будущность человѣка никому не извѣстна. То же самое мы видимъ у Кохановскаго:

. ani się frasuj, że tak rana
 Twojej ze wszech namilszej dziewce śmierć zesłana.
 Nie od rozkoszyć poszła, poszłać od zazdrości,
 Od pracej, od frasunków, od łez, od żałości

Подобную же мысль о бренности земныхъ утѣхъ и радостей мы уже встрѣчали въ элегии на смерть Тарновскаго:

Vivis enim vere, mortali carcere liber,
 Sublimemque habitas aetheris arce domum;
 Quae nulli est hiemi, nullisque obnoxia nimbis,
 Sed lucem aeternam, nescia noctis habet.
 Hic labor et curae insomnes, hic aegra senectus,
 Hic morbique vigent sollicitusque timor.
 Felix, qui scopulos evaseris aequoris hujus,
 Incolumi portum contigerisque rate.

Здѣсь мы имѣемъ тоже самое сравненіе человѣческой жизни съ моремъ и смерти съ пристанью, которое поэтъ могъ почерпнуть не только изъ Сенеки, какъ это старается доказать Калленбахъ¹⁾, но и у христіанскихъ писателей и даже прямо изъ богослуженія. Въ разбираемомъ стихотвореніи есть очень красивыя мѣста, какъ, напримѣръ:

(Orszula) między anioły i duchy wiecznemi
 Jako wdzięczna jutrzeńka świeci, a za swemi
 Rodzicami się modli, jako to umiała,
 Z wami będąc, choć jeszcze słów nie domawiała.

или слѣдующее описаніе загробной жизни:

¹⁾ См. *Filozofia J. Kochanowskiego. Szkic liter. skreśl J. Kallenbach. Kraków. 1888.*

Tu troski nie panują, tu pracej nie znają и т. д.

Хорошо также утѣшеніе, съ которымъ обращается мать къ поэту, чтобы онъ не считалъ себя *самымъ* несчастнымъ на землѣ.

Психологической вѣрностью отличаются слѣдующія слова:

. . . . człowiek nie zda się praw szczęściu w tej mierze,
Ze szkody pospolicie tylko przedsięwzię,
A tego baczyć nie chce ani mieć w pamięci,
Co mu też czasem padnie wedle jego chęci.

Въ біографическомъ отношеніи важно слѣдующее мѣсто:

Nakoniec: w co się on koszt i ona utrata,
W co się praca i twoje obróciły lata,
Któreś ty niemal wszystkie strawił nad księgami,
Mało się bawiąc świata tego zabawami?

Прекрасны заключительныя слова матери:

Tego się, synu, trzymaj, a ludzkie przygody
Ludzkie noś: jeden jest Pan smutku i nagrody.

Удачнымъ литературнымъ приемомъ является здѣсь то, что Кохановскій оставляетъ читателя въ недоумѣніи, сонъ ли это былъ, или дѣйствительность. Единственнымъ недостаткомъ этого трена можно считать его растянутость, не совсѣмъ удобную для лирическаго произведенія.

Первый трень написанъ двѣнадцатисложнымъ размѣромъ, весьма похожимъ на александрійскій стихъ. Цезура не вездѣ стоитъ на одномъ и томъ же мѣстѣ. Риёмовка не всегда удачна (напримѣръ: *znoście* и *romoście*), встрѣчаются часто глагольныя риёмы. Начиная съ 13 стиха, риёмовка безукоризненна.

Слѣдующій II трень насчитываетъ 30 стиховъ, написанныхъ тринадцатисложнымъ размѣромъ съ цезурой послѣ седьмого слога.

III и IV написаны тѣмъ же размѣромъ, но цезура не вездѣ одинакова.

Въ V и VI тотъ же размѣръ, но цезура вездѣ послѣ седьмого слога.

VII состоитъ изъ 18 стиховъ. Всѣ нечетныя строки написаны тринадцатисложнымъ размѣромъ съ цезурой послѣ седьмого слога, а четныя состоятъ изъ семи слоговъ безъ цезуры.

Слѣдующіе трены, до XV включительно, написаны тринадцатисложнымъ размѣромъ съ цезурой послѣ седьмого слога.

XVI состоитъ изъ сапфическихъ строфъ.

XVII написанъ восьмисложнымъ размѣромъ съ характеромъ трохея.

XVIII насчитываетъ 7 строфъ, въ которой первый и четвертый стихи написаны одиннадцатисложнымъ размѣромъ съ цезурой послѣ седьмого слога, а второй и третій семисложнымъ.

XIX трень написанъ тринадцатисложнымъ стихомъ.

Во всѣхъ треняхъ мы видимъ наиболѣе употребительную у Кохановскаго крайне однообразную рѣмовку каждой пары стиховъ между собою.

Не смотря на то, что трены при жизни нашего поэта выдержали только два изданія, имъ посчастливилось создать цѣлую школу подражателей въ теченіе всего семнадцатаго столѣтія. Въ треняхъ, не смотря на неизбѣжныя заимствованія изъ классиковъ и даже въ складѣ нѣкоторыхъ, какъ, на примѣръ, III, VI, VIII, X и XIII у Аріоста ¹⁾, Кохановскій проявилъ свою полную индивидуальность. Какъ самыя глубокія и художественныя выраженія общечеловѣческаго горя, эти стихотворенія справедливо стяжали Чернолѣсскому поэту неуваждаемую славу лучшаго изъ его произведеній, въ которомъ вылилась вся сила его творческаго гения.

¹⁾ Для того, чтобы убѣдиться въ справедливости этого, достаточно обратить вниманіе на слѣдующую жалобу Орланда по уtratѣ Анжелики:

Deh dove senza me, dolce mia vita
Rimasa sei, si giovane e si bella...

Dove speranza mia, dove orasei?
Vai tu soletta forse ancora errando?

Oh infelice! oh misero! che ooglio
Se non morir, se'l mio bel fior colto hanno?
O sommo Dio, fammi sentir cordoglio
Prima d'ogni altro, che di questo danno.

IV.

Четвертая и первая пѣснь фрагментовъ. Изданіе фразекъ и элегій. Пѣснь въ честь побѣды Баторія надъ Москвою. Пѣснь „o statecznym sludze Rzeczypospolitej“. „Эпипникіонъ“. Эпиталамія на свадьбу Замойскаго съ Гризельдой Баторій. „Jezda do Moskwy“. 49 фразка I книги къ Поссевиу. Убіѣство Якова Подлѣдовскаго въ Турціи. Кохановскій на люблинскомъ съѣздѣ. Смерть поэта.

„Тренны“ были лебединой пѣсней Кохановскаго. Въ нихъ онъ выразилъ всю свою индивидуальность, всѣ лучшія стороны своего поэтическаго дарованія. Нравственныя и физическія силы начали постепенно оставлять поэта. Но творческое вдохновеніе не покидало его, продолжая приносить ему отраду и душевное успокоеніе. По всей вѣроятности, тогда была написана Кохановскимъ четвертая пѣснь „Фрагментовъ“¹⁾. Здѣсь поэтъ проводитъ ту мысль, что человѣкъ только тогда могъ бы жаловаться на свое несчастье, если-бы Богъ обѣщаль хранить его отъ всякихъ бѣдствій:

Wszyscy w niepewnej gospodzie mieszkamy,
Wszyscyśmy pod tem prawem się zrodzili,
Ze wszem przygodom jako cel bydź mamy.

Поэтому, всѣ мы должны относиться къ несчастью терпѣливо, такъ какъ Божьяго Промысла ничто не въ силахъ измѣнить. вмѣстѣ съ тѣмъ, никогда не слѣдуетъ терять надежды на лучшее будущее:

Jedenże to Bóg, eo i chmury zbiera
I co rozświeca niebo słońcem złotem.

Эта пѣснь имѣетъ много общаго съ XIX треномъ и, по всей вѣроятности, возникла вскорѣ послѣ него. Она интересна также, какъ первая терцина на польскомъ языкѣ.

Въ виду того, что все въ нашемъ мірѣ временно и подвержено вліянію всякихъ случайностей, поэту, утомленному жизнью, естественно приходитъ на мысль желаніе вѣчнаго покоя, Кохановскій въ первой пѣсни фрагментовъ²⁾ выражаетъ увѣренность,

¹⁾ См. W. P. II. 464.

²⁾ См. W. P. II. 459.

Że, bądź za długą, bądź za krótką chwilę —
 Abo w okręcie całym doniesiony,
 Abo na desce biednej przypławiony —
 Będzie jednak u brzegu,
 Gdzie dalej nie masz biegu;
 Lecz odpoczynek i sen nieprzespany
 Tak panom, jako chudym zgotowany.

Всякій жаеаетъ выбрать себѣ наиболѣе безопасный путь, но въ чемъ
 онъ состоитъ и какъ его держаться, мало кто знаетъ.

Житейское море имѣетъ множество подводныхъ камней:

Tu siedzi złotem cześć koronowana,
 Tu lekkim piórem sława przyodziana,
 Tu chciwość nieszczęśliwa
 Zbiera a nie używa,
 Tu luba roskosz i zbytek wyrzutny —
 Pod niemi nędza prędką i żal smutny.
 Tamże i krzywda i zazdrość przeklęta,
 Przed którą biada zawżdy cnota święta.

Желая избѣгнуть одной скалы, человекъ натыкается на другую. Са-
 мый мудрый и опытный пловецъ можетъ заблудиться, если его по-
 ступками не будетъ руководить Господь. Съ мольбой къ Нему обра-
 щается поэтъ въ заключительной строфѣ:

Wodzu prawdziwy i wieczna światłości!
 Uskrom z łaski swej morskie nawałności.
 A podnieś ogień portu zbawiennego;
 Na który patrząc moglibyśmy tego
 Morza chytrego zdrady
 Przebyć bez wszelakiej wady,
 A odpoczynać po tem żeglowaniu
 W długim pokoju i bezpiecznem spaniu.

Все это стихотвореніе проникнуто искреннимъ желаніемъ отдыха отъ
 пережитыхъ страданій. Слѣдовательно, оно было написано также

вскорѣ послѣ „треновъ“ (Послѣдняя строфа очень напоминаетъ прѣмось шестой пѣсни канона, который поется на панихидахъ: „Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурекю, въ тихому пристанищу Твоему притекъ, воію: возведи отъ тли животь мой, Многомилостиве“).

Вышеупомянутая пѣснь Кохановскаго является въ польской литературѣ первымъ выраженіемъ желанія смерти для измученнаго жизнью человѣка, какое мы встрѣчаемъ въ „*Cupio dissolvi*“ Сыромли, или въ извѣстномъ стихотвореніи Красинскаго:

Chciałbym tak cicho, lekko, bez boleści
Rozsnuć do życia wiążące mnie nicie...

Мысль о смерти побудила, по всей вѣроятности, Кохановскаго заняться приведеніемъ въ порядокъ своихъ мелкихъ произведеній на польскомъ и латинскомъ языкѣ, которыя были еще въ рукописяхъ или у самого поэта, или у его многочисленныхъ друзей. Такое занятіе было вполне подходящимъ къ его грустному настроенію духа. Перечитывая свои прежнія пѣсни и фрашки, Кохановскій мысленно переносился въ лучшія времена своей молодости и забывалъ хоть на мгновеніе о своихъ нынѣшнихъ горестяхъ. По всей вѣроятности, тогда, у теплаго камина, подъ шумъ осенней непогоды, просматривалъ онъ также и юношескія произведенія своего пера. Предназначая ихъ къ печати, онъ передѣлывалъ ихъ, исправлялъ и добавлялъ. Со спокойствіемъ мудреца онъ смотрѣлъ снисходительно на свои иногда не совсѣмъ скромныя фрашки и относился къ нимъ такъ снисходительно, какъ любящій отецъ къ шалостямъ своего въ сущности хорошаго сына. Благодаря этому Кохановскій выпустилъ въ свѣтъ всѣ свои „Фрашки“, которыя только сохранились у него, не исключая и тѣхъ, которыя были черезчуръ свободны. Вѣроятно, онъ думалъ издавать свои произведенія постепенно, отдѣльными сборниками, о чемъ свидѣлствуютъ отдѣльныя изданія „Фрашекъ“ и латинскихъ элегій съ эпиграммами.

Ни болѣзнь, ни тяжелое состояніе духа не заслоняли отъ поэта событій текущей дѣйствительности, въ которыхъ онъ оставался чуткимъ до самой своей смерти. Кохановскій внимательно слѣдилъ за войною, которую велъ Баторій противъ Москвы. Каждая побѣда польскаго оружія радовала поэта и пробуждала его музу. Тогда

именно была написана пѣснь на взятіе Полоцка „Panu dzięki oddawajmy“¹⁾. Она начинается благодарностью Богу за дарованную полякамъ побѣду надъ сѣвернымъ тираномъ.

On hardy, nieunoszony,
On tyran rólnocnej strony,
Któremu, jako sam mniema,
Świat tak wielki równia nie ma.

Затѣмъ поэтъ насмѣхается надъ Іоанномъ Грознымъ:

Chcesz być groźnym, a uciekasz;
Jeśliś płochy, hardzie nie każ.
Teraz był czas prorokować,
Komu szłyk naprzód zdejmować;
Teraz się było dowiadać,
Kto ma naprzód z konia spadać?

Послѣ этого Кохановскій восторженно привѣтствуетъ Баторія:

Bóg pomóż, królu jedyny
Szerokiej polskiej krainy!

и описываетъ его побѣды и воинскія доблести, въ числу которыхъ онъ относитъ также ласковое обращеніе короля съ неприятелями:

Nie puściłeś wódz gniewowi,
Łaskęś nieprzyjacielowi
Uczynił; masz i dzielnością,
Masz już nadeń i ludzkością.

Стихотвореніе заканчивается прославленіемъ побѣдоноснаго короля:

Zdrów bądź królu niezwalczony!
Ciebie moje wdzięczne strony
Nie zmilczą między sławnemi
Bohaterzy walecznemi.

На сеймѣ конца 1579 и начала 1580 года, послѣ взятія Полоцка, въ первый разъ встрѣтилъ Баторій сильную оппозицію противъ своихъ

¹⁾ См. W. P. I. 319.

политическихъ плановъ. Однимъ изъ поводовъ къ тому было возбужденное зависть возвышеніе Замоискаго, который былъ назначенъ великимъ гетманомъ короннымъ. По этому случаю Кохановскій пишетъ стихотвореніе, озаглавленное въ первомъ изданіи „Piesń o statecznym słudze Rzeczypospolitej“ 1).

Здѣсь поэтъ въ прекрасной формѣ проводитъ ту мысль, что зависть не можетъ выносить блеска добродѣтели и

Boleje, że kto kiedy wyżej nad nią skoczy,
A iż baczy po sobie, że się wspinać próżno,
Tego ludziom uwłacza, w czym jest od nich różna.

Онъ утѣшаетъ Замоискаго слѣдующими словами:

Ale człowiek, który swe Pospolitej Rzeczy
Służby oddał, tej krzywdy nie ma mieć na pieczy
Dosyć na tem kiedy praw, a ni w sercu wady
Czuje. Niech się jako chcą siłą wszystkie jady.

Кромѣ этихъ стихотвореній Кохановскимъ написанъ былъ по поводу побѣдъ Баторія „Эпинионъ“, состоящій изъ 876 стиховъ, раздѣленныхъ на семьдесятъ три двѣнадцатистрочныхъ строфы. Онъ отличается рѣдкой холодностью, сухостью и несовершенствомъ формы, которая, такъ же какъ и сонетъ, должна заключать въ каждой строфѣ вполне законченную мысль; между тѣмъ, у Кохановскаго иногда не только мысль, но и предложеніе не помѣщается въ двѣнадцати законныхъ строкахъ, иногда даже конецъ слова переносится въ слѣдующую строфу. Это произведеніе нужно считать самымъ слабымъ у Кохановскаго. Нѣсколько выше по литературнымъ достоинствамъ стоитъ напечатанная въ 1581 году и вышедшая вторымъ изданіемъ въ 1583 году „Jezda do Moskwy“, описывающая подвиги Кшиштофа Радзивилла, литовскаго польнаго гетмана, который, по порученію Баторія, вторгся въ глубь Московскаго государства, до самой Волги, возбудилъ страхъ въ Іоаннѣ Грозномъ и съ незначительными потерями вернулся къ Пскову. Въ этомъ стихотвореніи красиво только начало, гдѣ молодой воинъ сравнивается съ орленкомъ.

1) См. W. P. I. 318.

Между тѣмъ, Замоискій сталь уже такъ высоко, что ему ни почемъ зависть, о которой упоминаетъ поэтъ въ своемъ стихотвореніи. За новаго гетмана, который уже овдовѣлъ, Баторій выдаетъ свою племянницу. На это событіе Кохановскій отозвался эпитафіей, которая не имѣетъ особенныхъ литературныхъ достоинствъ и является только опытомъ чисто механической, правда, искусной версификаціи. Это событіе произошло въ 1583 году, когда вышли вторымъ изданіемъ „Трени“, къ которымъ теперь была присоединена эпитафія Ганнѣ Кохановской. Поэтъ, обращаясь къ ней, говоритъ, что и она поспѣшила за своей сестрою, чтобы дать отцу возможность оплакать ея смерть вмѣстѣ съ кончиной Уршули и готовиться къ болѣе прочному счастью. Отсюда можно предположить, что воспоминаніе о недавно пережитомъ душевномъ потрясеніи было еще живо въ памяти поэта, который только изрѣдка и при томъ весьма слабо отзывался на внѣшнія событія. Мы видѣли, какъ онъ отнесся къ побѣдамъ Баторія, однако миръ, заключенный съ Москвою при посредствѣ Поссевина, не пришелся ему по сердцу, насколько можно судить на основаніи 49 фразки I книги „Do posła papieżkiego“¹⁾, гдѣ онъ порицаетъ папскаго легата и предостерегаетъ, чтобы онъ не завелъ поляковъ туда, „gdzie płacz i tęsknica“.

Въ 1583 году былъ убитъ въ Турціи Яковъ Подлѣдовскій, своякъ нашего поэта, отправленный туда въ качествѣ королевскаго уполномоченнаго для закупки лошадей. Такое нарушеніе международныхъ правъ, оскорбленіе польскаго государства и потеря близкаго родственника, все это должно было въ высшей степени взволновать и безъ того огорченнаго поэта, который написалъ эпитафію на смерть свояка и лично отправился въ Люблинъ, гдѣ собрался съѣздъ по дѣлу Зборовскаго. Кохановскій хотѣлъ добиться у короля войны противъ турокъ въ отмщеніе за убійство Подлѣдовскаго. 22 августа 1584 года, когда Стефаномъ была назначена Кохановскому аудіенція, послѣдній скоропостижно скончался въ залѣ люблинской ратуши, по всей вѣроятности, отъ разрыва сердца, благодаря сильному душевному потрясенію, которое онъ долженъ былъ тогда испытывать.

¹⁾ См. W. P. II. 349.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Религіозныя, философскія и политическія убѣжденія Кохановскаго. Его взглядъ на любовь и на семейную жизнь. Его отношеніе къ дѣтямъ. Родственное чувство. Дружба. Общественная жизнь и развлечения. Литературное значеніе Кохановскаго. Его чуткость къ явленіямъ текущей дѣйствительности. Гуманизмъ. Введеніе Кохановскимъ въ польскую поэзію западно-европейскихъ литературныхъ формъ. Индивидуальный и народный элементъ въ его творествѣ.

Wer den Dichter will verstehen
Muß ins Dichters Lande gehen.

Охарактеризовать чью-нибудь поэтическую дѣятельность можно только въ томъ случаѣ, если удастся прослѣдить шагъ за шагомъ всю жизнь разбираемаго писателя въ неразрывной связи съ его произведеніями и средой, въ которой онъ вращался. По мѣрѣ силъ и возможности мы старались примѣнить этотъ методъ къ нашей задачѣ и теперь сообщимъ результаты, къ которымъ онъ привелъ насъ.

Первымъ импульсомъ творческой дѣятельности Кохановскаго послужила, по нашему мнѣнію, религія вообще и реформація въ частности. Воспитанный матерью на строгихъ началахъ древняго благочестія, онъ не могъ отнестись равнодушно къ протестантскому движенію, которое охватило самую культурную часть польскаго общества. Вращаясь въ ея средѣ, онъ присмотрѣлся ближе къ реформаціи, призналъ справедливость нѣкоторыхъ ея требованій, написалъ въ библейскомъ духѣ многія изъ своихъ произведеній и выразилъ въ нихъ

взгляды, болѣе близкіе къ протестантству, чѣмъ къ ортодоксальной религіи. На догматическихъ вопросахъ детально онъ не останавливался. Можетъ быть, онъ былъ противъ почитанія святыхъ, такъ какъ Божія Матерь, особенно чтимая католиками, въ его произведеніяхъ ни разу не упоминается и, кромѣ того, онъ иногда позволяетъ себѣ даже иронизировать надъ святыми и надъ ихъ чудесами. Другихъ данныхъ о догматической сторонѣ его религіи мы не имѣемъ. Больше всего онъ вооружался противъ безбрачія духовенства и его безнравственной жизни. Не меньше возмущали его свѣтская власть папы и воинственные наклонности римскаго первосвященника. Кромѣ того, Кохановскій признавалъ за каждымъ міряниномъ право голоса въ дѣлахъ вѣры, откуда одинъ шагъ до національной церкви. У насъ нѣтъ никакихъ данныхъ для того, чтобы судить объ его отношеніи къ обрядовой сторонѣ религіи. Мы можемъ только одно сказать о немъ, что нашъ поэтъ всю свою жизнь оставался глубоко вѣрующимъ человекомъ и истиннымъ христіаниномъ въ лучшемъ значеніи этого слова.

Съ Евангельскимъ ученіемъ любви, мира и аскетической строгости въ его душѣ слились въ гармоническое цѣлое философскія идеи великихъ мыслителей древняго міра. Стоицизмъ былъ особенно близокъ натурѣ Кохановскаго, который всегда проповѣдывалъ умѣренность и душевное равновѣсіе. Тѣмъ не менѣе, ученіе Эпикура не осталось чуждымъ для нашего поэта. Горацианское „сагре діем“ не разъ слышится въ его веселыхъ проникнутыхъ жаждой жизни стихотвореніяхъ. Высоко поэтичная идеологія Платона и Пифагорейская школа также оставили слѣды въ его творествѣ. Словомъ, Кохановскій, какъ большинство его современниковъ, былъ настоящимъ эклектикомъ по своимъ философскимъ убѣжденіямъ.

Въ послѣднихъ нужно искать объясненія его политическихъ взглядовъ. Встрѣчая въ государствахъ древняго міра, преимущественно, монархическую власть, достигшую особенной силы въ Римѣ, нашъ поэтъ, естественно, долженъ былъ предпочесть эту форму правленія всѣмъ другимъ. Такой идеалъ онъ переносилъ и на свою родину, терзаемую раздорами и несогласіями, которые возмущали его гармоническую натуру. Въ цѣляхъ политическаго утилитаризма онъ, вопреки своимъ убѣжденіямъ, склонялся на сторону католичества, какъ наиболѣе объединяющей религіи. Будучи сторонникомъ умѣренности, онъ горячо вооружался противъ роскоши и изнѣженности своихъ соотечественниковъ, такъ какъ видѣлъ

въ этомъ причину упадка воинской доблести, государственное значеніе которой онъ прекрасно понималъ. Не меньшую заслугу нужно признать за нимъ въ томъ, что онъ относился отрицательно къ чрезмѣрному властолюбію шляхты и крайнему ея парламентаризму. Ошибкой его было непониманіе новыхъ соціальныхъ условій, вызвавшихъ развитіе торговли и промышленности въ Польшѣ, противъ которыхъ неосновательно вооружался Кохановскій. Всѣ эти взгляды нашего поэта отличались искренностью и пламеннымъ патриотизмомъ.

Его чуткая и нѣжная натура, естественно, не могла довольствоваться только религіей, философійей и политикой. Этимъ вопросамъ посвящены, большею частью, его крупныя произведенія, между тѣмъ какъ вся почти лирика касается другой области его внутренняго міра, а именно чувства любви. Здѣсь онъ является отчасти выразителемъ господствовавшихъ тогда условныхъ формъ такой поэзіи, отчасти высказываетъ свои собственныя чувства. Подобно классическимъ писателямъ, нашъ поэтъ признаетъ, преимущественно, чувственную любовь, впрочемъ, совершенно безкорыстную и вѣрную до гроба. Женщина въ глазахъ Кохановскаго такъ высоко стоитъ, что онъ дѣлится съ ней самыми завѣтными мыслями и убѣжденіями. Въ ней онъ выше всего цѣнитъ добродѣтель и умъ. Красота и богатство въ его глазахъ имѣютъ сравнительно невысокую цѣну, хотя, какъ эстетикъ, хорошо знакомый съ ученіемъ Платона, онъ считаетъ первую однимъ изъ величайшихъ даровъ Божьихъ и посвящаетъ ей множество самыхъ восторженныхъ пѣсень.

Завершеніемъ любви Кохановскій считалъ бракъ, гдѣ жена должна быть вѣрной помощницей мужа, раздѣляя его хозяйственныя заботы и подавая дѣтямъ примѣръ своимъ трудолюбіемъ. Какъ отецъ, нашъ поэтъ отличался рѣдкой нѣжностью и безпримѣрной привязанностью къ своимъ дѣтямъ.

Къ своимъ близкимъ онъ относился съ самымъ родственнымъ чувствомъ, уважалъ своихъ братьевъ и высоко цѣнилъ совѣты сестеръ. Не нужно упоминать объ его горячей привязанности къ матери, память которой онъ хранилъ свято въ продолженіе всей своей жизни.

Такой же прочностью отличалась его дружба со сверстниками и тѣми людьми, съ которыми ему приходилось близко сходиться. Съ приятелями онъ дѣлилъ горе и радости, принималъ живое участіе въ ихъ

развлеченіяхъ, иногда позволялъ себѣ съ ними нѣкоторыя излишества, но никогда не доходилъ въ этомъ отношеніи до крайности.

Чуткій ко всему, онъ отражалъ въ своихъ произведеніяхъ все, что только происходило кругомъ него, волновало его современниковъ и возбуждало въ немъ живой интересъ. Ни одно крупное историческое событіе, ни одна злоба дня не пропусклась имъ безъ вниманія. Однако, отражая живую дѣйствительность въ своихъ произведеніяхъ, онъ старался сглаживать ее, подводя подъ условныя литературныя формы, что составляло особенность писателей гуманистовъ, влияніе которыхъ на каждомъ шагѣ сказывалось въ Кохановскомъ.

У нихъ заимствовалъ онъ тѣ литературныя приемы и формы, которые онъ впервые внесъ въ польскую поэзію, воспользовавшись готовымъ уже матеріаломъ въ видѣ выработаннаго въ достаточной степени языка и стиха. Если-бы не было Рея съ его произведеніями, которыя мѣстами могутъ считаться по истинѣ художественными, то не было бы и Кохановскаго. Рей создалъ почти всѣ размѣры стиха, которыми воспользовался Кохановскій, придавши имъ тотъ видъ, который господствовалъ тогда въ Италіи и во Франціи. Чернолѣсскій поэтъ первый ввелъ въ польскую поэзію терцину, секстину, сонетъ и балладу, ему принадлежитъ первая послѣ эпохи возрожденія попытка написать художественную драму. Словомъ, Кохановскій первый поставилъ польскую поэзію на ряду съ другими европейскими литературами. Онъ первый показалъ, что славянское слово имѣетъ такую же силу, красоту и звучность, какъ господствовавшій тогда латинскій языкъ, какъ мелодичный итальянскій и французскій.

Не меньшую заслугу нужно признать за нимъ какъ за переводчикомъ, познакомившимъ своихъ соотечественниковъ со всѣмъ, что онъ считалъ лучшимъ въ современныхъ ему европейскихъ и въ древнеклассическихъ литературахъ. Особенно почетное мѣсто, какъ гуманистъ, отводилъ онъ послѣднимъ. Какъ глубоко религіозный человекъ, онъ проникся поэзіей Псалмопѣвца Давида и такъ удачно перевелъ его вдохновенные гимны, что нѣкоторые изъ нихъ до нашихъ дней остаются народными молитвами. Не только съ этой стороны заслуживаетъ онъ названія народнаго поэта, гораздо больше правъ на такое славное имя даетъ ему вѣрное изображеніе чисто польской деревенской жизни, ея обычаевъ, пѣсенъ и поговорокъ.

Не смотря на относительную бѣдность своихъ образовъ, которые повторяются у него на каждомъ шагу, Кохановскій, всетаки, обладалъ сильнымъ поэтическимъ дарованіемъ. Не только для польской поэзіи принесъ онъ громадную пользу, но и русская литература XVII вѣка обязана ему переводомъ Псалтыри Симеона Полоцкаго.

**Источниками и пособіями для настоящей работы послужили намъ
слѣдующія сочиненія:**

- Jana Kochanowskiego. Dzieła Wszystkie. Wydanie Pomnikowe. I—III.
Warszawa 1884.
- Józef Przyborowski. Wiadomość o życiu i pismach Jana Kochanowskiego. Poznań 1857.
- Bronisław Chlebowski. Jan Kochanowski w świetle własnych utworów. Warszawa 1884.
- Stanisław Tarnowski. Studia do historyi literatury polskiej. Wiek XVI. Jan Kochanowski. Kraków. 1888.
- Ks. Józef Gacki. O rodzinie Jana Kochanowskiego, o jej majątnościach i fundacyach. Kilkanaście pism urzędowych. Warszawa 1869.
- Witold Małcurzyński. Posiadłości rodziny Kochanowskich w ziemi Radomskiej. Podług rejestrów poborowych z lat 1569, 1576 i 1577. Biblioteka Warszawska. 1884 r. t. II. str. 161.
- Stanisław Windakiewicz. Pobyt Kochanowskiego za granicą. Szkic biograficzny. Kraków. 1886.
- Löwenfeld Raphael. Johann Kochanowski und seine lateinische Dichtungen. Posen. 1878.
- Józef Kallenbach. Jan Kochanowski w uniwersytecie Krakowskim. (Na podstawie metryk uniwersyteckich). Ateneum 1884. t. III. str. 552.
- Bronisław Chlebowski. Pobyt Kochanowskiego na dworach panów małopolskich, pomiędzy Wisłą a Sanem, i słówko o

- wpływie Ariosta na polskiego poetę. Przyczynek biograficzno-krytyczny. Tygodnik Illustrowany. 1884. t. II. str. 117.
- Stanisław Windakiewicz. Życie dworskie Kochanowskiego. (Przyczynek do biografii poety). Kraków 1886.
- A. Małecki. Jana Kochanowskiego młodość. „Przegląd Polski“. Sierpień 1884.
- Roman Plenkiewicz. Jan Kochanowski wedle najnowszych opracowań. „Ateneum“. 1878. t. IV. str. 156.
- Józef Kallenbach. Książka ofiarowana Grzębskiemu. „Przegląd Polski“. Sierpień 1884.
- Kazimierz Morawski. Z życia towarzyskiego w epoce Zygmunta Augusta. „Przegląd Polski“. Sierpień. 1884.
- Stanisław Windakiewicz. Nieznane szczegóły o rodzinie Kochanowskich. Kraków 1884.
- Pawlikowski. Elegie łacińskie Jana Kochanowskiego. Rozprawy i sprawozdania Akademii Umiejętności, wydziału filologicznego. T. X. W Krakowie.
- Józef Kallenbach. Kilka słów o Elegijach łacińskich Jana Kochanowskiego. „Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń, wydziału filologicznego Akademii Umiejętności“. T. X. Kraków 1884.
- Marcin Sas. O miarach poematów łacińskich Jana Kochanowskiego i o ich wzorach. Rozprawy Akademii Umiejętności, wydziału filologicznego. Ogólnego zbioru t. XVIII.
- A. Brückner. Nowe przyczynki do dzieł Jana Kochanowskiego. „Ateneum“ 1891. T. II. str. 1.
- Wacław Gasztowtt. Poezya europejska XVI wieku w stosunku do Jana Kochanowskiego „Przegląd Polski“. Sierpień 1884.
- Bobrzyński M. Stanowisko polityczne Jana Kochanowskiego. „Przegląd Polski“. Sierpień 1884.
- Józef Kallenbach. Filozofia Jana Kochanowskiego. Szkic literacki. Kraków 1888.
- Wład. Nehring. „Odprawa posłów greckich“ Jana Kochanowskiego. Studya literackie. Poznań 1884.
- Józef Kallenbach. „Odprawa posłów greckich“ Jana Kochanowskiego. Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń wydziału filologicznego. T. X.

Rymarkiewicz. Jana Kochanowskiego. „Pieśń świętojańska o sobótce“. Poznań 1884.

„Pieśń świętojańska o sobótce“ oceniona wedle wydania Jana Kochanowskiego u Andrzeja Piotrkowczyka w Krakowie R. P. 1617. „Ateneum“ 1876. T. IV. str. 46.

Piotr Chmielowski. „Sobótka“ zestawienie dwóch wieków i dwóch indywidualności. „Tygodnik Ilustrowany“. 1875. str. 27.

Maurycy Dzieduszycki. Szachy w Polsce. Dodatek do „Czasu“. Lipiec 1856.

Stanisław Witkowski. Stosunek „Szachów“ Kochanowskiego do poematu Vidy „Scaccia ludus“. Rozprawy Akademii Umiejętności. T. XVIII.

Krystyniacki. Marka Tulliusza Cicerona tłumaczenie Arata przez Jana Kochanowskiego uzupełnione. Lwów 1883.

Piotr Parylak. O pieśniach Jana Kochanowskiego z uwzględnieniem poetów klasycznych. Lwów 1879.

Felicyan Faleński. Jan Kochanowski jako poeta liryczny. „Tygodnik Ilustrowany“ 1864. str. 314.

Felicyan Faleński. Treny Jana Kochanowskiego. „Biblioteka Warszawska“ 1866. T. I. str. 376.

Felicyan Faleński. Pogadanka o „Fraszkiach“ Jana Kochanowskiego. „Biblioteka Warszawska“. T. II. 1881. str. 157.

Władysław Nehring. Treny Jana Kochanowskiego. „Biblioteka Warszawska“ 1881. T. III. str. 165.

Henryk Kopia. Trzy epigrammata Kochanowskiego. „Ateneum“ 1888. T. IV. str. 402.

Kazimierz Morawski. Kilka słów o „Satyrze“ Jana Kochanowskiego. „Ateneum“ 1882. T. IV. str. 354.

Józef Przyborowski. Jana Kochanowskiego „Pieśń o potopie“. Studium bibliograficzne. „Ateneum“ 1876. T. I. str. 666.

A. Brückner. Jan Kochanowski. „Archiv für slavische Philologie“. VIII Band. Anzeigen 477 Seite.

Antoni Siennicki. Stosunek Psalterza przekładania Jana Kochanowskiego do „Paraphrasis psalmodum“ Jerzego Buchana. Sprawozdanie dyrekcji gimnazjum w Samborze za 1893 r. Sambor.

- Józef Szujski. *Treny na śmierć córki Jana Kochanowskiego i „Ojciec zadżumionych w El. Arisz“ Juliusza Słowackiego. Zestawienie historyczno literackie i estetyczne. Dzieła J. Szujskiego. Wydanie zbiorowe T. VII.*
- Stanisław Tarnowski. *O Janie Kochanowskim trzy odczyty. „Niwa“.* T. XVII. 1880. str. 665, 753, 825, 903.
- W. Bruchnalski. *O budowie zwrotek w poezji polskiej do Jana Kochanowskiego. Kraków. 1886.*
- Kazimierz Bronikowski. *Słowo o stosunku Kochanowskiego do Ronsarda. Kraków. 1887.*
- Kazimierz Bronikowski. *O Foricoeniach Jana Kochanowskiego. Kraków. 1888.*
- Wacław Aleksander Maciejowski. T. I—III. Warszawa. 1853. (Piśmiennictwo polskie).
- Adama Mickiewicza. *Rzecz o literaturze słowiańskiej wykładana w Kollegium Francuzkim. Poznań 1850.*
- A. Н. Пыпинъ и В. Д. Спасовичъ. *Исторія славянскихъ литературъ* T. II. СПб. 1879.
- Dr. Josef Szujski. *Die Polen und Ruthenen in Galizien. Wien und Teschen. 1882.*
- A. Brückner. *Źródła do dziejów literatury i oświaty polskiej. II. Bezimienny poeta z czasów Zygmunta Augusta „Biblioteka Warszawska“.* 1891. T. II. str. 271. III. *Sęp Szarzyński. „B. W.“* 1891. T. III. str. 537. VI *Wiersze zbieranej drużyny. „B. W.“* 1893. IV. 409.
- Przysłowia. *Kartki z dziejów literatury i kultury polskiej. „Ateneum“* 1895. T. III.
- Stanisław Krzyżanowski. *Andrzej Ciesielski. Studium z literatury politycznej XVI wieku. Kraków. 1886.*
- Aleksander Zdanowicz. *Rys dziejów literatury polskiej. Doprowadził Leonard Sowiński. Wilno 1875.*
- Julijan Bartoszewicz. *Historya literatury polskiej. Warszawa 1861.*
- Michał Wiszniewski. *Historya literatury polskiej. Kraków 1840.*

ПРИЛОЖЕНІЕ.

Переводы изъ Яна Кожановскаго.

I ТРЕНЬ.

Всѣ слезы, что въ мірѣ лилися отъ вѣка,
Всѣ вздохи и жалобы древнихъ пѣвцовъ,
Всѣ думы надъ горькой судьбой челоуѣка
Я слить въ моей скорби глубокой готовъ,
Чтобъ ими оплакать мою дорогую,
Мою ненаглядную, милую дочь,
Чью жизнь, словно ангелъ небесный, святую
Успѣла безбожная смерть превозмочь.
Такъ ястребъ птенцовъ изъ гнѣзда похищаетъ...
Напрасно щебечетъ несчастная мать,
Напрасно за хищникомъ дерзкимъ летаетъ,
Стараясь дѣтей своихъ милыхъ отнять...
Мнѣ скажутъ, что горькія жалобы тщетны...
— А что же не тщетно на нашей землѣ?
Все въ мірѣ ничтожно, какъ прахъ, незамѣтно,
Все суетно, ложно и тонетъ во злѣ.
Не знаю, что лучше: дать волю рыданьямъ
Иль молча бороться съ жестокой судьбой,
Съ однимъ неизмѣннымъ, глубокимъ сознаньемъ
Ничѣмъ не окончить свой дерзостный бой?

II ТРЕНЬ.

Еслибъ мнѣ довелось мою лютю настроить
 Для дѣтей, чтобы имъ мои риѣмы слагать,
 Колыбельною пѣсней ихъ плачь успокоить
 Я старался бѣ тогда, словно нѣжная мать.
 Это лучше, чѣмъ плавать надъ дочерью милой
 И напрасно жестокость судьбы проклинять....
 Да не могъ я тогда съ одинаковой силой
 Пѣсни смерти и радости дѣтской слагать:
 Мнѣ казалось послѣдняя слишкомъ ничтожной,
 Чтобъ торжественный стихъ мой коснулся ея.
 Но судьбы совершился законъ непреложный
 И рыдаетъ разбитое сердце мое.
 Я не знаю, что ждетъ мои слезы въ грядущемъ....
 Не хотѣлось мнѣ пѣть для младенцевъ живыхъ,
 А теперь, въ моемъ горѣ суровомъ, гнетущемъ,
 Для умершихъ слагаю я жалобный стихъ.
 Сушить сердце мое этотъ плачь погребальный....
 Въ мѣрѣ случай слѣпой полновластно царить:
 Кто получить веселый удѣлъ, кто печальный.
 О, законъ, полный горькихъ, тяжелыхъ обидъ!
 О, владычица царства тѣней мимолетныхъ!
 Отчего моя дочь въ такихъ юныхъ годахъ,
 Не извѣдавши жизни утѣхъ беззаботныхъ,
 Обратилась въ холодный, безчувственный прахъ?...
 Не успѣла и солнцемъ она насладиться,
 Какъ спустилась въ края безпросвѣтныхъ ночей....
 Лучше было бы ей никогда не родиться,
 Чѣмъ готовиться къ смерти съ младенческихъ дней!
 Для родителей, вмѣсто утѣхи желанной,
 Исполненя въ грядущемъ ихъ сладостныхъ грезъ,
 Только горе принеси ея трупъ бездыханный,
 Орошаемый нынѣ потоками слезъ.

III ТРЕНЬ.

Недовольна ты мной, моя дѣточка славная,
 Недовольна убогимъ наслѣдствомъ моимъ?
 Ты права: оно—доля далѣе не равная
 Добродѣтелямъ будущимъ свѣтлымъ твоимъ.
 Вспоминаю я съ грустью и рѣчь твою милую,
 И забавы твои, и привѣтливый взглядъ....
 Не вернешься ко мнѣ ты... и жизнью постылою
 Будетъ дней моихъ скорбныхъ томительный рядъ.
 Для меня остается одно утѣшеніе—
 За тобою въ далекій готовится путь.
 Тамъ ты встрѣтишь меня въ лучезарныхъ селеніяхъ
 И голову свою мнѣ положишь на грудь.

VII ТРЕНЬ.

Несчастные наряды, печальные уборы
 Любимой дочери моей,
 Къ тому-ль вы за собою мои влечете взоры,
 Чтобъ стала скорбь моя сильнѣй?
 По утру, какъ бывало, съ улыбкою безпечной
 Она ужъ не надѣнетъ васъ.
 Желѣзный сонъ, могильный, сонъ непробудный, вѣчный,
 Не дастъ открыть ей милыхъ глазъ.
 Вотъ платьице, вотъ поясъ изъ ткани золоченой,
 А вотъ и ленточки для косъ,—
 Все матери подарки, отчаяньемъ сраженной,
 Томящейся отъ горькихъ слезъ.
 Нѣтъ, не такое ложе, Уршуля дорогая,
 Тебѣ приготавлила мать,
 Приданое не это, на свадьбу снаряжая,
 Тебѣ она хотѣла дать.
 Рубашечкой и платьемъ тебя она снабдила,
 Отецъ,—комкомъ земли сырой,
 Холодная могила на вѣкъ тебя закрыла
 И весь нарядъ убогій твой.

VIII ТРЕНЬ.

Какъ пусто стало здѣсь, Уршуля дорогая,
 Съ тѣхъ поръ, какъ ты навѣкъ повинула мой домъ!
 Мы всѣ сошлись сюда, но тишина глухая,
 Какъ будто все мертво, у насъ царить кругомъ.
 Такъ много убыло съ одной моей малюткой!
 Она могла за всѣхъ смѣяться, лепетать
 И весь унылый домъ то пѣсенкой, то шуткой,
 То рѣзвой бѣготней, то смѣхомъ оглашать.
 Не дастъ отцу она усиленной работой
 Напрасно изнурять свой безпокойный умъ;
 Пороку мать свою, томимую заботой,
 Избавить ласками отъ невеселыхъ думъ.
 Вдругъ кинется она то матери на шею,
 То грустному отцу, прильнувши нѣжно къ нимъ...
 Затихло въ домѣ все, умолкло вмѣстѣ съ нею
 И стало навсегда безлюднымъ и пустымъ.
 Изъ каждаго угла печалью жгучей вѣетъ,
 Со всѣхъ сторонъ гнететь нѣмая тишина,
 А сердца бѣднаго надежда не лелѣетъ,
 Его уже давно оставила она.

Собутка.

Только солнце яркимъ свѣтомъ
 Засіяло знойнымъ лѣтомъ,
 И „собутка“, какъ бывало,
 Въ Чернолѣсѣ запылала.
 Домочадцы здѣсь съ гостями
 Всѣ собрались предъ кострами.
 Заиграли три свирѣли,
 Эхомъ имъ сады звенѣли.
 Тутъ пригожія дѣвицы,
 Въ поясочкахъ изъ былицы,
 Предъ толпою разомъ встали

(Шесть ихъ паръ мы насчитали).
 Всѣ онѣ плясать умѣли,
 Много чудныхъ пѣсенъ пѣли.
 Вышла первая сначала,
 Пѣснь ея вотъ такъ звучала:

I ДѢВУШКА.

Передъ яркими кострами
 Мы теперь остались сами.
 Сестры, хороводъ составимъ,
 Пѣсней людъ честной забавимъ.
 Ночь прогнать намъ въ угоду
 Вѣтеръ, дождь и непогоду.
 Мы подъ яснымъ небомъ этимъ
 Зорьку утреннюю встрѣтимъ.
 Такъ отцы намъ завѣщали,
 Какъ отъ прадѣдовъ слышали,
 Чтобъ „собутка“ подъ Купала
 Всюду по ночамъ пылала.
 Мой совѣтъ вамъ, дѣти: знайте,—
 Старинѣ не измѣняйте.
 Праздникъ праздникомъ пусть будетъ,
 Оттого вамъ не убудеть.
 Люди прежде праздникъ чтили,
 Хоть досуговъ не любили,
 И зато земля сторицей
 Награждала ихъ пшеницей.
 А теперь и въ праздникъ пашемъ
 Мы на срудномъ полѣ пашемъ,
 Изъ того-жъ, что мы посѣемъ,
 Ничего мы не имѣемъ:
 Или градъ колосья свалить,
 Или лѣтній зной ихъ спалить.
 Урожай меньше стали, ,
 Дни тяжелые настали.
 Если трудитесь вы много,
 Помощь вамъ нужна отъ Бога.

Примиритесь, дѣти, съ Небомъ,
 Если жить хотите хлѣбомъ.
 Богу посвятимъ работы
 И отложимъ всѣ заботы.
 Полно, дѣти, огорчаться:
 Дни былые возвратятся,
 А теперь мы, какъ бывало,
 Отъ велика и до мала,
 Праздникъ чтить до свѣта будемъ,
 Звонкихъ пѣсенъ не забудемъ.

У ДѢВУШКА.

Сестры, я отъ васъ не скрою:
 Не даетъ онъ мнѣ покою,
 По пятамъ за мною ходить,
 Жадныхъ глазъ съ меня не сводить.
 Онъ въ любви мнѣ самъ признался,
 Если только не смѣялся.
 Я-бъ ему отвѣтить рада,
 Мнѣ другого и не надо:
 Шимекъ всѣмъ польститъ успѣетъ
 И понравится сумѣетъ,
 Шутки всѣ ему прощаютъ
 И насмѣшки забываютъ.
 За него пойдетъ любая,
 Все на свѣтѣ забывая.
 Только онъ кого поманить,
 Анъ глядишь—ужъ и обманетъ.
 Я глупа была когда-то,
 Шимку вѣрить стала свято,
 А теперь его я знаю
 И ужъ больше не сплочаю.
 Ты со мной бесѣду водишь
 И къ другой тихонько ходишь?
 Мнѣ не нуженъ ты, лукавый,
 Не хочу я быть забавой.
 Не ухаживай не въ мѣру,

Подорвешь въ меня ты вѣру,
Стануть думать, что напрасно
Оклеветанъ ты, несчастный.

VI ДѢВУШКА.

Солнце зноемъ лѣтнимъ пышетъ,
Вѣтеръ травки не колышетъ,
Лишь кузнечики стревочать,
Вѣдро жаркое пророчать.
Къ ручейкамъ стремится стадо,
Гдѣ приволье и прохлада,
И пастухъ своей свирѣлью
Будить рощу звонкой трелью.
Хлѣбъ на ближнемъ полѣ зрѣетъ,
Наливается, желтѣетъ.
Скоро ужъ наступитъ жниво,
Подъ серпами ляжетъ нива.
Серпъ для озими придется,
А косою ярь сожнется.
Увязавши хлѣбъ снопами,
Станемъ складывать скирдами,
Изъ колосевъ свѣже сжатыхъ,
Золотистыхъ и усатыхъ,
Мы господь, съ вѣнкомъ прекраснымъ,
Вечеромъ поздравимъ яснымъ
И, окончивъ трудъ тяжелый,
Благодарный и веселый,
Разойдемся понемногу,
Воздавая славу Богу.
Гость, когда полны закромы,
Ждать тебя я буду дома,
Если самъ не соберешься
И меня ты не дождешься.

VII ДѢВУШКА.

Тщетно здѣсь ищу тебя я:
Знаю я, тропа лѣсная

Для тебя всего милѣе,
 Въ полѣ дышешь ты вольнѣе.
 Мнѣ-бъ хотѣлось, чтобъ со мною
 Ты видался хоть порою,
 За тобою сердце ноетъ,
 Дымка слезъ мнѣ очи кроетъ.
 По полямъ, степямъ широкимъ,
 По густымъ лѣсамъ высокимъ,
 За тобою-бъ я ходила,
 Всѣ-бъ труды твои дѣлила.
 Нивогда я не устану.
 Изъ любви къ тебѣ я стану
 Помогать тебѣ въ охотѣ,
 Дичь выслѣживать въ болотѣ,
 И пойду я съ сѣтью длинной
 Лѣса чащею пустынной....:
 Если я тебѣ мѣшаю,
 Дай вести мнѣ гончихъ стаю.
 Заросль самую густую
 За тобой я не миную,
 Жажду вынесу и голодъ,
 Лѣтній зной и зимній холодъ.
 Если скучно въ полѣ станетъ
 И домой тебя поманить,
 За тобой, мой милый, всюду
 Вѣрно слѣдовать я буду.

Тяжелыя цѣпи на сердцѣ я чую,
 Но счастье—онѣ для меня.
 Попалъ въ западню я, но въ ней не тоскую,
 И веселъ въ неволѣ по прежнему я.
 Мнѣ большаго счастья не надо!
 Пусть думаютъ люди, что горько мнѣ жить
 При блескѣ лучистаго взгляда,
 Съ которымъ ничто невозможно сравнить,—
 Мнѣ сладкія цѣпи—отрада,
 День плѣна я въ памяти буду хранить.

14 пѣснь II книги.

Вы, царствъ владѣтели, кому дано судьбою
 Верховный вѣдать судъ, людской законъ блюсти,
 Господство въ чьихъ рукахъ надъ цѣлою страной,
 Кому довѣрилъ Богъ стада людей пасти,
 Всегда имѣйте вы предъ вашими очами,
 Что мѣсто Божіе вамъ на землѣ дано,
 Что польза всѣхъ людей должна цѣниться вами,
 Не только лишь свое спокойствіе одно.
 Надъ меньшей братьей вы теперь стоите,
 Но и надъ вами есть Верховный Господинъ,
 Ему когда-нибудь отчетъ вы отдадите
 И оправдаться тутъ не сможетъ ни одинъ,
 Кто былъ несправедливъ. Судъ Божій неподкупный
 Не смотреть никогда на деньги и чины,
 Въ сермягу-ли одѣтъ, иль въ золото, преступный:
 Не минетъ кары онъ за всѣ свои вины.
 Я знаю, что меня судить не стануть строго:
 Въ дѣлахъ не связанъ я съ отечества судьбой;
 Вы жъ, царствъ губители, отъ праведнаго Бога
 Не ждите милости за грѣхъ великій свой!

Смотри, какъ снѣгъ въ горахъ бѣлѣеть,
 Какъ журавли летять,
 Озера будто спять,
 И лишь суровый вѣтеръ вѣетъ.
 Пусть слуги принесутъ зимою
 Намъ дровъ для камина,
 На столъ дадутъ вина,—
 Тогда довольны мы судьбою.
 Ничто отъ бѣдствій не поможетъ.
 Къ чему гадать о томъ,
 Что ждетъ насъ всѣхъ потомъ:
 Все въ мигъ Господь разрушить можетъ.
 Короткій вѣкъ надеждъ не любить:

Что въ руки попадетъ,
 Пусть цѣлымъ не уйдетъ:
 Никто вѣдь смерти не погубитъ!
 Олень рога свои мѣняетъ,
 А молодость навѣкъ
 Теряетъ человекъ
 И свѣтлыхъ дней уже не знаетъ.

Пѣснь о благодѣяніяхъ Вожьихъ.

Скажи, чѣмъ, Господи, за всѣ щедроты
 Которымъ мѣры нѣтъ, Тебѣ мы воздадимъ?
 И бездны мрачныя, и горнія высоты,
 И всѣ моря полны величіемъ Твоимъ.
 Къ чему Тебѣ дары? Богатства всей вселенной,
 Все наше золото Тебѣ принадлежить,
 Приятна для Тебя мольба души смиренной,
 Когда, какъ ѳиміамъ, она къ Тебѣ летитъ.
 Ты, Боже, создалъ сводъ небесъ необозримыхъ,
 Украсилъ звѣздами и землю укрѣпилъ
 На основаньяхъ Ты, навѣки нерушимыхъ,
 И наготу ея растеньями покрылъ.
 По слову Твоему остановилось море,
 Не смѣя перейти положенный предѣлъ,
 Ты рѣки напоилъ водами на просторѣ,
 День свѣтомъ озарилъ и тьмою ночь одѣлъ.
 По слову Твоему весна полна цвѣтами
 И лѣто для себя изъ ржи вѣнокъ плететь,
 И осень настаеть, обильная плодами,
 За нею вслѣдъ зима лѣнливая идетъ.
 По милости Твоей съ небесъ роса ночная
 И благодатный дождь спадаетъ на хлѣба,
 И ждетъ изъ рукъ Твоихъ щедротъ вся тварь земная,
 И пищу ты даешь для каждаго раба.
 Безсмертный Господи, не можетъ быть границы
 Дарамъ безчисленнымъ и милостямъ Твоимъ!
 Не отнимай отъ насъ во вѣкъ своей десницы,
 Покрой смиренныхъ насъ Твоимъ крыломъ святымъ!

О ш е п.

Если-бъ музы во мнѣ благосклоннѣе были,
 Чтобъ по мѣрѣ желаній хватало мнѣ силъ,
 Я-бы родины милой завѣтныя были
 Отъ забвенья грядущихъ вѣковъ сохранилъ.
 Всюду вижу я силу родимаго края:
 Вотъ до Чернаго моря проложенный путь,
 Вотъ вершины Балкановъ надъ лентой Дуная,
 Прусскій берегъ, успѣвшій отъ войнъ отдохнуть.
 Кто когда-нибудь взглянетъ въ минувшіе годы,
 Предковъ нашихъ великое царство найдетъ:
 Съ Адриатики вплоть по Замерзшія воды
 Обиталъ благородный славянскій народъ.

С о н ъ.

О, сонъ, что учишь смерти человѣка,
 На мигъ дай тѣлу брэнному покой
 И все блаженство будущаго вѣка
 Душѣ освобожденной ты открой.
 Туда-ль она поидеть, гдѣ гаснуть зори,
 Туда-ль, гдѣ солнце ясное встаетъ,
 Въ края-ль, гдѣ зноемъ высушено море,
 Иль къ сѣверу, гдѣ вѣчный снѣгъ и ледъ?
 Красною звѣздъ ей можно любоваться,
 Ихъ быстрый бѣгъ свободно наблюдать,
 Мелодіей небесной наслаждаться
 И горнихъ сферъ гармоніи внимать!
 Оставь ее, пусть вдоволь наглядится
 На тѣ благословенные края,
 А тѣло пусть, уставшее трудиться,
 Познаетъ сладкій отдыхъ небытья.